

SEATTLE PUBLIC LIBRARY



0 01 00 4825456 8

Леон Юрис

СУД КОРОЛЕВСКОЙ СКАМЬИ,

ЗАЛ № 7



т|е|к|с|т| к|л|а|с|с|и|к|а

LEON URIS

QB VII

1970

ЛЕОН ЮРИС
СУД КОРОЛЕВСКОЙ
СКАМЬИ, ЗАЛ № 7

*Перевод с английского
А. Иорданского*



Москва «ТЕКСТ» 2002
«Дом еврейской книги»



УДК 821.111(73)
ББК 84(7Сое)
Ю73

**К ПЯТИЛЕТИЮ ОБЩИННОГО ФЕСТИВАЛЯ
ЕВРЕЙСКОЙ КНИГИ В МОСКВЕ**

ISBN 5-7516-0326-5

© «Текст», издание на русском языке, 2002

*Посвящаю эту книгу моей любимой жене
ДЖИЛ
в ее двадцать третий день рождения
и ЧАРЛИ ГОЛДБЕРГУ*

Эспен, штат Колорадо
16 апреля 1970 г.

ОТ АВТОРА

В английской юридической практике соблюдаются крайне строгие правила процедуры и жесткий этикет. Я не пытался связывать себя всеми этими условностями, а позволил себе разумные авторские вольности, хотя в общем роман не выходит за рамки истины и правдоподобия.

Персонажи, описанные в нем, целиком вымышлены.

Леон Юрис

Часть первая ИСТЕЦ

1

Ноябрь 1945 г. Монца, Италия

Капрал вышел из своей будки и, прищурившись, оглядел поле. Он увидел вдали смутный силуэт — какой-то человек, путаясь в траве, доходившей до колен, бежал в его сторону. Часовой поднял к глазам бинокль. Человек, спотыкаясь, тащил помятый чемодан. Он замахал рукой и, задыхаясь, выкрикнул приветствие на польском языке.

В те дни это было обычное зрелище. Только что кончилась война, и вся Европа превратилась в сплошной водоворот: потоки беженцев катились с востока на запад и с запада на восток, и выросшие повсюду лагеря едва справлялись с их наплывом. Сотни тысяч освобожденных рабов-поляков скитались повсюду в отчаянной надежде разыскать своих соотечественников. Многие заканчивали свой путь здесь, в Монце, где располагался 15-й истребительный авиаполк «Свободная Польша» Королевского воздушного флота Великобритании.

— Эй! Эй! — крикнул человек, миновав поле и выбравшись на пыльную дорогу. Теперь он уже не бежал, а медленно шел, прихрамывая.

Капрал шагнул ему навстречу. Человек был высокого роста, худой, со скуластым лицом и густой шапкой седых волос.

— Польша? «Свободная Польша»?

— Да, — ответил часовой. — Давай я возьму чемодан.

Человек прислонился к часовому, чтобы не упасть от изнеможения.

— Успокойся, отец, успокойся. Иди-ка посиди у меня в будке, а я вызову «скорую помощь».

Часовой взял его под руку и повел к будке. Человек вдруг остановился, глядя на польский флаг, развевавшийся на

флагштоке сразу за воротами. Глаза его наполнились слезами. Он сел на деревянную скамью и закрыл лицо руками.

Капрал поставил чемодан и принялся крутить ручку полевого телефона.

— Пост номер четыре, пришлите «скорую». Да, беженец.

Когда человека увезли на территорию авиабазы, часовой покачал головой. Сколько их приходит в день — человек по десять? Бывало, что и по сотне. И что с ними делать? Разве что накормить раз-другой горячим, чтобы наполнить их пустые желудки, отмыть, сделать прививки от свирепствующих вокруг болезней, одеть в какие-нибудь лохмотья и отправить в лагерь беженцев, наспех готовящийся к страшной зиме. Когда выпадет снег, Европа превратится в сплошное кладбище.

На доске объявлений в офицерском клубе каждый день вывешивали список прибывших беженцев. Летчики «Свободной Польши» надеялись на чудо — вдруг в списке окажется знакомое имя и они вновь встретятся с кем-нибудь из родственников или даже со старым другом. Изредка им удавалось разыскать школьного товарища, но почти никогда — своих любимых.

Майор Зенон Мысленски вошел в клуб, все еще в летной куртке и унтах. Его встретили радостно: имея на своем счету двадцать два сбитых немецких самолета, Мысленски был одним из немногих выдающихся асов «Свободной Польши», живой легендой этого легендарного времени. Он машинально остановился перед доской объявлений, пробежал глазами последние приказы и календарь предстоящих культурных мероприятий. Намечался шахматный турнир, в котором он решил участвовать. Он уже собирался идти дальше, когда его взгляд упал на печальный каталог — столбец имен новых беженцев. Сегодня прибыло только четверо. Найти среди них кого-нибудь знакомого надежды мало.

— Эй, Зенон! — окликнул его кто-то от стойки бара. — Ты сегодня поздно.

Майор Мысленски застыл на месте, не сводя глаз со списка. 5 ноября — Адам Кельно.

Зенон постучал, потом распахнул дверь. Адам Кельно лежал на койке в полудреме. Зенон не сразу узнал своего двоюродного брата. Боже, как он постарел! А когда началась война, у него не было ни одного седого волоса. Какой он худой, изможденный!

Сквозь сон Адам Кельно почувствовал, что в комнате кто-то есть. Он с трудом приподнялся, опираясь на локоть, и протер глаза.

— Зенон?

— Адам...

Полковник Ц.Гайнов, командир 15-го авиаполка, налил себе хорошую порцию водки и стал листать дело доктора Адама Кельно, подавшего ходатайство о зачислении в Вооруженные силы «Свободной Польши».

«АДАМ КЕЛЬНО, доктор медицины. Родился в 1905 г. близ деревни Пжетжеба. Образование — медицинский факультет Варшавского университета. С 1934 года — практикующий врач-хирург».

Дальше шли показания его двоюродного брата — майора Зенона Мысленски, где говорилось, что Кельно еще студентом участвовал в польском националистическом движении. В начале Второй мировой войны, когда Польша была оккупирована Германией, Кельно и его жена Стелла сразу же ушли в националистическое подполье.

Несколько месяцев спустя об их деятельности узнало гестапо. Стеллу Кельно расстреляли. Адам Кельно каким-то чудом спасся и был отправлен в печально известный концлагерь «Ядвиг» на юге Польши, между Краковом и Тарнувом. Это был огромный производственный комплекс, где на снабжение германской военной машины работали сотни тысяч рабов.

В деле говорилось, что Кельно руководил группой врачей из числа заключенных и многое сделал для усовершенствования лагерной медчасти, находившейся в первобытном состоянии. Как врач Кельно отличался самоотверженностью и преданностью своей профессии. Позже, когда в лагере «Ядвиг» появились газовые камеры, жизни тысяч людей были спасены благодаря связям Кельно с подпольем и его врачебному искусству.

Он стал такой видной фигурой в лагере, что перед концом войны начальник медчасти, штандартенфюрер СС доктор Адольф Фосс забрал Кельно, против его воли, с собой и сделал своим помощником в принадлежавшей ему частной клинике в Восточной Пруссии.

В конце войны Кельно вернулся в Варшаву, где ему пришлось пережить тяжелое потрясение. Польские коммунисты

предали свою страну и перешли на сторону Советского Союза. В лагере «Ядвига» Кельно, принадлежавший к националистическому подполью, был вынужден постоянно бороться не на жизнь, а на смерть с подпольем коммунистическим. Теперь же многие врачи-коммунисты, в большинстве своем евреи, организовали заговор против Кельно и заявили, что он сотрудничал с нацистами. Узнав, что выдан ордер на его арест, Кельно немедленно бежал из Польши и через всю Европу добрался до Италии, где вступил в контакт со «Свободной Польшей».

Полковник Гайнов отложил папку и вызвал секретаря.

— По делу Кельно, — сказал он, — я назначаю следственную комиссию из пяти офицеров под моим председательством. Мы немедленно запросим все части Вооруженных сил «Свободной Польши» и все организации, которые могут располагать сведениями о Кельно, и через три месяца соберемся для рассмотрения дела.

Когда Польша потерпела поражение во Второй мировой войне и согласно пакту, заключенному Германией с Советским Союзом, была поделена между ними, многие солдаты сумели скрыться. В Лондоне было сформировано правительство в изгнании и созданы боевые части, которые сражались на земле и в воздухе под командованием Великобритании. Другие бежали в Советский Союз — тысячи польских офицеров были там интернированы и позже перебиты в Катынском лесу. Советы намеревались подчинить себе Польшу, а националистический офицерский корпус, естественно, мешал этим планам. В конце войны Красная Армия, стоявшая под Варшавой, пальцем не шевельнула, чтобы оказать помощь националистическому подполью во время Варшавского восстания, и позволила немцам его уничтожить.

Солдатам и офицерам «Свободной Польши» пришлось остаться в Англии. Ожесточенные несправедливостью, они продолжали мечтать о возвращении на родину. Когда были сделаны запросы по делу Кельно, весть об этом быстро облетела всю тесно сплоченную польскую диаспору в Англии.

Казалось бы, все совершенно ясно. Доктор Адам Кельно был польским националистом, и, когда он вернулся в Варшаву, коммунисты решили его уничтожить, как они уничтожили офицерский корпус в катынской бойне.

Через несколько дней после начала расследования в Монцу стали поступать данные под присягой показания, а также предложения лично выступить в качестве свидетелей.

«Я знал доктора Адама Кельно с 1942 года, когда меня отправили в концлагерь «Ядвиг». Я заболел и был слишком слаб, чтобы работать. Он спрятал меня и спас от немцев. Благодаря ему я остался в живых».

«Доктор Адам Кельно оперировал меня и заботливо ухаживал за мной до самого выздоровления».

«Доктор Кельно помог организовать мой побег из лагеря».

«Доктор Кельно делал мне операцию в четыре часа утра. Он так устал, что едва держался на ногах. По-моему, ему никогда не удавалось поспать больше нескольких часов подряд».

«Он спас мне жизнь».

В день заседания комиссии в лагерь приехал Леопольд Залински, легендарная фигура польского националистического подполья времен оккупации. Его конспиративная кличка — Конь — была известна каждому поляку. Показания Коня устранили последние сомнения. Он под присягой подтвердил, что Адам Кельно был героем националистического подполья и до ареста, и все те годы, что он провел в лагере «Ядвиг», работая врачом. Располагая единодушными письмами и показаниями еще двух десятков человек, комиссия отвергла все обвинения против доктора Кельно.

В Монце состоялась волнующая церемония, на которой присутствовали многие полковники из «Свободной Польши». Доктор Адам Кельно принес присягу, и ему было присвоено звание капитана. Звездочки приколот ему на погоны двоюродный брат Зенон Мысленски.

У этих людей отняли родину, их Польшу, но они продолжали помнить и надеяться.

2

*6-й польский госпиталь,
военная база Фоксфилд-Кросс,
Танбридж-Уэллс, Англия*

Март 1946 года

Майор Адам Кельно медленно вышел из операционной, стягивая резиновые перчатки. Сестра Анджела развязала тесемки его хирургической маски и вытерла пот у него со лба.

— Где она? — спросил Адам.

- В приемной для посетителей. Адам?
- Да?
- Придешь сегодня ко мне?
- Ладно.
- Я буду ждать.

Он зашагал по длинному, тускло освещенному коридору.

Было очевидно, что чувство, которое питала к нему Анджела Браун, — нечто большее, чем просто восхищение его профессиональными качествами. Они работали вместе в операционной всего несколько месяцев. С самого начала на нее произвели огромное впечатление мастерство Адама и какое-то безудержное рвение, заставлявшее его делать в полтора раза больше операций, чем делало большинство его коллег. Руки его творили чудеса.

Все произошло как-то очень просто. Анджела Браун, ничем не примечательная женщина лет тридцати пяти, уже десять лет была неплохой медсестрой. Ее первое непродолжительное замужество закончилось разводом. Человека, которого она полюбила уже по-настоящему, глубоко и сильно — польского летчика, служившего в Королевском военно-воздушном флоте, — сбили над Ла-Маншем. Адам Кельно ничем не напоминал того летчика, это была какая-то другая любовь. Волшебные моменты, когда он поднимал глаза поверх маски, а она вкладывала ему в руку инструмент, и их взгляды встречались; его быстрые, решительные движения; духовная близость, порождаемая совместной работой ради спасения человеческой жизни; радостное возбуждение после успешной операции; изнеможение после нелегкой борьбы, закончившейся поражением...

Оба они страдали от одиночества, и то, что между ними произошло, было вполне прозаично и в то же время восхитительно.

Адам вошел в приемную для посетителей. Было уже очень поздно: операция продолжалась больше трех часов. На лице пани Башевски застыло выражение страшного предчувствия, но спросить она боялась. Адам, склонившись над ней, поцеловал ей руку, потом присел рядом.

— Ежи больше нет. Он был спокоен до самого конца.

Пани Башевски кивнула, но не могла произнести ни слова.

— Я должен об этом кого-нибудь известить, пани Башевски?

— Нет. Мы были совсем одни. Только мы и выжили.

— Я думаю, лучше будет устроить вас на ночь здесь.

Она попыталась что-то сказать, но ее дрогнувшие губы свела гримаса, и у нее вырвался лишь тихий стон отчаяния.

— Он говорил... отвезите меня к доктору Кельно... он спас мне жизнь в концлагере... отвезите меня к доктору Кельно...

Вошла Анджела и принялась утешать пани Башевски. Адам шепотом распорядился дать ей снотворное.

— Когда я познакомился с Ежи Башевски, он был силен, как бык. Ежи — один из лучших драматургов Польши. Мы знали, что немцы хотят уничтожить всю нашу интеллигенцию, и должны были спасти ему жизнь любой ценой. Сегодняшняя операция была не такой уж и сложной. Здоровый человек ее бы перенес, но Ежи провел два года в этой зловонной адской дыре, у него просто не осталось жизненных сил.

— Дорогой, ты же мне говорил, что хороший хирург должен всегда быть бесстрастным. Ты сделал все, что мог...

— Бывает, я и сам не верю в то, что говорю. Ежи умер, потому что его предали. У него отняли его страну, и он остался наедине с воспоминаниями об этом невыносимом ужасе.

— Адам, ты провел в операционной полночи. Вот, дорогой, выпей чаю.

— Хочу чего-нибудь крепкого.

Он щедро плеснул себе в стакан, залпом выпил и налил еще.

— Ежи хотел только одного — иметь ребенка. Что же это за дьявольская трагедия? Что за проклятье лежит на нас? Почему мы не можем жить нормально?

Бутылка была пуста. Он принялся грызть костяшки пальцев.

Анджела провела рукой по его растрепанным седым волосам.

— Ты останешься сегодня?

— Хорошо бы. Не хочу быть один.

Она села на низкую скамеечку рядом с ним и положила голову ему на колени.

— Сегодня меня отозвал в сторону доктор Новак, — сказала она. — Он сказал, что я должна увезти тебя из госпиталя, чтобы ты немного отдохнул, иначе не выдержишь.

— Ни черта не понимает твой доктор Новак. Он всю жизнь только и делал, что укорачивал слишком длинные носы и пересаживал волосы лысым английским аристократам в надежде получить за это рыцарское звание. Налей мне еще.

— Ради Бога, тебе уже хватит.

Он хотел встать, но она схватила его за руки и удержала его, а потом, умоляюще глядя на него, принялась целовать ему пальцы, один за другим.

— Не плачь, Анджела, пожалуйста, не плачь.

— У моей тети чудный маленький коттедж в Фолкстоне. Нас будут рады там принять, если мы захотим.

— Пожалуй, я и в самом деле немного устал, — сказал он.

Дни в Фолкстоне пролетели быстро. Он чувствовал себя обновленным после долгих спокойных прогулок по лугам вдоль скал, обрывававшихся в море. Вдали, через пролив, виднелись туманные очертания французского берега. Рука об руку, в безмолвной беседе, они с Анджелой по тропинке, окаймленной кустами розмарина, доходили до гавани, куда порывы ветра доносили звуки оркестра из приморского парка. После бомбежек узкие улочки были все в развалинах, но памятник Уильяму Гарвею, открывшему кровообращение, уцелел. Как и до войны, отсюда снова каждый день отплывал пароходик в Кале, и скоро ожидали первых отпускников — приближался недолгий летний сезон.

Вечерняя прохлада отступила перед весело пляшущим огнем в камине, который отбрасывал причудливые тени на низкий деревянный потолок коттеджа. Последний счастливый день подошел к концу — завтра они возвращались в госпиталь.

Адам вдруг помрачнел. Он уже довольно много выпил.

— Жаль, что всему этому конец, — пробормотал он. — Не помню, чтобы у меня в жизни была другая такая прекрасная неделя.

— Это не обязательно конец, — сказала она.

— У меня всегда так: все рано или поздно кончается. Все, что бы я ни имел, у меня в конце концов отнимают. У меня отняли всех, кого я любил. Жену, мать, братьев. А тех, кто выжил, там, в Польше, снова превратили в настоящих рабов. Я не имею права ни с кем себя связывать. Никогда.

— Я тебя об этом не просила, — сказала она.

— Анджела, я хотел бы тебя полюбить, но ты же видишь — стоит этому случиться, как я потеряю и тебя.

— Какая разница, Адам? Мы ведь все равно в конце концов потеряем друг друга — может быть, все-таки попробовать?

— Тут дело не только в этом, ты же знаешь. Я боюсь за себя как за мужчину. Смертельно боюсь стать импотентом. И не из-за того, что много пью. Еще и... из-за всего того, что там произошло.

— Со мной ты всегда будешь сильным, Адам, — сказала она.

Он протянул руку и коснулся ее щеки. Она поцеловала его руку.

— Какие у тебя руки. Какие прекрасные руки.

— Анджела, роди мне ребенка. Как можно скорее.

— Хорошо, мой милый, дорогой.

Анджела забеременела через несколько месяцев после того, как они поженились.

Когда доктор Август Новак, главный врач 6-го польского госпиталя, вернулся к частной практике, на его место неожиданно был назначен, через голову многих старших по званию, Адам Кельно.

К административной деятельности он не стремился, однако огромная ответственность, лежавшая на нем в концлагере «Ядвиг», была хорошей школой. Составление смет и служебные интриги не помешали ему сохранить верную руку хирурга.

Каждый день он с радостью возвращался домой. Их коттедж в Грумбридж-Виллидж находился в нескольких километрах от госпиталя. Располневшая фигура Анджелы напоминала об их будущем ребенке. Вечерами они выходили на прогулку и, как всегда, рука об руку, в безмолвной беседе, шли по лесной тропинке в Тод-Рок, где отдыхали за чашкой чая в живописном старинном кафе. Выпивал Адам теперь гораздо меньше.

Однажды июльским вечером он закончил работу в госпитале, и санитар погрузил продукты на заднее сиденье его машины. Он заехал в центр города, чтобы купить букет роз, а потом поехал в Грумбридж.

Позвонив в дверь, он не услышал шагов Анджелы. Это всегда его пугало: боязнь потерять ее не оставляла его ни

на минуту, страх таился за каждым деревом в лесу. Адам переложил сумку с продуктами в другую руку и полез в карман за ключом. Стоп! Дверь оказалась не заперта. Он распахнул ее.

— Анджела!

Его жена сидела на краешке стула в гостиной, лицо ее было пепельно-бледным. Адам перевел взгляд на двоих мужчин, стоявших рядом с ней.

— Доктор Кельно?

— Да.

— Инспектор Юбенк из Скотленд-Ярда.

— Инспектор Хендерсон, — сказал второй, показывая свое удостоверение.

— Что вам нужно? Что вы здесь делаете?

— У меня ордер на ваш арест.

— На мой арест?

— Да, сэр.

— В чем дело? Что это за шутки?

По их угрюмым лицам он понял, что это не шутки.

— Арест? За что?

— Вы препровождаетесь в Брикстонскую тюрьму и будете находиться там до выдачи Польше, где вас предадут суду как военного преступника.

3

Дело происходило в Лондоне, но всё в этой комнате заставляло вспомнить Варшаву. Анджела сидела в приемной «Свободной Польши», стены которой украшали огромные официальные портреты Пилсудского, Рыдз-Смиглы, Падеревского* и целая галерея польских героев. Здесь и в других подобных местах, разбросанных по всему Лондону, сотни тысяч поляков, которым удалось спастись бегством, хранили память о своей родине.

* Пилсудский, Юзеф (1867—1935) — маршал, в 1919—1922 гг. глава польского государства, с 1926 г. — диктатор Польши. Рыдз-Смиглы, Эдвард (1886—1941) — с 1935 г. фактический диктатор Польши, с 1939 г. — главнокомандующий; после разгрома польской армии бежал в Румынию. Падеревский, Игнацы Ян (1860—1941) — польский пианист и композитор. (Здесь и далее примечания переводчика.)

Беременность Анджели была уже очень заметна. Она нервно комкала в руках платок, а Зенон Мысленски пытался ее успокоить.

Высокая дверь, ведущая в кабинет, открылась, и к ним подошел секретарь.

Анджела поправила платье и, поддерживаемая под руку Зеноном, вошла в кабинет. Из-за стола поднялся человек маленького роста, но весьма аристократического вида — граф Анатолий Черны. Он поздоровался с Зеноном, как со старым приятелем, поцеловал руку Анджеле и предложил им сесть.

— Боюсь, мы зря потеряли драгоценное время, обратившись к правительству в изгнании, — сказал он. — Англия его больше не признает. В британском Министерстве внутренних дел мы тоже никакой информации получить не смогли.

— Но ради Бога, о чем вообще идет речь? — с горячностью спросила Анджела. — Кто-то должен нам что-то объяснить!

— Мы знаем только одно. Около двух недель назад сюда из Варшавы прибыл некий Натан Гольдмарк. Это еврей-коммунист и следователь по особо важным делам польской тайной полиции. Он располагает показаниями многих бывших заключенных концлагеря «Ядвига», исключительно польских коммунистов. Показания даны под присягой и содержат обвинения против вашего мужа.

— Что же это за обвинения?

— Я их не видел, а Министерство внутренних дел хранит все в тайне. Позиция Великобритании такова: если иностранное правительство, с которым она имеет соответствующий договор, требует чьей-то выдачи и представляет достаточное обоснование, это требование удовлетворяется без специального разбирательства.

— Но в чем могут обвинять Адама? Вы же читали показания, собранные во время расследования в Монце. Я сам там был, — сказал Зенон.

— Конечно, мы оба понимаем, что происходит на самом деле, не так ли? — ответил граф.

— Но я ничего не понимаю! — воскликнула Анджела.

— Коммунисты считают необходимым вести постоянную пропагандистскую кампанию, чтобы оправдать свой захват Польши. Доктор Кельно намечен в качестве жертвен-

ного агнца. Нет лучшего маневра, чем доказать, что польский националист был военным преступником.

— Господи, что же нам делать?

— Мы, конечно, будем бороться. У нас есть кое-какие возможности. Министерству внутренних дел понадобится несколько недель, чтобы решить этот вопрос. Наша первая тактическая задача — добиться отсрочки. Мадам Кельно, мне нужно ваше согласие поручить ведение дела одной адвокатской фирме, которая раньше оказывала нам большую помощь в подобных случаях.

— Да, конечно, — прошептала она.

— Это фирма «Хоббинс, Ньютон и Смидди».

— О, мой бедный дорогой Адам... Боже, Боже!

— Анджела, прошу тебя...

— Вы плохо себя чувствуете, мадам Кельно?

— Нет... Простите.

Она прижала к губам стиснутые кулаки с побелевшими костяшками и сделала несколько глубоких вдохов.

— Ну, не волнуйтесь, — сказал граф Черны. — Мы же в Англии. Мы имеем дело с приличными, цивилизованными людьми.

Такси остановилось посередине Пэлл-Мэлл, дождалось разрыва в веренице встречных машин, быстро сделало крутой разворот и остановилось перед клубом «Реформ».

Ричард Смидди аккуратно надел котелок, сунул подмышку зонтик, открыл потрепанный кошелек и тщательно отсчитал положенную плату по счетчику.

— И шесть пенсов вам, — сказал он.

— Благодарю, папаша, — отозвался таксист, включил сигнал «СВОБОДНО» и отъехал от тротуара. Сунув в карман скудные чаевые, он покачал головой. Нет, конечно, новой войны он не хотел, упаси Бог, но хорошо бы здесь снова увидеть щедрых янки.

Ричард Смидди, сын Джорджа Смидди и внук Гарольда Смидди — основателя этой солидной старой фирмы — поднялся по лестнице к входу в клуб «Реформ». Он испытывал немалое удовольствие от того, что ему меньше чем за неделю удалось добиться встречи с Робертом Хайсмитом. Согласно заведенному порядку, клерк Смидди написал и послал с посыльным клерку Хайсмита в парламенте записку с просьбой об этой встрече. Смидди велел приписать, что де-

ло довольно срочное. На секунду ему пришло в голову, что, может быть, надо нарушить традицию — снять трубку и позвонить, но так делают дела только американцы.

Ричард Смидди оставил гардеробщику котелок и зонтик и, как обычно, заметил, что погода сегодня скверная.

— Мистер Хайсмит ожидает вас, сэра.

Смидди поднялся по парадной лестнице — той самой, на которой Филеас Фогг начал и закончил свое путешествие вокруг света за восемьдесят дней, — и вошел в гостиную. Роберт Хайсмит, грузный мужчина в костюме, не отличавшемся шегольством, не без труда поднялся из глубокого кресла, кожа которого потрескалась от старости. Этот колоритный тип — потомственный дворянин-землевладелец, нарушивший семейные традиции, чтобы вступить в сословие адвокатов, — был выдающимся барристером; недавно, в тридцать пять лет, он стал членом парламента. Ревностный правдолюбец, Хайсмит постоянно участвовал в какой-нибудь кампании против несправедливости. В этом качестве он возглавлял британское отделение «Сэнктыюэри Интернэшнл» — организации, посвятившей себя защите политических заключенных.

— Привет, Смидди. Садитесь, садитесь.

— Это большая любезность с вашей стороны, что вы приняли меня так скоро.

— Не так уж и скоро. Мне пришлось как следует надавить на Министерство внутренних дел, чтобы придержать дело. Вам надо было бы позвонить мне, чтобы договориться о встрече, раз уж это так срочно.

— Да, у меня была такая мысль.

Хайсмит заказал себе виски без содовой, а Ричард Смидди — чая с пирожными.

— Так вот, я выяснил суть обвинений, — сказал Хайсмит. — Они обвиняют его чуть ли не во всем, в чем только можно. — Он сдвинул очки на кончик носа, пригладил растрепанные волосы и стал читать вслух то, что было написано на листке бумаги. — Введение заключенным смертельных доз фенола, сотрудничество с нацистами, отбор заключенных для отправки в газовые камеры, участие в хирургических экспериментах, принятие присяги в качестве почетного гражданина Германии. И так далее и тому подобное. Получается какое-то кровожадное чудовище. Что он за тип?

— Вполне приличный человек. Немного туповат. Поляк, вы же понимаете.

— Что может сказать обо всем этом ваша фирма?

— Мы очень тщательно занимались делом Кельно, мистер Хайсмит, и я готов поставить свой последний фунт на то, что он невиновен.

— Мерзавцы. Ну ничего, мы позаботимся о том, чтобы это у них не прошло.

«Сэнктьюзери Интернэшнл»

Реймонд-Билдингс

Грейз-Инн

Лондон

Заместителю государственного секретаря

Министерство внутренних дел

Управление по делам иностранцев

Олд-Бейли, 10

Лондон

Глубокоуважаемый м-р Клэйтон-Хилл,

Я уже сообщал вам ранее об интересе, который проявляет «Сэнктьюзери Интернэшнл» к делу доктора Адама Кельно, находящегося сейчас в Брикстонской тюрьме. Наша организация, как правило, с большим подозрением относится к любым запросам о выдаче политических заключенных в коммунистические страны. Совершенно очевидно, что доктор Кельно — жертва политического преследования.

При ближайшем рассмотрении мы пришли к заключению, что обвинения, предъявленные доктору Кельно, представляются абсолютно необоснованными. Показания против него исходят исключительно от польских коммунистов или людей коммунистической ориентации.

Ни в одном случае никто из них не утверждает, что лично был свидетелем каких-бы то ни было проступков доктора Кельно. Их показания основаны на самых сомнительных слухах, которые никакой суд на Западе не признал бы доказательствами. Более того, польское правительство не смогло предъявить ни одного человека, который был бы жертвой предполагаемой жестокости доктора Кельно.

По нашему мнению, Польша не представила сколько-нибудь достаточного обоснования своих обвинений. Лица, ко-

которые могут свидетельствовать о мужественном поведении доктора Кельно в лагере «Ядвига», не имеют возможности приехать в Польшу, и этот человек ни при каких обстоятельствах не может рассчитывать на беспристрастный суд. Его выдача будет равносильна политическому убийству.

Во имя британского чувства справедливости «Сэнктьюэри Интернэшнл» ходатайствует об освобождении этого ни в чем не повинного человека.

С уважением,
Роберт Хайсмит

«Хоббинс, Ньютон и Смидди»,
адвокаты
Чансери-Лейн, 32Б
Лондон

Заместителю государственного секретаря
Министерство внутренних дел
Управление по делам иностранцев
Олд-Бейли, 10
Лондон

Тема: Доктор Адам Кельно

Глубокоуважаемый м-р Клэйтон-Хилл,

По делу доктора Адама Кельно я имею удовольствие дополнительно представить Вам еще двадцать показаний бывших заключенных лагеря «Ядвига» в защиту нашего клиента.

Мы благодарны за предоставленную Вами отсрочку, которая позволила нам собрать более сотни показаний. Однако доктор Кельно вот уже более шести месяцев находится в тюрьме, хотя обоснованных обвинений против него нет.

Мы будем Вам признательны, если Вы сообщите, удовлетворяют ли Вас теперь собранные и представленные нами доказательства и можете ли Вы дать распоряжение об освобождении доктора Кельно, или же нам придется пойти на дальнейшие усилия и затраты.

Позвольте обратить Ваше внимание на постановление почетного трибунала, состоящего из представителей всех

организаций «Свободной Польши», которое не только снимает с доктора Кельно все обвинения, но и объявляет его героем.

*С уважением,
Фирма «Хоббинс, Ньютон и Смидди»*

В палате общин Роберт Хайсмит заручился поддержкой нескольких ее членов и давил на Министерство внутренних дел, добиваясь освобождения Кельно. Все громче звучали разговоры о том, что происходит явная несправедливость.

Однако Польша не менее громко выражала свое возмущение тем, что гнусный военный преступник еще не предан суду и находится под защитой Великобритании. С их точки зрения, это внутреннее дело Польши, и существующий договор обязывает Англию выдать его для предания суду.

В тот самый момент, когда казалось, что «Сэнктьюэри Интернэшнл» вот-вот удастся добиться перелома в ходе дела, польский следователь Натан Гольдмарк, находившийся в Англии и добивавшийся выдачи Кельно, разыскал еще одного неожиданного свидетеля.

4

Оксфорд, с его сотнями шпилей и башен, становился все ближе. Пассажиры начали доставать сумки с багажных полок, а сотрудник польской тайной полиции Натан Гольдмарк не отрывался от окна вагона.

По дороге из Лондона он прочитал, что Оксфорд возник еще в XII веке и за прошедшие столетия превратился в нынешнюю мозаику из тридцати одного колледжа с множеством соборов, больниц и разнообразных научных учреждений, разбросанных по извилистым улочкам, с протекающей через него необыкновенно романтической речкой, с готической роскошью кессонных потолков и дышащими стариной четырехугольными двориками, с университетскими канцлерами и мастерами — главами колледжей, с преподавателями, студентами и хоровыми капеллами. История таких колледжей, как Магдалинский, Пембрукский и Олд-Соулз, насчитывала сотни лет, Наффилдского и Святой Екатери-

ны — всего лишь десятки. И все это сопровождалось перечнем бессмертных имен, олицетворявших величие самой Англии.

Натан Гольдмарк нашел стоянку такси и протянул водителю листок бумаги, на котором было написано: «Рэдклиффский медицинский центр». Когда они тронулись, обгоняя поток велосипедистов и беззаботно прогуливающих студентов, он, несмотря на холод и морозящий дождь, опустил стекло. На древней стене, мимо которой они ехали, было написано красной краской: «Иисус был голубой!»

В стерильном святилище медицинского центра его провели по длинному коридору мимо десятков лабораторий в крохотный неубранный кабинет доктора Марка Тесслара, который уже ждал его.

— Пойдемте ко мне домой, — предложил Тесслар. — Там нам будет удобнее разговаривать.

Квартира Тесслара находилась всего в нескольких километрах от центра Оксфорда, но уже за городом — в переоборудованном под жилье монастыре Уитэмского аббатства. С первых же минут знакомства доктор Марк Тесслар и Натан Гольдмарк узнали друг в друге членов единственного в своем роде клуба, объединявшего тех немногих из числа польских евреев, кто пережил гитлеровский Холокост. Тесслар прошел через варшавское гетто, Майданек и концлагерь «Ядвиг», Гольдмарк — через Дахау и Освенцим. Глубокие морщины и впалые глаза красноречиво говорили об их прошлом.

— Как вы меня разыскали, Гольдмарк? — спросил Тесслар.

— Через доктора Марию Вискову. Она сказала мне, что вы работаете в Оксфорде.

При упоминании имени Висковой на напряженном костлявом лице Тесслара появилась улыбка.

— А, через Марию... Когда вы ее видели в последний раз?

— Неделю назад.

— Как у нее дела?

— Ну, устроена она неплохо, но, как и все мы, пока еще только пытается сориентироваться в жизни. Понять, что произошло.

— Когда мы освободились и вернулись в Варшаву, я уговаривал ее уехать из Польши. Это не место для евреев. Это

кладбище. Огромное пустое пространство, пахнущее смертью.

— Но вы все еще польский гражданин, доктор Тесслар.

— Нет. Я не намерен возвращаться. Никогда.

— Это будет большая потеря для еврейского сообщества.

— Какого там сообщества? Этой горсточке призраков, раскапывающих горы пепла?

— Теперь все будет иначе.

— Разве? Тогда почему они организовали для евреев отдельную секцию коммунистической партии? Я вам скажу почему. Потому что поляки не желают признать свою вину и не могут позволить себе выпустить из Польши тех евреев, кто еще остался. Вот почему! Здесь у нас много евреев. Им здесь нравится. Мы настоящие поляки. А такие люди, как вы, выполняют за них грязную работу. Вам приходится сохранять в Польше еврейское сообщество, чтобы оправдать свое существование. Вас просто используют. Но в конце концов вы поймете, что коммунисты относятся к нам ничуть не лучше, чем националисты перед войной. Внутри этой страны все мы — еврейские свиньи.

— А Мария Вискова? Она всю жизнь была коммунисткой.

— Она тоже прозреет, и очень скоро.

Гольдмарку очень хотелось переменить тему разговора. Нахмурившись, он курил сигарету за сигаретой. Чем дольше говорил Тесслар, тем больше он нервничал.

Марк Тесслар, слегка хромя, взял у вошедшей экономки поднос, поставил его на стол и разлил чай.

— Моя поездка в Оксфорд связана с доктором Кельно, — сказал Гольдмарк.

Услышав это имя, Тесслар встрепенулся:

— А что там с Кельно?

Гольдмарк чуть усмехнулся: он прекрасно понимал важность того, что собирался сообщить.

— Вы давно с ним знакомы?

— С тридцатого года, когда мы были студентами.

— Когда вы видели его в последний раз?

— Когда он уезжал из лагеря «Ядвига». Я слышал, что после войны он появился в Варшаве, а потом скрылся.

— Что бы вы сказали, узнав, что он в Англии?

— На свободе?

— Не совсем. Его держат в Брикстонской тюрьме. Мы пытаемся добиться его выдачи Польше. Вы же знаете, как обстоит дело с польскими фашистами здесь, в Англии. Из него сделали знаменитость. Им удалось привлечь к нему внимание самых высоких кругов, и теперь англичане тянут время. Вы хорошо знали его в «Ядвиге»?

— Да, — прошептал Тесслар.

— Тогда вам должно быть ясно, в чем его обвиняют.

— Я знаю, что он проводил хирургические эксперименты над нашими.

— Откуда вы это знаете?

— Видел собственными глазами.

*Заместитель государственного секретаря
Министерство внутренних дел
Управление по делам иностранцев
Олд-Бэйли, 10
Лондон*

*«Хоббинс, Ньютон и Смидди»
Чансери-Лейн, 32Б
Лондон*

Тема: Доктор Адам Кельно

Глубокоуважаемые господа,

Я уполномочен государственным секретарем сообщить Вам, что он тщательно рассмотрел все обстоятельства дела, включая информацию, предоставленную правительством Польши. Принимая во внимание недавно полученные показания под присягой доктора Марка Тесслара, государственный секретарь считает, что достаточные основания для возбуждения дела имеются. Рассмотрение вопроса о справедливости или несправедливости законодательства Польши не входит в нашу компетенцию, однако мы обязаны соблюдать действующие договоры с ее правительством.

Вследствие этого государственный секретарь принял решение привести в исполнение ордер на депортацию и выслать доктора Кельно в Польшу.

*Ваш покорный слуга
Джон Клэйтон-Хилл*

Охранник ввел Адама Кельно в комнату для свиданий, разделенную стеклянной перегородкой, по другую сторону которой сидели Роберт Хайсмит и Ричард Сидди.

— Я сразу перейду к делу, Кельно, — сказал Хайсмит. — Положение скверное. Натан Гольдмарк раздобыл весьма порочащие вас показания. Что вам говорит имя Марка Тесслара?

По лицу Кельно было видно, что его охватило смятение.

— Так что вы скажете?

— Он в Англии?

— Да.

— Все ясно. Польское правительство поняло, что ничего не сможет доказать, и подослало сюда одного из них.

— Из кого?

— Из коммунистов. Из евреев.

— А кто такой Тесслар?

— Он еще двадцать лет назад поклялся, что доберется до меня. — Кельно низко опустил голову. — О Господи, да какой смысл...

— Вот что, Кельно, возьмите себя в руки. Предаваться отчаянию у нас нет времени. Мы должны сохранять хладнокровие.

— Что вы хотите знать?

— Когда вы познакомились с Тессларом?

— Около тридцатого года, в университете — мы учились вместе. Его отчислили за производство аборт, и он утверждал, что это я на него донес. Во всяком случае, заканчивал медицинское образование он в Европе. Кажется, в Швейцарии.

— Вы виделись с ним после того, как он перед войной вернулся в Варшаву и занялся практикой?

— Нет, но всем было известно, что он делает аборт. Мне как католику трудно рекомендовать аборт, но несколько раз я приходил к выводу, что это необходимо для спасения жизни женщины, а однажды речь шла об одной моей близкой родственнице. Тесслар не знал, что я направлял их к нему. Это всегда делалось через третьих лиц.

— Продолжайте.

— По какому-то нелепому капризу судьбы я встретился с ним снова в лагере «Ядвиг». Про него и там уже слышали.

В конце сорок второго года немцы забрали его из варшавского гетто и направили в концлагерь Майданек под Люблином. Там эсэсовские врачи поручили ему лечить лагерных проституток от венерических болезней и при необходимости делать им аборты.

Смидди, который вел запись разговора, поднял глаза:

— Откуда вы это знаете?

— Такие вести распространяются быстро, они могут доходить даже из одного лагеря в другой. Врачей в лагерях было очень мало, и достаточно было перевести одного-двух туда или сюда, как мы узнавали все новости. Кроме того, как член националистического подполья я имел доступ к такой информации. Когда Тесслар в сорок третьем появился в лагере «Ядвига», все мы про него знали.

— Вы были начальником медчасти и, вероятно, близко общались с ним?

— Нет. Это не так. Видите ли, в медчасти было двадцать шесть барачков, но эсэсовские врачи проводили свои секретные эксперименты только в бараках с первого по пятый. Там жил и Тесслар. Это его надо бы судить, а не меня. Я предупреждал его, что рано или поздно он ответит за свои преступления, но он находился под покровительством немцев. А когда кончилась война, Тесслар стал коммунистом и поступил врачом в тайную полицию, чтобы спасти свою шкуру. Тогда он и дал эти свои ложные показания против меня.

— Теперь я хочу, чтобы на следующий вопрос вы ответили очень точно, доктор Кельно, — подчеркнуто веско произнес Хайсмит. — Вы когда-нибудь производили операции на семенниках и яичниках?

Кельно пожал плечами:

— Конечно. Я проделал десять, а может быть, и пятнадцать тысяч операций. Больших и маленьких. Мужские семенники или женские яичники могут быть поражены болезнью точно так же, как и любой другой орган. Когда я делал операцию, я делал ее для того, чтобы спасти жизнь больному. Помню, что мне попадались опухоли половых органов. Но вы же видите, как можно все исказить. Здоровых людей я не оперировал никогда.

— А кто вас в этом обвиняет?

— Тесслар. Хотите услышать, что он говорит? Его слова навсегда запечатлелись у меня в памяти.

— Хорошо, — сказал Хайсмит. — Мы смогли добиться не-
большой отсрочки, чтобы дать вам время ответить на обви-
нения Тесслара. Вы должны сделать это хладнокровно, бес-
страстно и честно, не упоминая о своем враждебном к нему
отношении. Ответьте на каждое обвинение, пункт за пунк-
том. Вот вам его показания, изучите их как можно тщатель-
нее, а завтра мы придем со стенографисткой, чтобы записать
ваш ответ.

*«Я категорически отрицаю, что хвастал перед доктором Тес-
сларом тем, будто сделал пятнадцать тысяч эксперимен-
тальных операций без наркоза. Моя добропорядочность под-
тверждена слишком многими, чтобы рассматривать его
свидетельство иначе, чем как самую необузданную клевету.*

*Я категорически отрицаю, что когда бы то ни было опери-
ровал здорового человека, мужчину или женщину. Я отрицаю,
что когда бы то ни было проявлял жестокость по отношению
к своим пациентам. Я отрицаю, что принимал участие в ка-
ких бы то ни было экспериментальных операциях.*

*Утверждения доктора Тесслара, будто он видел, как я про-
вожусь операции, — чистый вымысел. Он никогда, ни разу не
присутствовал в операционной, когда я оперировал.*

*Слишком многие из моих пациентов живы и дали показа-
ния в мою пользу, чтобы серьезно рассматривать заявление,
будто мои операции проводились неквалифицированно.*

*Я твердо убежден, что доктор Тесслар выдвинул эти обви-
нения, чтобы снять вину с себя самого. Я считаю, что его при-
езд в Англию — это часть заговора, имеющего целью уничто-
жить все остатки польского национализма. Тот факт, что он
попросил в Англии политическое убежище, — всего лишь хит-
рость коммунистов, и доверять ему не следует».*

По мере того как дело близилось к решению, Адам Кельно
все больше впадал в глубокую депрессию. Даже посещения
Анджелы не могли его подбодрить.

Она протянула ему пачку фотографий их сына Стефана.
Адам положил их на стол, не взглянув.

— Не могу, — сказал он.

— Адам, хочешь, я приду с нашим мальчиком, чтобы ты
его повидел?

— Нет. Только не в тюрьму.

— Он же еще маленький. Он ничего не запомнит.

— Повидать сына, а потом с болью вспоминать о нем в Варшаве, когда начнется этот судебный фарс? Ты это хочешь мне предложить?

— Мы же все еще сопротивляемся, как только можем. Но я... я не могу видеть тебя таким. Раньше мы всегда черпали силу друг в друге. Ты думаешь, мне все это легко дается? Я целыми днями работаю, одна рашу сына, хожу к тебе на свидания. Адам... о, Адам...

— Не трогай меня, Анджела. Это слишком мучительно.

Корзинка с едой, которую она приносила ему в Брикстон четыре раза в неделю, была проверена и пропущена. Адам не проявил к ней никакого интереса.

— Я здесь уже почти два года, — пробормотал он. — Под надзором, как приговоренный, в одиночке. Они везде следят за мной — во время еды, в туалете. Никаких пуговиц, ремней, бритв. Даже карандаши у меня отбирают на ночь. Мне ничего другого не остается, как читать и молиться. И они правы, я действительно хотел покончить с собой. Меня удержала только мысль о том, как я стану свободным человеком и увижу своего сына. Но теперь... Теперь и эта надежда рухнула.

Заместитель государственного секретаря Джон Клэйтон-Хилл уселся за стол напротив государственного секретаря сэра Перси Молтвуда. На столе между ними лежал злосчастный ордер на выдачу Кельно.

Молтвуд от имени Министерства внутренних дел предложил дать заключение по делу Кельно Королевскому советнику Томасу Баннистеру — он хотел знать, не придет ли тот к иным выводам, чем Хайсмит.

В свои сорок с небольшим лет Томас Баннистер пользовался таким же авторитетом, как и Хайсмит. Это был человек среднего роста и сложения, с ранней сединой в волосах и традиционным британским румянцем на лице. Крайне флегматичный на вид, он был способен на неожиданные взрывы эмоций и блестящие маневры в зале суда.

— Так что же будет говориться в вашем заключении, Том? — спросил Молтвуд.

— В нем будет сказано, что имеются вполне серьезные сомнения как в виновности Кельно, так и в его невинности, и поэтому польское правительство должно представить больше доказательств. Я не думаю, что их требование доста-

точно обосновано, потому что у них все сводится к показаниям Тесслара, а их Кельно опровергает.

Баннистер принялся листать дело, уже выросшее до солидных размеров.

— Большинство показаний, представленных польским правительством, основано исключительно на слухах. В результате мы знаем, что либо Тесслар лжет, чтобы уйти от наказания, либо лжет Кельно — по той же причине. Очевидно, что они недолюбливают друг друга. Все, что происходило в лагере «Ядвига», происходило в глубокой тайне, так что на самом деле мы не знаем, повесим ли мы жертву политических интриг или отпустим на свободу военного преступника.

— И как, по-вашему, нам следовало бы поступить?

— Держать его в Брикстоне, пока либо та, либо другая сторона не предъявит конкретных улик.

— А если не для протокола, то каково ваше мнение? — спросил Молтвуд.

Баннистер посмотрел на него, на Клэйтон-Хилла и улыбнулся.

— Да что вы, сэр Перси, вы же знаете, что на такие вопросы я не отвечаю.

— Мы все равно будем действовать с учетом ваших рекомендаций, Том, а не ваших личных ощущений.

— Мне кажется, что Кельно виновен. Только вот не знаю в чем, — сказал Том Баннистер.

*Посольство Польши
Портленд-Плейс, 47
Лондон*

15 января 1949 г.

Государственному секретарю

Сэр,

Посол Польши выражает глубокое уважение государственному секретарю по иностранным делам Его величества и имеет честь изложить ему позицию правительства Польши по делу доктора Адама Кельно. Правительство Польши считает, что:

Вне всякого сомнения установлено, что доктор Кельно, в настоящее время находящийся в Великобритании, в Брикстон-

ской тюрьме, работал хирургом в концентрационном лагере «Ядвига» и подозревается в совершении военных преступлений.

Доктор Кельно включен в список военных преступников комиссией ООН по военным преступлениям, а также правительствами Чехословакии, Нидерландов и Польши.

Правительство Польши представило правительству Его Величества все необходимые обоснования своего требования о его выдаче. Дальнейшие доказательства будут согласно установленному порядку представлены польскому суду.

Правительство Его Величества в силу существующего договора обязано выполнять требования о выдаче военных преступников.

Кроме того, общественное мнение Польши возмущено противозаконным затягиванием рассмотрения этого дела.

Ввиду этого, с целью раз и навсегда доказать необходимость выдачи доктора Кельно Польше, мы готовы предъявить жертву жестокого обращения со стороны доктора Кельно и, в соответствии с британскими законами, представить человека, который был зверски кастрирован доктором Кельно в порядке медицинского эксперимента.

С глубоким уважением,
Зыгмонт Зыбовски,
Посол

6

На Боу-стрит, напротив знаменитого старинного театра «Ковент-Гарден», стоит серое каменное здание в классическом палладианском стиле — там помещается полицейский суд, самый известный из четырнадцати полицейских судов Лондона. В этот день вереница лимузинов с шоферами, выстроившаяся перед входом, свидетельствовала о том, что за закрытыми дверями обширного, сильно запущенного зала судебных заседаний, где вечно гуляли сквозняки, происходит нечто важное.

Среди тех, кто находился в зале суда, был Роберт Хайсмит, скрывающий волнение под напускной рассеянностью. Был всегда корректный Ричард Смидди, нервно кусавший нижнюю губу. Был полицейский судья мистер Гриффин. Был неутомимый преследователь Натан Гольдмарк. Был

Джон Клэйтон-Хилл из Министерства внутренних дел. Были еще представители Скотленд-Ярда и стенограф.

И был там еще один человек — Томас Баннистер, Королевский советник, который выступал на этот раз, можно сказать, в роли Фомы неверующего.

— Начнем, господа? — произнес судья. Все кивнули. — Полисмен, вызовите доктора Флетчера.

В зал вошел ничем не примечательный на вид человек. Его усадили напротив судьи за дальним концом стола. Он сообщил стенографу свое имя и адрес. Судья Гриффин открыл заседание.

— Это заседание — в какой-то степени неофициальное, поэтому мы не будем слишком связывать себя правилами процедуры, если этого не потребует защита. Отметьте в протоколе, что мистер Гольдмарк и мистер Клэйтон-Хилл имеют право задавать вопросы. Итак, доктор Флетчер, вы зарегистрированы как практикующий врач?

— Да, сэр.

— Где вы работаете?

— Я главный врач тюрьмы Его Величества в Уормвуд-Скраббс и главный медицинский консультант Министерства внутренних дел.

— Освидетельствовали ли вы человека по имени Эли Янош?

— Да, вчера во второй половине дня.

Судья повернулся к секретарю:

— Для ясности: Эли Янош — венгр еврейского происхождения, в настоящее время живущий в Дании. По просьбе правительства Польши он добровольно согласился прибыть в Англию. Итак, доктор Флетчер, будьте так любезны сообщить нам результаты вашего освидетельствования, прежде всего в той части, которая касается состояния половых органов мистера Яноша.

— Этот бедняга — евнух, — сказал доктор Флетчер.

— Прошу эти слова вычеркнуть, — мгновенно среагировал Роберт Хайсмит. — Я считаю, что такие личные соображения и собственные умозаключения, как «бедняга», недопустимы.

— Но он же и в самом деле бедняга, разве нет, Хайсмит? — сказал Баннистер.

— Я попросил бы высокоученого судью проинформировать сидящего здесь моего высокоученого друга...

— Все это совершенно лишнее, господа, — произнес судья, и в голосе его вдруг прозвучал весь авторитет британского закона. — Мистер Хайсмит, мистер Баннистер, прошу вас немедленно прекратить.

— Хорошо, сэр.

— Извините, сэр.

— Продолжайте, пожалуйста, доктор Флетчер.

— Как в мошонке, так и в паховом канале у него отсутствуют яички.

— Имеются ли следы операции?

— Да. С обеих сторон, немного выше пахового канала — на мой взгляд, характерные следы, остающиеся после удаления яичек.

— Можете ли вы сообщить высокоученному судье, — сказал Баннистер, — сложилось ли у вас определенное мнение о том, была ли эта операция по удалению семенников проведена должным образом и вполне квалифицированно?

— Да, по-видимому, операция была сделана компетентным хирургом.

— И нет никаких признаков, которые бы указывали на плохое обращение с пациентом, неумелое ведение операции, осложнения и так далее? — резко спросил Хайсмит.

— Нет... Я бы не сказал, что заметил что-нибудь подобное.

Хайсмит, Баннистер и судья задали еще несколько специальных вопросов по поводу операции, после чего доктора Флетчера поблагодарили и отпустили.

— Вызовите Эли Яноша, — распорядился судья.

Что Эли Янош — евнух, можно было сказать сразу. Он страдал ожирением и говорил высоким, надтреснутым голосом. Судья Гриффин сам подвел Яноша к столу и усадил на место. Наступила неловкая тишина.

— Если вы хотите курить, господа, то пожалуйста.

Все с облегчением полезли в карманы. Клубы трубачного, сигарного и сигаретного дыма повисли над столом, понемногу поднимаясь к высокому потолку.

Судья Гриффин полистал письменные показания Яноша.

— Мистер Янош, насколько я понимаю, вы достаточно хорошо говорите по-английски, чтобы обойтись без переводчика.

— Справлюсь.

— Если вам что-то будет непонятно, попросите нас повторить вопрос. Кроме того, я понимаю, что для вас это нелегкое испытание. В любой момент, когда вы почувствуете себя нехорошо, прошу дать мне знать.

— У меня уже не осталось слез, чтобы плакать о себе, — ответил Янош.

— Хорошо, благодарю вас. Я хотел бы сначала пройти по некоторым фактам, о которых говорится в ваших показаниях. Вы родились в Венгрии в тысяча девятьсот двадцатом году. Гестапо арестовало вас, когда вы скрывались в Будапеште, и отправило в концентрационный лагерь «Ядвига». До войны вы были скорняком и в концлагере работали на фабрике, где шили обмундирование для германской армии.

— Да, это все верно.

— Весной сорок третьего года вы были пойманы на мелком воровстве и отданы под суд эсэсовского трибунала. Вас признали виновным и приговорили к удалению семенников. После этого вас перевели в медчасть и поместили в так называемый барак номер три. Четыре дня спустя в бараке номер пять вас оперировали. Под дулом револьвера заставили раздеться, заключенные-санитары провели подготовительные процедуры, и затем вас кастрировал врач из заключенных, поляк, которым, как вы утверждаете, был доктор Адам Кельно.

— Да.

— Господа, вы можете задавать вопросы мистеру Яношу.

— Мистер Янош, — начал Томас Баннистер, — я хотел бы узнать некоторые подробности. Это обвинение в мелком воровстве — о чем шла речь?

— Нас неотступно сопровождали три ангела лагеря «Ядвига» — смерть, голод и болезни. Вы читали то, что написано об этих местах, мне незачем входить в подробности. Мелкое воровство было там просто образом жизни... оно было так же обычно, как туман в Лондоне. Мы подворовывали, чтобы остаться в живых. Хотя лагерь был в ведении СС, охраняли нас капо. Капо — это тоже заключенные, которые зарабатывали поблажки со стороны немцев тем, что сотрудничали с ними. Многие капо были такие же звери, как и эсэсовцы. Все было очень просто. Я не откупился от кое-кого из капо, и они на меня донесли.

— Я хотел бы знать, были ли среди капо евреи? — спросил Баннистер.

— Всего единицы из нескольких сотен.

— Но большинство рабочей силы были евреями?

— Там было семьдесят пять процентов евреев. Двадцать процентов поляков, остальные — уголовники или политические заключенные.

— И вас сначала поместили в барак номер три?

— Да. Я узнал, что в этом бараке немцы держали сырой материал для медицинских экспериментов... А потом меня взяли в пятый барак.

— И заставили раздеться и принять душ?

— Да, а потом санитар побрил меня и велел сидеть голым в комнате при операционной. — Янош закурил сигарету. Голос его дрогнул — видно было, что эти воспоминания причиняют ему боль. — Потом вошли двое — врач и штандартенфюрер СС. Фосс, Адольф Фосс.

— Откуда вы знаете, что это был Фосс? — спросил Хайсмит.

— Он сам мне сказал. И еще сказал, что мне, еврею, яйца все равно больше не понадобятся, потому что он собирается стерилизовать всех евреев, так что я послужу на пользу науке.

— На каком языке он говорил с вами?

— По-немецки.

— Вы хорошо знаете немецкий?

— В концлагере волей-неволей начинаешь его понимать.

— И вы утверждаете, — продолжал Хайсмит, — что врач, который пришел с ним, был Кельно?

— Да.

— Откуда вы это узнали?

— В третьем бараке это было известно. Там говорили, что доктор Кельно — главный врач из заключенных и часто оперирует по приказу Фосса в пятом бараке. Никакого другого врача не называли.

— А доктор Тесслар? О нем вы слышали?

— Когда я уже выздоравливал, в третьем бараке появился новый врач. Возможно, это был Тесслар. Имя звучит знакомо, но я с ним не общался.

— И что же происходило дальше?

— Я был в панике. Трое или четверо санитаров держали меня, а четвертый сделал укол в спинной мозг. Скоро у ме-

ня отнялась вся нижняя часть тела. Меня привязали к каталке и отвезли в операционную.

— Кто там находился?

— Штандартенфюрер СС доктор Фосс, этот польский врач и один или два ассистента. Фосс сказал, что будет хронометрировать операцию, и велел удалить мне яйца побыстрее. Я по-польски попросил Кельно оставить хотя бы одно. Он только пожал плечами, а когда я закричал, ударил меня по лицу и... и отрезал их.

— Как я понял, — сказал Баннистер, — у вас было время разглядеть этого человека без хирургической маски?

— Он не надевал маску. Он даже не мыл руки. Я потом целый месяц болел и чуть не умер от инфекции.

— Я хотел бы внести ясность, — сказал Баннистер. — Когда вас взяли в барак номер пять, вы были нормальным здоровым человеком?

— Я ослабел в концлагере, но в общем был здоров.

— Вы не проходили до этого лечения рентгеновскими лучами или еще чем-нибудь, что могло бы повредить ваши семенники?

— Нет. Они просто хотели узнать, насколько быстро можно это сделать.

— И вы описываете обращение с вами на операционном столе как отнюдь не ласковое?

— Оно было зверски жестоким.

— Вы видели этого польского врача после операции?

— Нет.

— Но вы абсолютно уверены, что сможете опознать человека, который вас оперировал?

— Я все время был в сознании. Это лицо я никогда не забуду.

— У меня больше нет вопросов, — сказал Баннистер.

— Нет вопросов, — сказал Хайсмит.

— Все готово для опознания? — спросил судья Гриффин полисмена.

— Да, сэр.

— Теперь так, мистер Янош. Вы знаете, как проводится опознание в полиции?

— Да, мне объяснили.

— В комнате за стеклянной перегородкой будет находиться десяток человек в тюремной одежде. Та комната, где будем мы, им видна не будет.

— Я понимаю.

Они один за другим вышли из зала заседаний и спустились по скрипучей лестнице. Все находились под впечатлением ужасов, только что описанных Яношем. У Хайсмита и Смидди, так отчаянно сражавшихся за Адама Кельно, шевельнулось нехорошее предчувствие. А вдруг Адам Кельно им лгал? Только что перед ними впервые чуть приоткрылась дверь барака номер пять с его страшными секретами.

А Натана Гольдмарка просто распирало от счастья. Вот-вот наступит момент, когда гибель его семьи будет отомщена, а правота его правительства — подтверждена. Теперь никаких отсрочек уже не будет, и фашиста настигнет заслуженная кара.

Баннистер по-прежнему сохранял полное внешнее бесстрашие — не зря его прозвали «человек-холодильник».

А меньше всех волновался человек, который перенес больше остальных, — Эли Янош. Он знал, что все равно останется внухом, и по сравнению с этим все прочее было не так уж существенно.

Они расселись по местам, свет в комнате погас. Перед ними, за стеклянной перегородкой, находилась другая комната, задняя стена которой была размечена для определения роста. Туда ввели людей в тюремной одежде — они недовольно шурились, оказавшись внезапно на ярком свете. Полицесмен поставил их лицом к стеклянной перегородке.

Среди десятка высоких и низких, толстых и худых мужчин вторым справа стоял Адам Кельно. Эли Янош подался вперед и внимательно взгляделся в них. Оpoznать с первого взгляда того, кого он искал, ему не удалось, и он начал разглядывать всех по очереди, слева направо.

— Вы можете не спешить, — сказал судья Гриффин.

Тишину нарушало только свистящее дыхание Натана Гольдмарка — он изо всех сил сдерживался, чтобы не вскочить и не указать на Кельно.

Янош подолгу задерживал взгляд на каждом из лиц, пытаясь связать его с событиями того страшного дня в пятом бараке.

Один, другой, третий... Янош понурился. Полицесмен в другой комнате велел опознаваемым повернуться левым профилем, потом правым. После этого их увели, и в комнате снова зажегся свет.

— Ну что? — спросил судья Гриффин.

Эли Янош тяжело вздохнул и покачал головой:

— Я никого из них не узнал.

— Прикажите привести сюда доктора Кельно, — неожиданно выпалил Роберт Хайсмит.

— Это совершенно лишнее, — возразил судья.

— Вся эта канитель продолжается уже два года. Ни в чем не повинного человека держат в тюрьме. Я хочу окончательно в этом убедиться.

Полицейский ввел Адама Кельно и поставил его перед Эли Яношем. Они пристально смотрели друг на друга.

— Доктор Кельно, — сказал Хайсмит, — скажите что-нибудь этому человеку по-немецки или по-польски.

— Я хочу, чтобы мне вернули свободу, — сказал Адам по-немецки. — Это в ваших руках, — добавил он по-польски.

— Вам знаком этот голос? — спросил Хайсмит.

— Это не тот человек, который меня кастрировал, — сказал Эли Янош.

Адам Кельно перевел дух и опустил голову. Полицейский увел его.

— Вы готовы подтвердить это заявление под присягой? — спросил Хайсмит.

— Конечно, — ответил Эли Янош.

Адам Кельно получил официальное письмо, где говорилось, что правительство Его Величества сожалеет о причиненных ему неудобствах в связи с двухлетним пребыванием в Брикстонской тюрьме.

Когда за ним закрылись тюремные ворота, терпеливая и любящая Андже́ла бросилась ему в объятья. Позади нее, в переулке, стояли двоюродный брат Адама Зенон Мысленски с графом Анато́лем Черны, Хайсмит и Сми́дди. И был там еще маленький мальчик, который сначала опасливо мялся, подталкиваемый «дядей» Зеноном, а потом, сделав неуверенный шаг вперед, произнес:

— Папа...

Адам подхватил ребенка на руки.

— Мой сын, — воскликнул он. — Мой сын!

Несколько минут они шли вдоль высокой кирпичной стены, а потом вышли на солнце — стоял редкий для Лондона ясный день

Заговор потерпел поражение. Но теперь Адам Кельно испытывал еще больший страх. Отныне его больше не защи-

щали прочные стены тюрьмы, а враги были по-прежнему неумолимы и опасны. Оставалось одно — бежать, взяв с собой жену и сына. И он бежал — на самый край света.

7

— Адам! Адам! — раздался истошный вопль Анджелы.

Он одним прыжком миновал веранду и рывком открыл дверь, затянутую противомоскитной сеткой. Слуга по имени Абун вбежал вслед за ним. Анджела, упав на кровать, своим телом закрывала Стефана, а рядом свернулась кольцами кобра. Из ее пасти то и дело показывалось жало, а поднятая голова раскачивалась в смертном танце.

Абун жестом велел Адаму не подходить и медленно вытянул из ножен свой паранг. Неслышно скользя босыми ногами по ратановой циновке, он приблизился к змее.

Стальное лезвие, свистя, описало сверкающую дугу. Голова змеи отлетела в сторону, а тело затрепетало в судороге и опало.

— Не трогать! Не трогать! Там яд!

Только теперь Анджела позволила себе взвизгнуть и разразилась истерическими рыданиями. Маленький Стефан плакал, прижимаясь к матери, а Адам присел на край кровати и попытался их успокоить. Поглядев на сына, он виновато отвел глаза. Ноги мальчика были все в болячках — следах от пивовок.

Да, Саравак на севере Борнео был, пожалуй, самым далеким местом, куда человек может бежать, и самым укромным уголком, где он может скрыться.

Через несколько дней после освобождения из Брикстонской тюрьмы Кельно, движимый непреодолимым страхом, в тайне от всех купил для себя и своей семьи билет до Сингапура, там они сели на полуразвалившийся грузовой пароходик, пересекли Южно-Китайское море и добрались до самого края света — до Саравака...

Форт Бобанг находился в дельте реки Батанг-Лампур. Поселок состоял из сотни крытых тростником хижин на деревянных сваях, которые жались к берегу. Немного выше по течению располагался центр — две грязных улицы с лавками, принадлежавшими китайцам, склады каучука и саго,

предназначенных на экспорт, и причал для парома, ходившего в столицу колонии — Кучинг. Рядом стояло множество длинных лодок, на которых только и можно было плавать в глубь страны по ее бесконечным рекам.

Британский квартал представлял собой несколько облупленных, когда-то побеленных, но побуревших от времени построек, обжигаемых солнцем и поливаемых дождем. Здесь были контора окружного комиссара, полицейский участок, дома нескольких гражданских служащих, попавших сюда за те или иные провинности, больница и школа, состоявшая из одной комнаты.

За несколько месяцев до случая с коброй Адам Кельно был принят начальником медицинской службы Саравака доктором Мак-Алистером. Бумаги Кельно были в полном порядке и свидетельствовали о том, что он — квалифицированный врач и хирург, а что касалось его прошлого, то людям, по каким-то причинам пожелавшим работать в этих местах, лишних вопросов не задавали.

Мак-Алистер сам привез семейство Кельно в форт Бобанг. Два местных санитаря, малаец и китаец, без особого энтузиазма встретили нового врача и показали ему убогую больницу.

— Это вам не лондонский Вест-Энд, — заметил Мак-Алистер.

— Я работал в местах и похуже, — коротко ответил Адам.

Опытным взглядом Адам просмотрел скудный список медикаментов и оборудования.

— А что стало с тем, кто работал здесь до меня?

— Покончил с собой. Знаете, здесь такое часто случается.

— Ну, от меня этого не ждите. В свое время я имел для этого все основания, но остался жить. Я не из таких.

После осмотра больницы Адам коротко приказал тщательно вычистить и отмыть все помещения и отправился в предназначенное для него жилье на другом конце квартала.

Анджела была разочарована, но не жаловалась.

— Немного привести в порядок, и здесь будет очень мило, — сказала она, но это прозвучало неубедительно даже для нее самой.

С веранды, затянутой противомоскитными сетками, открывался вид на реку с пристанью прямо под ними, а с другой стороны — на холмы, возвышавшиеся сразу за городом.

Их покрывали густые заросли низкорослых пальм невероятно сочного зеленого цвета. К тому времени, когда им подали выпить, наступили сумерки с их особыми запахами и звуками, и блаженное дуновение прохлады сменило влажную, удушливую дневную жару. Выглянув наружу, Адам увидел, как на землю упали первые капли — предвестники ежедневного дождя. Электрогенератор был, как обычно, неисправен, и лампы то и дело мигали. А потом разразился ливень, хлеставший с такой силой, что капли отскакивали от земли.

— Ваше здоровье, — произнес Мак-Алистер, не сводя глаз с Адама. Умудренный многолетним опытом, он повидал на своем веку множество таких, как этот человек. Они приходили и уходили, среди них были и вконец спившиеся отбросы общества, и те, кто был преисполнен несбыточной надежды помочь человечеству и сделать его лучше. Когда-то Мак-Алистер тоже испытывал миссионерское рвение, но давно утратил его в борьбе с засильем бездарных тупиц, бюрократизмом колониальных чиновников, удушливо-влажными джунглями и этими дикарями, что живут вверх по реке. — Двое слуг, которые будут при вас, вполне справятся со всеми делами. Они помогут вам тут освоиться. Теперь, когда Саравак стал колонией британской короны, мы сможем немного больше тратить на медицину. Можно будет кое-что подлатать.

Адам посмотрел на свои руки, сжатые в кулаки, и задумался. Столько времени прошло с тех пор, как они в последний раз держали скальпель...

— Я сообщу вам, что мне будет нужно и что я здесь собираюсь изменить, — сказал он коротко.

«Довольно-таки самоуверен, — подумал Мак-Алистер. — Ну ничего, это пройдет». Он не раз видел, как такие люди, осознав всю безвыходность ситуации, от месяца к месяцу все больше замыкались в себе, становились жесткими и циничными.

— Примите совет старого жителя Борнео — не пытайтесь здесь что-то изменить. Те, кто живет вверх по реке, будут противодействовать всем вашим усилиям и разрушат все ваши планы. Всего лишь одно-два поколения назад это были охотники за головами и каннибалы. Жизнь здесь и без того нелегка, так что не берите на себя слишком много. Радуй-

тесь здешнему скудному комфорту. В конце концов, с вами жена и ребенок.

— Благодарю вас, — сказал Адам, хотя никакой благодарности не испытывал.

Зловонный Саравак. Захолустье, укрытое от остального человечества в дальнем уголке острова Борнео. Мозаика разнообразных племен: малайцы-мусульмане, кейяны — лесные даяки, ибаны — морские даяки. И конечно, вездесущие китайцы — лавочники Востока.

Современная история Саравака началась немного больше столетия назад, когда торговля между британской колонией в Сингапуре и султанатом Бруней на Борнео через Южно-Китайское море возросла настолько, что стала первостепенной мишенью пиратов. Брунейский султан не только подвергался их нападениям, но и вынужден был постоянно бороться с мятежами в своих владениях. Закон и порядок прибыли сюда в лице Джеймса Брука — английского головореза-наемника. Брук подавил мятежи и отогнал пиратов. В награду за заслуги благодарный султан подарил ему Саравак, где Джеймс Брук стал первым из знаменитых «белых раджей».

Брук правил своими владениями, как благожелательный автократ. Это было знойное крохотное государство, располагавшее всего лишь несколькими километрами проселочных дорог. Главными путями сообщения здесь были реки, изливающиеся с лесистых гор в Южно-Китайское море. Страну, покрытую тропической растительностью и изобилующую крокодилами, змеями, летучими мышами и дикими свиньями, заливали 500 миллиметров годовых осадков. Туземцы страдали от проказы, слоновой болезни, червей-паразитов, холеры, оспы и водянки, которые уносили их тысячами.

Лишь жалкие клочки земли были пригодны для земледелия, скудные урожаи постоянно становились добычей пиратов или алчных соседей, а остальное шло на уплату налогов.

Туземцы вечно воевали друг с другом и отправлялись в бой разряженными в перья. Голову побежденного вешали в доме победителя. Тех, кого не убивали, продавали в рабство.

С течением времени Джеймсу Бруку и его племяннику, который сменил его на троне раджи, удалось навести неко-

торое подобие порядка, так что населению осталось лишь заботиться о том, чтобы выжить в отчаянной борьбе с природой.

Вскоре после Второй мировой войны третий и последний «белый раджа», сэр Чарлз Уайнер Брук, положил конец стопятидесятилетнему царствованию своего семейства. Во время войны Саравак оккупировали японцы, привлеченные его нефтяными месторождениями, а когда война кончилась, Брук уступил свои владения британской короне, и Саравак, как и Бруней и Северное Борнео, стали колониями Его Величества.

Сэр Эдгар Бейтс, первый губернатор Саравака, принял под свое управление государство, выросшее к тому времени до 130 тысяч квадратных километров, с полумиллионным населением. Большую часть этого населения составляли ибаны, или морские даяки, — бывшие охотники за головами неизвестного этнического происхождения. Кое-кто утверждал даже, что их предками были мореплаватели-монголы.

Сэр Эдгар, в прошлом — колониальный чиновник среднего ранга, делал все, что мог, для просвещения народа и подготовки его перехода к самоуправлению. Но во времена «белых раджей» ни о чем подобном никто не заботился, и это требовало от него огромных усилий. Учрежденная им компания «Саравак-Ориент» вела поиски нефти и других ископаемых и пыталась разрабатывать необозримые леса. Однако прогресс продвигался со скоростью улитки и увязал в трясине вековых туземных предрассудков и табу.

Когда в 1949 году в Саравак прибыл Адам Кельно, здесь работало двадцать девять врачей — он стал тридцатым. В стране было пять больниц на полмиллиона жителей.

Кельно направили в форт Бобанг, расположенный во Втором округе Саравака, где жили ибаны — покрытые татуировкой охотники за головами.

8

Лодочник ловко провел десятиметровую лодку с тростниковым навесом, выдолбленную из цельного ствола, через бурлящие пороги при впадении быстрого Леманака в реку Лампур. Лодку доктора Кельно было легко узнать: ее подвесной мотор был мощнее, чем на всех остальных судах.

нышках, которые плавали по Леманаку. Оказавшись на спокойной воде, лодка проплыла мимо нескольких спящих на песчаном берегу крокодилов, которые при звуке мотора поспешно соскользнули в воду. Стая обезьян, прыгавших по деревьям, проводила их громкими криками.

В двадцати километрах вверх по Леманаку стояли длинные дома племени улу, принадлежавшего к морским даякам. Каждый длинный дом представлял собой, в сущности, целую деревню, где жили от двадцати до пятидесяти семей, и тянулся вдоль берега больше чем на пятьдесят метров. Дома были поставлены на деревянные сваи, и подняться в них можно было только по приставной лестнице — в прежние времена такое устройство служило для защиты от нападения соседних племен. Со стороны реки вдоль домов шли веранды, где помещались длинная сушильня без крыши, общая кухня и место, где работали женщины, а вдоль задней стены шли маленькие комнатки — по одной на семью. Кровли были из пальмовых листьев и коры, а под полом, между сваями, среди человеческих испражнений шныряли тощие свиньи, куры и шелудивые собаки.

Пятнадцать таких длинных домов составляли поселок одного из родов племени улу, который возглавлял вождь по имени Бинтанг.

Доктора Кельно встретили ударами в гонг — так здесь обычно приветствовали любого гостя. Весь день Кельно принимал больных, а тем временем главы всех длинных домов племени — турахи собирались на заседание племенного совета, созвать который обещал доктору Бинтанг.

К вечеру все турахи были в сборе — разряженные в разноцветные плетеные накидки, конические шляпы с перьями и множество браслетов на руках и ногах. Они были не выше полутора метров ростом, с кожей оливкового цвета и чертами лица, свидетельствовавшими о смешанном негритяно-азиатском происхождении. Их лоснящиеся черные волосы были собраны сзади в пучок, а плечи, ноги и руки покрыты татуировкой. Кое-кто из турахов постарше мог похвастать узорами, которых в не столь давние времена удостоивали лишь воинов, сумевших добыть голову своего врага. Потолочные балки дома были увешаны десятками таких голов, чисто выскобленных изнутри наподобие тыкв. Бинтанг угощал турахов, сидевших в углу веранды, горячим рисовым пивом, они жевали бетель и курили сигары-само-

крутки. Рядом, в той части веранды, что была отведена под сушильню, занимались своим делом женщины — стряпали еду, плели ратановые циновки, мастерили украшения и заготавливали саго — крахмал из сердцевины пальмы. Их обнаженные груди были подперты корсетами из медных колец, охватывавших все тело и украшенных монетами и цепочками, а мочки ушей оттягивали тяжелые серьги.

Сначала турахи пребывали в прекрасном настроении, однако когда появился хмурый доктор Кельно, они помрачнели: отношение к нему явно было не слишком дружелюбным. Кельно и его переводчик по имени Мадич уселись на пол напротив них. Бинтанг и главный колдун сели в стороне. Колдун, которого звали Пирак, был одним из потомственных кудесников — манангов, через посредство которых духи посылали людям здоровье и передавали мудрые указания богов. Существовало множество разновидностей манангов. Пирак, тощий морщинистый старик, принадлежал к особому виду — мананг-бали, которые ходили в женском платье и вели себя как женщины, в частности совращали молодых мужчин, хотя не брезговали и девушками. За исполнение своих мистических функций Пирак получал щедрый гонорар в виде подарков и еды. Слишком старый, чтобы унаследовать после Бинтанга пост вождя, Пирак был преисполнен решимости сохранить хотя бы свое высокое положение, угрозу которому видел в лице доктора Адама Кельно.

После полагавшихся по этикету приветствий переводчик перешел к делу.

— Доктор Адам говорит, — начал он, — что скоро начнется муссон и река разольется. В следующий раз доктор Адам придет нескоро. В прошлом году во время муссона была сильная холера. Доктор Адам не хочет, чтобы в этом году была холера. Он хотел дать лекарство через иголку, чтобы не было холеры. Только двадцать семей во всех домах согласились. Почему так? — спрашивает доктор Адам.

— Потому что Главный Дух Патра поручил управлять болезнями Духу Ветра, Духу Моря, Духу Огня и Духу Леса, — ответил Бинтанг. — Мы приготовили кур для жертвоприношения и будем бить в гонг четыре ночи после начала муссона. Скажи доктору Адаму, что у нас есть много способов отогнать болезнь.

— Много, много способов, — добавил колдун Пирак, указывая на сумку с амулетами, целебными камешками и травами.

Турахи одобрительно зашумели.

Адам глубоко вздохнул, с усилием взял себя в руки и наклонился к переводчику.

— Я хочу, чтобы ты спросил Бинтанга вот о чем. Я дам свое лекарство семьям, которые этого хотят. Если после сезона муссонов те семьи, которые я буду лечить, останутся здоровыми, а многие другие, которые не получают моего лекарства, умрут от холеры, будет ли это доказательством, что боги благоволят к моему лечению?

Мадич сделал вид, что не понял. Адам повторил свои слова еще раз, помедленнее. Переводчик пожегил и покачал головой.

— Я не могу задать Бинтангу такой вопрос.

— Почему?

— Вождь будет опозорен перед своими турахами, если ты окажешься прав.

— Но разве он не должен заботиться о здоровье своего народа?

— Бинтанг должен заботиться и о верности священным преданиям, полученным от предков. Болезнь приходит, болезнь уходит, а предания остаются.

«Ладно, — подумал Адам, — попробуем подойти с другой стороны». Он старательно объяснил Мадичу, о чем хочет спросить.

— Доктор Адам спрашивает Бинтанга, почему кладбище так близко к реке? Доктор Адам говорит, что его надо перенести, потому что оно делает воду нечистой, а от нечистой воды бывают болезни.

— Неправда, — ответил Бинтанг. — Болезни бывают от духов.

И снова все турахи одобрительно закивали.

Адам увидел злобу в глазах Пирака. Мананг-бали заправлял похоронами умерших, что было важной статьей его доходов.

— Священное предание говорит, что хоронить мертвых надо на холме над рекой. Сейчас кладбище на хорошем месте. Переносить его нельзя.

— Доктор Адам говорит, что могилы нечисты. Они слишком мелкие, и людей часто хоронят без гроба. Доктор

Адам говорит, что это делает нечистой воду, которая течет мимо кладбища. Свиньи и собаки бегают на свободе, они приходят на кладбище и едят мертвых. Когда мы едим свиной и пьем воду, мы можем заболеть.

— Если женщина умирает от кровотечения, когда рождает ребенка, ее нельзя хоронить в гробу; — ответил манангбали. — Если умирает воин, его надо хоронить вблизи воды, чтобы облегчить его путь в Себаян.

— Но когда вы зарываете вместе с ним всю эту еду, животные раскапывают могилу, чтобы добраться до нее!

— Как же может он отправиться в Себаян без пищи на дорогу? — возразил Бинтанг.

— Если умирает вождь, — добавил Пирак, — его надо сжечь и поручить Духу Огня. Доктор Адам не понимает, что хоронить надо по-разному, смотря кто как умер.

Так и перенос кладбища оказался пустой затеей. С суевериями и с многочисленными табу Кельно ничего поделаться не мог. Но он все-таки не отступал.

— Доктор Адам говорит, что в прошлый раз он привез семена окры, чтобы посадить их на поле около леса, где растут саговые пальмы. Бинтанг обещал посадить окру, потому что ее полезно есть, она сделает нас сильными.

— Мы гадали по полету птиц, — сказал Пирак, — и узнали, что на полях около леса, где растут саговые пальмы, лежит проклятие.

— Как вы это узнали?

— Очень трудно гадать по полету птиц, — сказал Пирак. — Надо много лет учиться. Когда птицы предсказывают недоброе, мы со всеми положенными церемониями убиваем свинью и гадаем по ее печени. Все говорит о том, что на этих полях лежит проклятие.

— Доктор Адам говорит, что у нас вдвое меньше полей, чем нам нужно. Мы должны использовать их все. Окра отгонит от полей злых духов. Окра — священное растение, — переводил Мадич: Кельно пытался использовать их суеверия для своих целей. Но они по-прежнему упорствовали.

— Доктор Адам купил вам у китайцев четырех буйволов. Почему вы не едете в город, чтобы их забрать?

— Буйвол — священное животное, как бабочки и голубые птицы.

— Но вы же возьмете их не для того, чтобы съесть, а для того, чтобы они работали в поле!

— Нельзя заставлять священное животное работать.

Спустя час Адам пришел в полное изнеможение. Он попросил извинения, что не сможет присутствовать на пире и петушином бое, и сердито распрощался. Мананг-бали Пирак, добившийся всего, чего хотел, был в благодушном настроении: теперь доктор Адам вернется только после муссонов. Когда Кельно сел в лодку и приказал лодочнику отплывать, туземцы на берегу довольно равнодушно помахали ему вслед руками. Как только лодка скрылась из вида, Бинтанг повернулся к Мадичу и спросил:

— Зачем доктор Адам приезжает сюда, если он нас так ненавидит?

9

Немногочисленным обитателям британского квартала в форте Бобанг волей-неволей приходилось постоянно общаться друг с другом, а зачастую и водить компанию с такими людьми, от которых в иных условиях они всячески старались бы держаться подальше. Анджела прекрасно приспособилась к светской жизни в этом тесном кружке, а Адам никак не мог.

Особенно не нравился ему Лайонел Клифтон-Мик, комиссар Второго округа по сельскому хозяйству. Контора Клифтон-Мика располагалась рядом с его больницей, а жилища их разделял только дом главного комиссара Джека Ламберта.

Британская империя была настоящей обетованной землей для всех людей с посредственными способностями — она спасала их от безвестности. Клифтон-Мик был бы урядным продавцом в обувном магазине, кассиром на железной дороге или ничтожным подмастерьем у портного, если бы всеми правдами и неправдами не пристроился блюсти далеко идущие интересы Его Величества. Ниша, которую он для себя нашел, была крохотной, но раз уж он ее занимал, она принадлежала ему, и только ему. Он изо всех сил старался не брать на себя какую бы то ни было ответственность и не принимать никаких решений, но чужих вмешательств в свои дела не терпел. Чтобы укрепиться в сознании своей значительности, он окружал себя горами бумаг, за которыми мог спокойно отсиживаться до тех пор,

пока ему не будет назначена приличная пенсия за верную службу короне.

Если Клифтон-Мик олицетворял собой нижний слой гражданских служащих, то его жена Марси, бесцветная женщина с длинной индюшачьей шеей, в еще большей степени воплощала в себе все то, что вызывало ненависть у чернокожих и желтокожих, которыми они управляли.

В Англии Клифтон-Мики вели бы серую жизнь в стандартном кирпичном домике какого-нибудь серого городка или в лондонской квартирке на верхнем этаже без горячей воды и лифта, и, чтобы хоть что-нибудь добавить к скудному заработку мужа, она могла бы разве что пойти в горничные. Однако империя неплохо заботилась о своих скромных тружениках. В Сараваке они занимали важное общественное положение. Другого комиссара по сельскому хозяйству, кроме Клифтон-Мика, во Втором округе не было. Он много разглагольствовал о рисовых полях и каучуковых плантациях и не жалея времени засыпал компанию «Саравак-Ориент» своими бесконечными рекомендациями, которые только мешали ей работать. Он был как кость, застрявшая в горле прогресса.

Марси Мик имела в полном своем распоряжении двух слуг-малайцев, которые спали на веранде их дома и сопровождали ее повсюду с зонтиком, спасавшим от солнца ее веснушчатую молочно-бледную кожу. Кроме того, у нее был повар — настоящий китаец. Из снобизма, свойственного выскочкам низкого происхождения, они приняли двойную фамилию, что придавало им еще больше веса в собственных глазах. И в довершение всего Марси пыталась привить местным язычникам веру в англиканского Бога. По воскресеньям весь квартал сотрясался от ее аккордов на фисгармонии, когда она вколачивала в туземцев страх Божий с помощью молитв, которые они бормотали с полным безразличием.

Главный комиссар Ламберт был человек совсем другого сорта. Как и начальник Адама — Мак-Алистер, он жил здесь давно и был хорошим администратором, то есть спокойно выслушивал жалобы туземных вождей, мало что делал для их удовлетворения и заботился о том, чтобы все длинные дома бесперебойно снабжались британскими флагами и портретами короля.

Иметь дело с Ламбертом Адаму почти не приходилось. Но Клифтон-Мик в один прекрасный день решил, что боль-

ше не потерпит происков этого врача-иностранца, и написал возмущенный рапорт.

Прежде чем дать рапорту ход, Ламберт устроил совещание, на которое пригласил обе стороны. Оно состоялось в его раскаленном кабинете с облупленными стенами и стареньким вентилятором под потолком, который почти не смягчал зноя. Пока Ламберт листал пространный рапорт Клифтон-Мика, тот сидел с выражением обиды на бледном лице, не выпуская из рук сборников инструкций и постановлений.

Ламберт вытер пот.

— Мне кажется, доктор Кельно, здесь имеет место некое недоразумение. Я бы не хотел, чтобы оно вышло за пределы этой комнаты, и надеюсь, что мы сможем прийти к соглашению.

Адам бросил презрительный взгляд на Клифтон-Мика, который весь напрягся, готовый ринуться в бой.

— Вы познакомились с жалобой Клифтон-Мика?

— Прочитал сегодня утром.

— Мне представляется, что все это не слишком серьезно.

— А я считаю, что это серьезно, — дрожащим голосом произнес Клифтон-Мик.

— Я хочу сказать, — продолжал Ламберт, — что здесь нет ничего такого, чего мы бы не могли обсудить между собой и уладить.

— Это зависит от доктора Кельно.

— Давайте посмотрим, — сказал Ламберт. — Прежде всего, тут идет речь о разведении окры, которое было рекомендовано племени улу в нижнем течении Леманака.

— И чем это плохо? — спросил Адам.

— Здесь написано, что вы рекомендовали жителям пятнадцати длинных домов, находящихся под управлением вождя по имени Бинтанг, разводить окру и с этой целью привезли им семена.

— Не буду отрицать — виновен, — сказал Адам.

Клифтон-Мик самодовольно улыбнулся и забарабанил костлявыми пальцами по столу Ламберта.

— Окра, кустарник семейства мальвовых, — это полевая культура и поэтому безусловно лежит целиком в компетенции комиссара по сельскому хозяйству. К здравоохранению и медицине она отношения не имеет.

— А как вы считаете — если добавить окру к их нынешнему скудному рациону, будет это им полезно для здоровья или нет? — спросил Адам.

— Я не дам вовлечь себя в эти ваши словесные игры, доктор. Землепользование входит в мою компетенцию, сэр. Вот здесь, на семьсот второй странице сборника постановлений... — И он принялся зачитывать длинейшую инструкцию. Джек Ламберт старался не улыбнуться. Наконец Клифтон-Мик захлопнул книгу, из которой торчало множество закладок. — В настоящее время, сэр, я готовлю для компании «Саравак-Ориент» доклад о перспективах землепользования во Втором округе с точки зрения возможности разведения здесь каучуковых плантаций.

— Во-первых, — сказал Адам, — каучука туземцы не едят. Во-вторых, я не понимаю, как вы можете готовить доклад, если ни разу не побывали на реке Леманак.

— У меня есть карты и другие источники.

— Значит, вы рекомендуете не разводить окру? — спросил Адам.

— Да, Лайонел, что вы, собственно, предлагаете? — вставил Ламберт.

— Я только хочу сказать, — Клифтон-Мик повысил голос, — что в этой книге точно очерчен круг наших полномочий. Если врачи будут соваться везде и брать дело в свои руки, то начнется хаос.

— Скажу вам откровенно: если бы вы совершили поездку по Леманак, как я вам много раз предлагал, то простой здравый смысл подсказал бы вам, что там нет места для каучуковых плантаций. Вы бы узнали, что из-за нехватки земель, пригодных для возделывания, население там постоянно недоедает. Что же до остальной части вашего нелепого рапорта, то лишь осел может возражать против покупки мной буйволов и рекомендованных мною новых способов ловли рыбы.

— Но в инструкциях четко сказано, что решения по этим вопросам может принимать только комиссар по сельскому хозяйству! — вскричал Клифтон-Мик. Вены у него на шее вздулись, лицо побагровело.

— Господа, господа, — вмешался Ламберт, — мы же все здесь служащие британской короны.

— Преступление, которое я, по-видимому, совершил, — сказал Адам Кельно, — состоит в том, что я пытался сделать

жизнь моих пациентов чуть лучше и хотел, чтобы они не умирали так рано. Взяли бы вы свой рапорт, Клифтон-Мик, и засунули бы его себе в задницу.

Клифтон-Мик вскочил.

— Мистер Ламберт, я требую, чтобы мой рапорт был направлен в столицу. Очень жаль, что нам приходится терпеть здесь всяких иностранцев, которые не понимают важности соблюдения инструкций. До свидания, сэр.

После ухода Клифтон-Мика в кабинете наступило напряженное молчание.

— Ладно, лучше ничего не говорите, — сказал Ламберт, наливая себе воды.

— Я соберу туземные приметы, табу, обряды, составлю список здешних божков и духов, приложу инструкции Министерства иностранных дел Его Величества и напечатаю всю эту коллекцию под названием «Руководство для идиотов». Блаженны нищие духом, ибо они унаследуют империю.

— Однако мы каким-то образом все-таки умудрились продержаться почти четыре столетия, — заметил Ламберт.

— Там, на реке Леманак, они бьют рыбу острогами, охотятся с духовыми трубками и ковыряют свои поля заостренными палками. А стоит вбить в голову этим дикарям хоть одну хорошую мысль, как появляется какой-нибудь Клифтон-Мик и хоронит ее под грудой своих бумаг.

— Ну, видите ли, Кельно, ведь вы здесь не так уж давно. Вам надо бы знать, что дела всегда идут медленно. Подгонять их нет никакого смысла. Кроме того, вы еще убедитесь, что здешние туземцы не такие уж плохие люди, надо только привыкнуть к мысли, что они все делают по-своему.

— Да они же, черт возьми, просто дикари!

— Вы действительно так думаете?

— А как же я еще могу думать?

— От вас, доктор Кельно, это довольно странно слышать.

— Что вы хотите сказать, Ламберт?

— Мы здесь не любим совать нос в прошлое человека, но ведь вы побывали в концлагере «Ядвига», прошли в Польше через все то, что устроили люди, которые считаются цивилизованными. И после этого вам, наверное, не так просто сказать, кто же, собственно, в этом мире действительно дикари...

Как правило, Адам Кельно старался держаться подальше от узкого, душного, однообразного и скучного круга британских гражданских служащих в форте Бобанг.

Единственным человеком, с кем он подружился, был Айен Кэмпбелл, коренастый шотландец, который заведовал кооперативом владельцев нескольких небольших каучуковых плантаций. В форте Бобанг у него была контора для надзора за складами и отправкой продукции. Кэмпбелл, человек без особых претензий, за долгие годы одиночества перечитал чуть ли не всю классику. Он много пил, любил шахматы, крепко выражался, терпеть не мог изнеженных чиновников и хорошо знал джунгли и их обитателей.

Когда-то он был женат на дочери француза-плантатора и после смерти жены остался с четырьмя маленькими детьми на руках — за ними ухаживала китайская супружеская пара. Ему же самому прислуживала очаровательная полукитаянка, которой еще не было двадцати лет.

Кэмпбелл сам обучал своих детей с пылом миссионера-баптиста, и они уже знали куда больше, чем большинство ребят их возраста. С Кельно он подружился после того, как его дети записались в неофициальную школу, которую устроила у себя Анджела.

Младшего сына Кэмпбелла звали Терренс. Он был на год старше Стефана Кельно, и между ними очень скоро завязалась дружба, которой суждено было продлиться всю жизнь. И Стефан, и Терренс прекрасно приспособились к жизни в глуши и, по-видимому, успешно преодолевали неудобства, связанные с удаленностью от цивилизации. Они жили как братья, держались постоянно вместе и вслух мечтали о заморских странах.

Когда же Адам Кельно в очередной раз погружался в одну из своих глубоких тропических депрессий, то именно Айена Кэмпбелла неизменно призывала Анджела, чтобы он помог мужу снова взять себя в руки.

Наступил сезон муссонов. Реки вздулись и стали несудоходными. И в это время, на второй год пребывания здесь Адама и Анджелы, стало сбываться мрачное предсказание Мак-Алистера. У Анджелы случился уже третий выкидыш, и теперь им приходилось заботиться о том, чтобы она больше не забеременела. Истомленный влажной жарой и беско-

нечными дождями, запертый в форте Бобанг, Адам Кельно все больше пил. Каждую ночь перед ним снова и снова вставали страшные картины концлагеря. И еще — кошмар, знакомый ему с детства. Это всегда был какой-нибудь крупный зверь — медведь, горилла или некое непонятное чудище, которое преследовало его, настигало и подминало под себя. Адам не мог пошевелиться, дышать становилось все труднее, и в конце концов он, задыхаясь, просыпался весь в поту, с бешено колотящимся сердцем и иногда — с отчаянным воплем. А шествие мертвецов из концлагеря «Ядвига» и потоки крови в операционной не прекращались никогда. И с каждым днем ему, дрожащему от похмелья и от ужасов, пережитых во сне, становилось все труднее оторвать голову от подушки.

По полу пробежала ящерица. Адам равнодушно тыкал вилкой в свою тарелку, сидя, как обычно к вечеру, с налитыми глазами и шестидневной щетиной на лице.

— Адам, ешь, пожалуйста.

В ответ он проворчал что-то нечленораздельное.

Анджела кивком головы отпустила слуг. Стефан, еще совсем ребенок, уже хорошо знал запах перегара и, когда отец захотел поцеловать его перед уходом в спальню, подставил ему щеку.

Адам заморгал и прищурился — в глазах у него двоилось. Анджела сидела, печально понурившись. В волосах ее уже появились седые пряди.

— Адам, тебе надо бы все-таки побриться, принять ванну и постараться сходить к Ламбертам — познакомиться с новыми миссионерами, — сказала она.

— Господи Боже, только не вздумай отдать нашего единственного сына на растерзание этим каннибалам. Миссионеры! Неужто ты думаешь, что Иисус может заглянуть в эту дыру? Иисус в таких местах не показывается. Ни в концлагерях, ни в британских тюрьмах. Иисус знает, что от них надо держаться подальше. Скажи своим миссионерам... Я очень надеюсь, что до них доберутся эти охотники за головами.

— Адам!

— Иди, пой свои гимны с Марси Мик. «Наш добрый друг Иисус»... Славься, Матерь Божья, только не суй своего носа в Саравак!

Анджела сердито встала из-за стола.

— Сначала налей мне еще выпить. Только без нравоучений. Выпить — и все. Хоть этого гнусного британского джина. Ага, сейчас добропорядочная и долготерпеливая жена скажет, что пить мне больше не надо.

— Адам!

— Лекция номер два: мой муж не спал со мной уже больше месяца. Мой муж — импотент.

— Адам, послушай. Уже поговаривают, что тебя собираются уволить.

— Где ты это слышала?

— Клифтон-Мик был счастлив сообщить мне такую новость. Я сразу написала Мак-Алистеру в Кучинг. Он ответил, что это их серьезно беспокоит.

— Ура! Мне давно надоели каннибалы и британские джентльмены.

— Куда же ты тогда денешься?

— Пока у меня есть вот это, — он сунул ей под нос обе руки, — я найду себе место.

— Они уже начинают трястись.

— Дай мне, черт возьми, выпить!

— Ну хорошо, Адам, тогда выслушай все до конца. С меня довольно. Если тебя отсюда прогонят... Если ты не возьмешь себя в руки, мы со Стефаном никуда с тобой не поедем.

Он уставился на нее.

— До сих пор мы молчали и ни на что не жаловались. Адам, единственное, в чем ты мог никогда не сомневаться, — это в моей верности, и я готова остаться здесь навсегда, если понадобится. Но я не буду жить с пьяницей, который сам на себя махнул рукой.

— В самом деле?

— В самом деле.

Она круто повернулась и отправилась к Ламбертам.

Адам Кельно застонал и закрыл лицо руками. За окнами хлестал ливень. В комнате стало совсем темно. Через некоторое время слуги принесли лампы, свет которых плясал от порывов ветра. Адам все еще сидел за столом, борясь с туманом, заволакивавшим его мозг. Потом он поднялся и шатаясь подошел к зеркалу.

— Мерзавец и идиот, — сказал он своему отражению.

Он заглянул в комнату Стефана. Ребенок, наполовину проснувшись, испуганно посмотрел на него.

«О Господи! — подумал он. — Что же я наделал? Ведь этот ребенок — вся моя жизнь!»

Когда Анджела вернулась, она обнаружила Адама спящим на стуле в комнате Стефана. Мальчик спал у него на коленях. Зачитанная до дыр детская книжка валялась на полу. Анджела улыбнулась: Адам был чисто выбрит. Он проснулся, поцеловал ее, осторожно переложил Стефана в кровать и тщательно подоткнул противомоскитную сетку. Потом обнял жену за талию и повел ее в спальню.

Айен Кэмпбелл вернулся из длительной поездки в Сингапур как раз вовремя. Он сделал все, чтобы помочь своему другу превозмочь тлетворное, размягчающее мозг действие муссона. Они подолгу играли в шахматы, а дети резвились у их ног. «В конце концов, — думал Адам, — Кэмпбеллу, вдовцу с четырьмя детишками, это удалось». И он тоже должен был найти в себе силы побороть душевный недуг.

Адам Кельно понимал, что обязан Айену Кэмпбеллу очень многим. Возможность оплатить этот свой долг предоставил ему юный Терренс. Он часто видел за окном своей больницы карие глаза мальчика, с любопытством следящие за тем, что происходит внутри.

— Заходи, Терри, не стой там, как любопытная мартышка.

Мальчик бочком входил в комнату и часами смотрел, как доктор Адам, волшебник доктор Адам, исцеляет больных. Адам часто просил его принести что-то или как-нибудь помочь, и это было для Терри лучшим подарком. Он от всей души мечтал когда-нибудь тоже стать доктором.

Когда Адам был в хорошем настроении, мальчик засыпал его бесконечными вопросами на медицинские темы. Нередко Адам жалел, что это не его сын. Но Стефан в больнице не показывался — он вечно возился с молотком и гвоздями, сооружая то плот, то жилище на дереве. Что же касается Терренса Кэмпбелла, то было ясно: стоит ему получить хоть маленький шанс, как он непременно будет врачом.

Сезон муссонов кончился, и Адам Кельно снова вернулся к жизни.

В своей больнице он устроил небольшое хирургическое отделение, где можно было производить несложные операции. Из Кучинга на открытие отделения приехал Мак-Алистер и пробыл несколько дней. То, что он увидел в операционной, поразило его. С помощью Анджелы, которая ему ассистировала, Адам проделал множество операций. Мак-Алистер видел, как преображался Кельно, беря в руки скальпель. Это была тончайшая работа выдающегося мастера своего дела, всегда сохранявшего хладнокровие и сосредоточенность.

Вскоре после этого по рации, стоявшей в полицейском участке, из столицы колонии пришла просьба прислать доктора Кельно для срочной операции. За ним в форт Бобанг был отправлен небольшой самолет. С тех пор среди англичан, живших в Кучинге, вошло в обычай всякий раз, когда требовалась операция, приглашать Адама Кельно вместо того, чтобы отправляться на лечение в далекий Сингапур.

Как только реки вновь стали судоходными, Адам отправился вверх по Леманаку. На этот раз его сопровождал сын. Добравшись до длинных домов племени улу, Кельно узнал, что во время муссонов на деревню обрушилось несчастье — жестокая эпидемия холеры.

Бинтанг очень горевал о смерти двух своих старших сыновей. Пирак пытался отогнать злых духов водой из ритуальных горшков, волшебным маслом, особым образом приготовленным перцем и велел целыми днями бить в гонги и барабаны. Однако болезнь не отступала: понос, сопровождаемый невыносимыми судорогами и рвотой, обезвоживание организма, запавшие глаза, жар, боли в ногах и апатичное ожидание смерти. Когда эпидемия стала распространяться, Бинтанг и те, кто был еще здоров, бежали в холмы, бросив больных умирать.

Двадцать семей из племени, которые принимали лекарство доктора Адама, жили в шести разных длинных домах, и никто из них не заболел. Это сильно повлияло на Бинтанга, немного оправившегося от горя. Хотя ему по-прежнему не слишком нравился этот немногословный и сдержанный доктор, теперь он проникся уважением к его

медицине. Он созвал своих турахов, и они, памятуя о недавних несчастьях, согласились кое-что изменить. Кладбище, главный источник заражения, перенесли на другое место. Это был смелый шаг. Затем несколько полей засадили окрой, вызывавшей недавно такие споры, и из города привезли буйволов для вспашки. Они перепашивали землю гораздо глубже, чем первобытная ручная соха, и урожаи ямса и овощей выросли. Доктор Адам привез из Кучинга специалиста по рыбной ловле, который научил туземцев пользоваться сетью вместо остроги. Кур и свиней стали держать в огороженных загонах, а отхожие места перенесли подальше от длинных домов. Шприц доктора Адама трудился без отдыха.

Когда доктор Адам отправился к племени улу в четвертый и последний раз в этом году, его лодка причалила к берегу перед длинным домом Бинтанга перед самыми сумерками. Он сразу почувствовал что-то неладное. Впервые его не встречали ни звуки гонгов, ни толпа туземцев. Его ждал только переводчик Мадич.

— Скорее, доктор Адам. Маленький сын Бинтанга очень болен. Его укусил крокодил.

Они поспешно дошли до дома и поднялись по приставной лестнице. Ступив на веранду, Адам услышал тихое, заунывное пение. Он протолкался сквозь толпу к ребенку, который лежал на полу и стонал. Рана на его ноге была обложена мокрыми травами и священными целебными камнями. Пирак, погруженный в транс, с пением размахивал над мальчиком жезлом, украшенным бисером и перьями.

Адам опустил на колени и сорвал с раны покрывавшие ее травы. К счастью, укус пришелся в мясистую часть ляжки, где были видны глубокие следы зубов. Адам пощупал пульс — слабый, но равномерный. Мальчик весь горел — температура не меньше тридцати девяти. Рана не особенно кровоточила, но была сильно загрязнена. Нужно было срочно ее обработать, а потом сшить порванные мышцы.

— Сколько времени он так лежит?

Мадич не смог сообщить ничего вразумительного, потому что племя улу не умело считать часы. Адам порылся в сумке, достал шприц и приготовился сделать укол пеницилина.

— Отнесите его в мою хижину, и немедленно!

Но тут Пирак, пообщавшись с духами, вернулся к действительности. Когда Адам делал укол, он стал что-то сердито кричать.

— Уберите его к дьяволу отсюда, — огрызнулся Адам.

— Он говорит, что ты разрушаешь волшебные чары.

— Надеюсь, что так. Без них ему было бы вдвое лучше.

Мананг-бали схватил свой мешок с магическими снадобьями, камешками, клыками животных, корешками, травами, имбирем и перцем и принялся трясти им над ребенком, крича, что еще не закончил лечения. Адам выхватил у него мешок и отшвырнул на другой конец веранды. Пирак, понимавший, что его авторитет уже подорван эпидемией холеры и что власть над деревней от него ускользает, решил не сдаваться. Он схватил с пола сумку Адама и тоже отшвырнул ее в сторону.

Все попятнулись. Адам встал и подошел вплотную к старому колдуну, с трудом подавляя желание придушить его.

— Скажи Бинтангу, — сказал он переводчику прерывающимся голосом, — что его мальчик очень болен. Бинтанг уже потерял двоих сыновей. Этот ребенок не выживет, если его не отдадут мне немедленно.

Пирак, подпрыгивая на месте, завопил:

— Он разрушает мои чары! Он призывает злых духов!

— Скажи Бинтангу, что этот человек — обманщик. Скажи ему это сейчас же. Он должен прогнать его от ребенка.

— Я не могу это сказать, — возразил Мадич. — Вождь не может прогнать своего колдуна.

— Речь идет о жизни мальчика.

Пирак начал что-то возбужденно говорить Бинтангу. Тот в растерянности переводил взгляд с него на Адама, боясь принять решение. Преступить древние обычаи было для него невыносимо. Турахи никогда не поймут его, если он прогонит своего мананга. Но ведь ребенок... Он умрет, говорит доктор Адам. Племя улу отличалось необыкновенной любовью к детям. Когда два сына Бинтанга умерли, он удочерил двух маленьких девочек-китайнок: китайцы нередко отдавали детей женского пола, рождение которых у них считается нежелательным.

— Бинтанг говорит, что мананг должен лечить его сына так, как делает это наш народ.

Пирак гордо выпятил грудь и ударил в нее кулаком. Кто-то принес ему мешок с палками и камешками.

Адам Кельно повернулся и пошел прочь.

В отчаянии он долго сидел у водопада. Из длинного дома доносились звуки гонга и пение. Мадич и гребцы с лодки сидели поодаль и стерегли его на случай, если вдруг появится крокодил или кобра. «Бедный доктор Адам, — думал Мадич. — Ему этого никогда не понять».

Усталый Адам с трудом дотащился до маленькой отдельной хижины, где помещалась больница, а при ней — его комнатка. Он откупорил бутылку джина и принялся пить, пока шум ночного дождя не заглушил звуков гонга и барабана. Тогда он растянулся на койке и погрузился в тяжелую дремоту.

— Доктор Адам! Доктор Адам! Проснитесь! Проснитесь! — услышал он голос Мадича.

Многолетняя врачебная практика приучила его просыпаться мгновенно. Мадич стоял у его койки с факелом.

— Пойдем, — сказал он взволнованно.

Адам был уже на ногах и направлял рубашку в брюки. В соседней комнате стоял Бинтанг, держа на руках мальчика.

— Спаси моего сына! — взмолился Бинтанг.

Адам взял у него ребенка и положил на грубо сколоченный стол для процедур. Мальчик по-прежнему весь горел. «Плохо дело, — подумал Адам. — Очень плохо».

— Держи факел поближе.

Он поставил мальчику градусник и увидел, как тело его сотрясла судорога.

— Давно с ним это? Когда началось — до захода солнца или после?

— Когда солнце село, он уже дергался.

Значит, прошло часа три или даже больше. Адам вынул термометр. Сорок два. Ребенок снова забился в судорогах, на губах его выступила пена.

Это могло означать только одно: поражен мозг, и необратимо. Даже если теперь ребенок выживет, он всю жизнь будет слабоумным.

Малорослый вождь умоляюще смотрел на доктора снизу вверх. Как объяснить ему, что его сын останется безнадежным идиотом?

— Мадич, скажи Бинтангу, что надежды очень мало. Он должен ждать снаружи. Оставь здесь факел и тоже жди снаружи. Я буду работать один.

Выбора не было — оставалось только усыпить ребенка.

Адаму Кельно показалось, что он снова в концлагере «Ядвига», в операционной пятого барака... Он склонился над ребенком, и что-то заставило его развязать повязку на бедрах мальчика.

«Если эти операции необходимы, я буду их делать. Но не думайте, что это доставит мне удовольствие».

Адам осторожно потрогал крохотные яички мальчика, ощупал их, провел рукой по промежности.

«Если их необходимо удалить для спасения жизни больного...»

Он вдруг попятился, и его всего затрясло. Глаза его загорелись безумным огнем. Тело мальчика снова свела судорога.

Час спустя Адам вышел из хижины и предстал перед встревоженным отцом и десятком туземцев, которые ждали его.

— Он уснул спокойно.

Бинтанг испустил горестный вопль, прозвучавший словно крик раненого животного, бросился на землю и стал кататься по ней, колотя себя кулаками. Он громко изливал свое горе, пока не изнемог, а потом остался лежать ничком в грязи, покрытый кровью из ран, нанесенных собственной рукой. Только тогда Адам смог сделать ему укол снотворного.

12

Погода была нелетная, и Мак-Алистер прибыл в форт Бобанг на катере. Он пришвартовался к главному причалу посреди множества долбленых челнов. Вокруг стоял многоязычный гомон: китайцы, малайцы, муруты и ибаны вели меновой торг, препираясь из-за каждой мелочи. По всему берегу женщины занимались стиркой, другие набирали воду и уносили ее в горшках, подвешенных к коромыслам.

Мак-Алистер прыгнул на причал, поднялся на берег и направился в британский квартал. Он шел по немощеной улице вдоль пристани, мимо главного склада из гофрированного железа, где остро пахло свежепрессованным каучуком, перцем и пометом летучих мышей, который хитроум-

ные китайцы собирали в пещерах и продавали на удобрение, мимо китайских лавок и крытых тростником малайских хижинок. Ворча сквозь пышные усы, он заставлял себя сдерживать шаги, чтобы не опережать слугу с зонтиком, защищавшим голову хозяина от жгучего солнца. Ветеран азиатских колоний, он был в гольфах и длинных шортах защитного цвета и энергично помахивал тростью на ходу.

Адам поднялся навстречу ему из-за шахматной доски. Мак-Алистер присмотрелся к положению фигур, потом перевел взгляд на противника Адама — его семилетнего сына, который учинял отцу настоящий разгром. Мальчик пожал руку Мак-Алистеру, и Адам отослал его.

— Неплохо играет паренек.

Адам с плохо скрытой гордостью сообщил, что сын уже читает и говорит по-английски, по-польски и может кое-что сказать по-китайски и по-малайски.

Они уселись в тени на веранде, откуда открывался вид на вечнозеленые леса и многоводные реки Борнео. Им принесли выпить, и вскоре новые звуки и запахи возвестили о наступлении сумерек, обещавших долгожданный отдых от палящего зноя. На лужайке перед домом Стефан играл с Терренсом Кэмпбеллом.

— За ваше здоровье, — сказал Мак-Алистер.

— Ну и чему я обязан, мистер Мак-Алистер? — спросил Адам со своей обычной прямоотой.

Тот слегка усмехнулся:

— Знаете, Кельно, вы заслужили прекрасную репутацию в Кучинге. Гланды супруги нашего губернатора сэра Эдгара, грывжа комиссара по делам туземцев, не говоря уж о камнях в желчном пузыре нашего самого видного китайского купца...

Адам терпеливо слушал.

— Так вот, вы хотели знать, почему я здесь, в Бобанге?

— Да, почему?

— Скажу вам все начистоту. Мы с сэром Эдгаром планируем построить новую больницу с расчетом на будущее Саравака. Мы хотели бы перевести вас в Кучинг и сделать ее главным хирургом.

Адам отпил глоток — теперь он пил очень мало — и задумался.

— Согласно традиции, — продолжал Мак-Алистер, — главный хирург больницы автоматически является замести-

телем начальника медицинской службы Саравака. Позвольте, Кельно, мне кажется, все это вас не особенно радует.

— Это пахнет политикой, а я не силен по административной части.

— Не скромничайте. Вы же были главным врачом польского военного госпиталя в Танбридж-Уэллсе.

— Писать рапорты и заниматься административными интригами я так и не приучился.

— А как насчет лагеря «Ядвига»?

Адам побледнел.

— Мы же не вслепую выдвигаем вас через голову десятка других. Мы не хотим ворошить прошлое, которое вы стараетесь забыть, но там вы отвечали за здоровье сотен тысяч. Мы с сэром Эдгаром считаем, что вы — самый подходящий человек.

— Мне понадобилось пять лет, чтобы заслужить доверие племени улу, — сказал Адам. — Вместе с Бинтангом и его тураками мы много чего затеяли и как раз сейчас уже можем оценивать результаты. Я очень увлекся проблемой недоедания. Врача вы всегда найдете в Кучинге, а администраторов в британских колониях хватает. Мне кажется, из моей работы здесь может со временем выйти нечто важное. Видите ли, в лагере «Ядвига» нам приходилось питаться только тем, что выдавали немцы. Здесь же, несмотря на бедность почв и первобытные обычаи населения, всегда есть возможность улучшить ситуацию, и мы уже близки к тому, чтобы это доказать.

— Хм-м, понимаю. Вероятно, вы отдаете себе отчет в том, что в Кучинге миссис Кельно могла бы жить в большем комфорте? Она могла бы лишиться несколько раз в год навещаться в Сингапур.

— Должен сказать со всей откровенностью, что Анджела так же увлечена моей работой, как и я.

— А мальчик? Как насчет его образования?

— Анджела каждый день дает ему уроки. Он не уступит никому из своих сверстников в Кучинге.

— Значит, вы определенно отказываетесь?

— Да.

— Можно, я задам вам один прямой вопрос?

— Конечно.

— Не играет ли здесь некую роль ваша боязнь покинуть свое убежище в джунглях?

Адам поставил стакан на стол и глубоко вздохнул: догадка Мак-Алистера была верной.

— Но ведь Кучинг — не Лондон. Вас там никто не найдет.

— Евреи есть везде. Каждый из них — мой потенциальный враг.

— И вы намерены жить в джунглях, в затворничестве, до конца жизни?

— Я больше не хочу об этом говорить, — ответил Адам Кельно. На лице его выступил обильный пот.

13

Адам стоял на причале, погруженный в грустные мысли. Паром, шедший в Кучинг, уже отчалил. Анджела и Стефан махали ему, пока паром не скрылся из вида. Из Кучинга они на пароходе отправятся в Сингапур, а оттуда в Австралию, где Стефан будет учиться в школе-интернате.

Адам испытывал нечто большее, чем обычный отцовский страх за своего ребенка. Впервые в жизни он молился. Молился о том, чтобы с его сыном ничего не случилось.

Смягчить чувство потери помогало ему общение с Терренсом Кэмпбеллом. Терри с раннего детства узнал множество медицинских терминов и помогал ему делать несложные операции. Не было никаких сомнений, что он может стать выдающимся врачом, и Адам задался целью сделать все, чтобы эта возможность осуществилась. Айен Кэмпбелл был «за», хотя и сомневался, что мальчик, выросший в джунглях, сможет выдержать конкуренцию в большом внешнем мире.

Все силы Кельно, всю его колоссальную энергию поглощала целая серия новых проектов. Адам обратился к Бинтангу и его турахам с просьбой прислать в форт Бобанг по одному способному мальчику или девочке от каждого длинного дома. Уговорить их было не так легко: старейшины не желали расставаться с будущей рабочей силой. Но в конце концов Адаму удалось убедить их, что, пройдя обучение, дети будут представлять еще большую ценность.

Он начал с пятнадцати юношей, которые построили себе длинный дом в миниатюре. Первоначально программы были очень несложными: обучение счету времени, простей-

шим приемам первой помощи и санитарии. Двое мальчиков из этой группы были отправлены в Кучинг, в школу-интернат, для более серьезного обучения. Остальных Анджела целый год учила читать и писать по-английски и ухаживать за больными. А в конце третьего года пришла первая победа: один из мальчиков вернулся из Кучинга с дипломом радиста. Впервые за тысячелетия своей истории местные жители получили возможность общаться с внешним миром. А во время муссонов радио оказалось просто неоценимым даром — оно позволяло заочно ставить диагнозы и лечить самые разные заболевания.

Неожиданной находкой для этого проекта оказался Терренс Кэмпбелл. Его умение разговаривать с молодежью племени улу помогло осуществить многое такое, что приводило в восторг всех в британском квартале. Терренс постоянно требовал новых, все более сложных учебников и, когда они прибывали, жадно пожирал их. Адам все более укреплялся в намерении подготовить Терри к поступлению в какой-нибудь из лучших колледжей Англии. Может быть, отчасти это объяснялось тем, что он понял: его собственный сын никогда не станет врачом. Так или иначе, Кельно стал для Терри ментором и всемогущим богом, а Терри оказался старательным и блестяще одаренным учеником.

Массовая вакцинация племени Бинтанга предотвратила эпидемии, которые прежде повторялись регулярно. Длинные дома деревни стали чище, поля приносили больший урожай, и жизнь туземцев сделалась чуть продолжительнее и немного легче. Вскоре и другие вожди и турахи стали просить доктора Адама принять в форте Бобанг их детей, и учебный центр вырос до сорока человек.

На совещаниях в Кучинге, где распределялись ассигнования, всегда происходила жестокая борьба, однако Мак-Алистер, как правило, давал Кельно все, что тот просил. Ни для кого не было секретом, что султан Брунея хотел сделать доктора Адама своим личным врачом и предложил построить для него роскошную новую больницу. Через два года Адам заполучил собственный вертолет, что тысячекратно расширило его возможности передвижения. Туземцы сложили песню о птице без крыльев и о докторе, который спускается с неба.

Все это было, конечно, лишь каплей в море. Адам понимал, что, даже если он получит в свое распоряжение все

деньги и все ресурсы, какие сможет освоить, здесь мало что изменится. Но все равно каждый, даже маленький шаг вперед придавал ему новые силы.

Годы шли, работа продолжалась. Однако все это время Адам Кельно жил на самом деле лишь ожиданием летних каникул, когда приезжал Стефан. Никого не удивляло то, что мальчик далеко опередил всех своих соучеников. Но как бы он ни преуспевал в Австралии, его домом был форт Бобанг, где он мог совершать с отцом эти удивительные путешествия вверх по реке Леманак.

А потом Адам узнал новость, которая огорчила его больше, чем он ожидал. Мак-Алистер уходил в отставку и перебирался в Англию. Между ними никогда не было особо тесных отношений, и он не мог понять, почему это его так обеспокоило.

Кельно с Анджелой приехали в Кучинг на прощальный прием, устроенный Мак-Алистером и сэром Эдгаром Бейтсом, который отбывал в Англию, чтобы присутствовать на коронации новой королевы. Сэр Эдгар тоже уезжал навсегда: в Саравак должны были назначить нового губернатора.

Даже на краю света британцы всегда умели устраивать такие приемы торжественно и с большой помпой. Бальный зал заполнили белые парадные мундиры колониальных чиновников, украшенные разноцветными перевязями и орденами.

Было произнесено множество прочувствованных тостов — и искренних, и притворных. Времена менялись быстро. Закатывалось солнце империи, во владениях которой оно, как раньше считалось, всегда в зените. В Азии, Африке, Америке все рассыпалось, как карточный домик. Малайцы Саравака тоже ощущали дуновение ветра свободы.

В разгар вечера Адам повернулся к жене и взял ее за руку.

— У меня есть для тебя сюрприз, — сказал он. — Завтра мы отправляемся в Сингапур, оттуда летим в Австралию навестить Стефана, а потом, возможно, устроим себе короткий отпуск в Новой Зеландии.

Долгая ночь Адама Кельно подходила к концу.

Новый губернатор хорошо умел убеждать людей. Он все-таки уговорил Адама занять должность начальника медицинской службы Второго округа. Теперь, когда в колониях заговорили о свободе и независимости, нужно было срочно сделать большой рывок вперед. Самыми главными задачами стали обучение гражданских служащих, усовершенствование медицинской службы и системы образования. Усилиями компании «Саравак-Ориент» развивалось лесное хозяйство и добыча полезных ископаемых, строились аэродромы и порты. Росла численность учителей и медсестер.

Хотя Адам и возглавлял теперь весь Второй округ, жил он по-прежнему в форте Бобанг. Но теперь в его ведении состояли уже больше ста тысяч туземцев, главным образом из племени ибан с примесью китайцев и малайцев в крупных поселениях. В распоряжении Адама находились четыре врача, десяток медсестер и санитаров — и, конечно, Терренс Кэмпбелл. В длинных домах были устроены простейшие фельдшерские пункты. Людей постоянно не хватало, но все же было больше, чем в других округах, которые могли похвастать лишь одним врачом на тридцать пять тысяч жителей.

Сложнее всего обстояло дело с землей. И пастбищ, и пахотных угодий катастрофически не хватало, и населению постоянно грозил голод. Несмотря на то что Адаму удалось преодолеть множество прежних табу, он так и не смог ничего поделаться с запретом есть мясо оленей и коз. Племя ибан верило, что эти животные — воплощение их покойных предков. С другой стороны, он никак не мог уговорить их перестать питаться крысами.

Кельно регулярно просматривал бюллетени ООН и другие издания на эту тему. На него произвело большое впечатление то, что делалось в этом направлении в новом государстве Израиль. Хотя там все было по-другому, но проблемы нехватки земель и острого недостатка мяса и белковой пищи были для Израиля и Саравака общими. Израиль преодолел белковый дефицит благодаря высокоурожайным культурам, которые требовали гораздо меньших площадей. Кроме того, там круглые сутки работали птицефабрики с интенсивным производством. Но для Саравака это не годилось: чтобы куры неслись круглосуточно, им нужно непрерывное электрическое освещение. Кроме того, куры подвержены

болезням, предотвращение которых требует квалифицированного ухода, а это жителям Саравака с их первобытной психологией было пока не по плечу.

Кельно привлекла другая идея, нашедшая широкое применение в Израиле, — искусственные пруды, в которых разводили рыбу. Израиль имел свое консульство в Бирме — первой стране Юго-Восточной Азии, с которой он установил дипломатические отношения, — и там работало много израильских специалистов, создававших экспериментальные рыбные хозяйства. Адаму очень хотелось поехать в Бирму, чтобы посмотреть на них, однако он отказался от этой мысли из страха, что какой-нибудь еврей его узнает.

Он собрал всю литературу, какую мог, и вместе со своими учениками построил рядом с фортом Бобанг полдюжины прудов, питавшихся водой из естественных источников и снабженных простейшими соединительными каналами и переточными клапанами. Каждый пруд заселили определенной породой рыб, водорослями и планктоном.

Для того чтобы выбрать самую надежную и выносливую породу, понадобилось шесть лет. Наиболее подходящими оказались одна из разновидностей азиатского карпа и импортный новозеландский рак, который прекрасно себя чувствовал в пресной воде.

Еще через несколько лет, ушедших на уговоры, рыбные хозяйства стали появляться рядом с полями на землях племен улу по реке Леманак.

Дорогой д-р Кельно,

У нас здесь не происходит ничего особо интересного. Я очень рад, что мы продолжаем переписываться. Трудно поверить, что вы провели в форте Бобанг уже больше десяти лет.

Я прочитал Ваш доклад о новых экспериментах по улучшению белкового питания. Могу сразу сказать, что считаю это самой перспективной возможностью решения проблемы, которая для Саравака имеет первостепенное значение. Теперь я рад, что не сумел уговорить Вас переехать в Кучинг для работы в больнице.

Полностью согласен с Вами, что этот доклад следует зачитать на заседании Британской академии. Однако не могу поддержать Вашу идею скрыть авторство доклада, поставив

под ним подпись «группы исследователей». Доклад должен быть подписан Вашим именем.

Имея это в виду, я несколько раз ездил в Лондон, чтобы частным образом переговорить с некоторыми своими старыми знакомыми в Скотленд-Ярде и Министерстве иностранных дел. Мы без особой огласки навели справки насчет Ваших прежних неприятностей с польскими коммунистами. Нам даже удалось через наших дипломатов в Варшаве кое-что выяснить в Польше. Все результаты — вполне положительные. Поляки, работавшие тогда в лондонском посольстве, давно уже не у дел, и, поскольку Вы теперь гражданин Великобритании, выдачи Вас как военного преступника никто не требует.

Более того, я говорил с графом Анатолем Черны — он очень милый человек и тоже считает, что все уже позади и Вам нечего бояться.

Рад был узнать, что у Стефана дела идут хорошо. Граф Черны заверил меня, что Терренс Кэмпбелл, с его блестящими результатами экзаменов и с учетом того, что Вы еще несколько лет подавали соответствующее ходатайство, будет принят в Колледж Магдалины. По моему мнению, это самый красивый из оксфордских колледжей, ведь он был построен еще в XV веке.

Дорогой Кельно, прошу Вас дать согласие на то, чтобы сделать доклад в Академии от Вашего имени.

Передайте мои наилучшие пожелания Вашей очаровательной супруге.

С дружеским приветом,
Дж.Дж.Мак-Алистер, д-р медицины

Адам без особых колебаний решил позволить Мак-Алистеру сделать доклад от его имени. Он уже неоднократно бывал в Сингапуре, Новой Зеландии и Австралии, и каждый раз дело обходилось без всяких неприятных инцидентов. Ночные кошмары почти перестали его мучить. А решающую роль сыграла его любовь к Стефану. Он хотел, чтобы мальчик им гордился, и это желание перевесило все страхи. К тому же у него был долг и перед Анджелой. Так что автор доклада был указан — доктор Адам Кельно.

Это были годы новых прозрений, когда белый человек впервые стал задумываться о нищенской жизни, которую ведут люди с черной и желтой кожей, об их неплодородных землях, о массах голодающих. Правда, совесть пробудилась

слишком поздно — было совсем не просто накормить полмира. Поэтому доклад Адама Кельно привлек к себе большое внимание.

В своем исследовании он воспользовался научной методикой, которую многие сочли крайне жестокой. Половина длинных домов племени улу получила его лекарства, пруды с рыбой, лучшие санитарные условия, новые сельскохозяйственные культуры и методы земледелия. Другой половине пришлось обходиться без всего этого, чтобы дать материал для сравнения. Ученым такое использование людей в качестве подопытных животных было понятно, хотя и не вызвало большого одобрения. Более высокая смертность, меньшая продолжительность жизни и худшее физическое развитие туземцев в контрольной группе наглядно свидетельствовали о преимуществах проектов Кельно. Доклад широко обсуждался, и знакомство с ним стало обязательным для врачей, ученых и специалистов по сельскому хозяйству, боровшихся с мировым голодом.

Но лучше всего было то, что само имя Адама Кельно никого не насторожило.

Адам с радостью и нетерпением ждал поездки в Сингапур, где ему предстояла встреча со Стефаном. Повод для радости был немаловажный: Стефана приняли в Гарвардский университет, и вскоре он должен был ехать в Америку; юноша хотел стать архитектором. Кроме того, Адаму не терпелось сообщить ему еще кое-что.

— У меня есть новость, сынок, — сказал Адам в первые же минуты встречи. — Мы с матерью все обсудили. Пятнадцать лет в джунглях — вполне достаточно. Мы возвращаемся в Англию.

— Отец, у меня просто нет слов! Это замечательно, просто замечательно! Смотри, как здорово все получается, — Терри в Англии с вами, я в Америке.

— Да, один врач и один архитектор из Бобанга — это не так уж плохо, — сказал Адам с оттенком грусти в голосе. — В Бобанге теперь все взяли в свои руки люди из ООН. Можно сказать, мое дело сделано. Медицинская служба Саравака выросла больше чем вдвое, и много чего еще делается. Будущий премьер-министр Малайзии сэр Абдель Хаджи Мохамед — Саравак станет частью его государства — предложил мне остаться.

— А они там, оказывается, понимают, что к чему.

Кельно и Анджела в прекрасном настроении вернулись из Сингапура в Кучинг. Там леди Грейсон, супруга губернатора, пригласила их на торжественный прием на открытом воздухе в честь дня рождения королевы. Когда они прибыли в губернаторскую резиденцию, лорд Грейсон встретил их и провел в ярко освещенный сад, где толпились не только высшие чиновники колонии в своих белых мундирах, но и майоры с китайцами, которым вскоре предстояло руководить государством. Когда появились супруги Кельно в сопровождении губернатора, наступила тишина. Все смотрели на Адама. Лорд Грейсон кивнул, и туземный оркестр заиграл туш.

— Что тут происходит? — спросил Адам.

Губернатор улыбнулся:

— Дамы и господа, наполните ваши бокалы. Вчера вечером я получил сообщение из Министерства колоний, что в Лондоне опубликован список награжденных по случаю дня рождения Ее Величества. Среди тех, кто удостоен награды за службу империи, — доктор Адам Кельно. Ему присвоено рыцарское звание. Дамы и господа, тост! За здоровье сэра Адама Кельно!

15

За пределами Большого Лондона вся Англия и Уэльс поделены на несколько судебных округов, и судьи по многу раз в год покидают Лондон, чтобы именем королевы осуществлять правосудие на выездных сессиях — ассизах, разбирая самые сложные и важные дела. Такая система в Англии возможна, потому что здесь одно-единственное средоточие королевской власти — Лондон и один-единственный свод законов для всей страны. В Америке, например, пятьдесят сводов законов — столько же, сколько штатов, и житель Луизианы вряд ли захотел бы, чтобы его судил судья из штата Юта.

На одну из таких выездных сессий прибыл в Оксфорд сэр Энтони Гилрей, удостоенный рыцарского звания и назначенный судьей Суда Королевской Скамьи пятнадцать лет назад.

Зал судебных заседаний. Церемония начинается. Все встают. Шериф графства, капеллан и заместитель шерифа си-

дят справа от Гилрея, секретарь — слева. Перед судьей лежит его традиционная треугольная шляпа. Секретарь, величественный и важный, зачитывает поручение от королевы. Прочитав звучный и длинный титул судьи, он кланяется ему, тот на секунду надевает треугольную шляпу, и чтение продолжается: «Все, кто обижен и имеет жалобы, может быть здесь выслушан».

— Боже, храни королеву!

Судебная сессия открыта.

В задних рядах публики сидит с карандашом наготове молодой и энергичный студент-медик Терренс Кэмпбелл. В первом деле, которое будет слушаться сегодня, пойдет речь о неправильном лечении, и он хочет использовать материалы процесса в своем сочинении «Медицина и право».

В коридорах суда толпятся зрители, барристеры, журналисты и присяжные, охваченные волнением, которым всегда сопровождается торжественное открытие судебной сессии.

А напротив, через улицу, на минуту останавливается проходивший мимо доктор Марк Тесслар. Он разглядывает выстроившуюся перед подъездом суда вереницу пышных старомодных парадных автомобилей, сверкающих полировкой и украшенных флагами. Тесслар теперь — гражданин Великобритании и постоянный сотрудник Рэдклиффского медицинского центра в Оксфорде. Какое-то непонятное побуждение заставляет его перейти улицу и зайти в зал заседаний. Как раз в этот момент судья Энтони Гилрей кивком головы дает знак адвокатам в париках и черных мантиях, что они могут начинать. Тесслар несколько минут стоит в дверях зала, глядя на сидящих в задних рядах прилежных студентов, всегда присутствующих на подобных заседаниях. Потом он поворачивается и, прихрамывая, уходит из здания суда.

16

Анджела Кельно, родившаяся и выросшая в Лондоне, гораздо больше Адама стремилась вернуться на родину, и постигшее ее разочарование было гораздо сильнее. Ее словно вдруг пронизал ледяной арктический ветер.

«Сначала, когда мы сошли на берег в Саутгемптоне, все было как будто в порядке. Я проплакала, по-моему, всю дорогу до

Лондона. Каждый километр пути мне о чем-нибудь напоминал, я все больше волновалась. И вот наконец мы приехали в Лондон.

По первому впечатлению, за эти пятнадцать лет здесь мало что изменилось. Нет, конечно, там и сям выросло несколько новых небоскребов, в Лондон вела новая широкая автострада, появились кое-какие ультрасовременные здания, особенно в центре, сильно пострадавшем от бомбежек. Однако вся старина осталась: королевский дворец, соборы, Пиккадилли, Мраморная арка и Бонд-стрит. Они ничуть не изменились.

Но когда я впервые увидела здешнюю молодежь, я ничего не могла понять. Как будто это вовсе и не Лондон. Чужие люди из другого мира, который мне совсем не знаком. Словно произошла какая-то безумная геологическая катастрофа. В Англии это особенно замечаешь: раньше здесь мало что менялось.

А ведь я тридцать лет проработала медсестрой, и меня не легко вывести из равновесия. Взять хотя бы полуголых людей на улице. В Сараваке нагота прекрасно вязалась с постоянной жарой и цветом кожи туземцев. Но лилейно-белые тела английских девушек в холодном, степенном Лондоне — это какая-то глупость.

А одежда? В Сараваке ее диктовали традиции и климат, но здесь она совершенно лишена смысла. Высокие кожаные сапоги наводят на мысль о садистках с хлыстами в парижских борделях семнадцатого века. А белые ляжки, посиневшие и покрытые гусиной кожей от пронизывающего ветра, — и только ради того, чтобы юбка едва закрывала ягодицы? Целое поколение заледеневших задниц — верный залог будущей эпидемии геморроя. Смешнее всего этот нелепый розовый или лиловый искусственный мех, который топорщится вокруг едва прикрытых бедер и из которого торчат толстые белые ноги — словно какое-то инопланетное яйцо, из которого вот-вот вылупится марсианин.

В Сараваке даже самый дикий туземец из племени ибан аккуратно зачесывал волосы и связывал их сзади в пучок. Здешнее сознательное стремление к неряшливости и упорству, вероятно, отражает какой-то протест, противопоставление себя старшему поколению. Однако при всем стремлении заявить о своей индивидуальности и порвать с прошлым они выглядят так, словно все изготовлены по одному шаблону. Юноши похожи на девушек, а девушки похожи на шлюх. Они не скрывают своих стараний выглядеть безобразными, потому

что чувствуют себя безобразными, и ужасно боятся, как бы не выдать свою принадлежность к тому или иному полу. Все до единого — сплошь среднего рода. А брюки-клевш, кружева, бархат и бижутерия на мужчинах — это просто призыв о помощи.

Адам рассказывает, что все происходящее в его больнице свидетельствует о полном разрушении прежней морали. Они перепутали сексуальную свободу со способностью любить и быть любимым. А самое печальное — это распад семьи. Адам говорит, что число беременных несовершеннолетних девушек выросло в шесть-семь раз, а статистика наркомании вселяет ужас. И это тоже, видимо, — признак непреодолимого стремления этих молодых людей уйти в мир фантазий, как это делают туземцы под влиянием сильного стресса.

А музыка — просто что-то невообразимое. Адам говорит, что все чаще встречаются случаи необратимого повреждения слуха. Бессмысленные стихи и двусмысленные тексты шлягеров не идут ни в какое сравнение с песнями племени ибан. Монотонное пение и электроинструменты — еще одна попытка уйти от реальности. А танцы наводят на мысль, не попал ли ты в сумасшедший дом.

Неужели это действительно Лондон?

Все традиции, в которых я была воспитана, подвергаются осмеянию, но о том, чтобы заменить старые понятия новыми, никто, по-видимому, не думает. И хуже всего то, что эти молодые люди не чувствуют себя счастливыми. У них есть какие-то абстрактные идеи о любви, о человечестве, отказе от войн, однако они хотят получить все, не затратив ни малейшего труда. Они высмеивают нас, но ведь содержим их мы. Они почти никогда не испытывают привязанности друг к другу и, несмотря на увлечение сексом, не имеют никакого представления о нежности или длительной близости.

Неужели все это произошло за какие-то пятнадцать лет? Разрушена цивилизация, которая создавалась столетиями. Почему так случилось? Пора над этим задуматься, хотя бы ради Стефана и Терри.

Во многих отношениях наше возвращение в Англию похоже на мой первый приезд в Саравак. Сегодняшний Лондон — это джунгли, заполненные незнакомыми звуками и живущие по чуждым нам правилам. Только здешние люди не так счастливы, как туземцы. Во всем этом нет ни капли юмора — одно только отчаяние».

Все ожидали, что Адам Кельно, возведенный в рыцарское звание, извлечет пользу из своего нового положения и будет лечить жителей аристократического Вест-Энда. Но вместо этого он поступил в Государственную службу здравоохранения и организовал небольшую поликлинику в рабочем районе Саутурк недалеко от Темзы, где большинство его пациентов были складскими рабочими или портовыми грузчиками, и среди них — много темнокожих иммигрантов из Индии, с Ямайки и других островов Карибского моря. Адам Кельно как будто не мог поверить, что вырвался из Саравака, и хотел по-прежнему вести скромную жизнь безымянного отшельника.

Анджела и ее двоюродная сестра до изнеможения бродили по магическому четырехугольнику между Оксфорд-стрит, Риджент-стрит, Бонд-стрит и Пиккадилли, где в эти дни толпились сотни тысяч покупателей, нахлынувших за рождественскими подарками в гигантские универмаги и маленькие изысканные бутики.

Хотя Анджела уже больше года как вернулась в Англию, она все еще не могла снова привыкнуть к здешнему промозглому декабрю с его пронизывающим холодным ветром. Надеяться на такси не приходилось: и на стоянках у магазинов, и на автобусных остановках с чисто британским терпением стояли длинные очереди. Домой, на другой берег Темзы, пришлось ехать на метро.

От метро до дома Анджела дошла пешком, неся целую охапку свертков. Ах, эта восхитительная усталость, эта пред рождественская суета старой доброй Англии — все эти пудинги, пирожные, соуса, эта музыка и огни!

Ее встретила в дверях их экономка миссис Коркори, которая забрала покупки.

— Доктор у себя в кабинете, мэм.

— Терренс приехал?

— Нет, мэм. Он звонил из Оксфорда и сказал, что поедет следующим поездом, будет здесь после семи.

Анджела заглянула в кабинет Адама, где он, как обычно, писал какой-то отчет.

— Адам, я уже дома.

— Привет, дорогая. Весь Лондон скупила?

— Почти. Я попозже помогу тебе с отчетами.

— По-моему, в этом ведомстве приходится еще больше заниматься бумажной работой, чем в Министерстве колоний.

— А не нанять ли тебе секретаря? Мы ведь можем себе это позволить. И купить диктофон.

Адам пожал плечами:

— Не привык я к такой роскоши.

Она взялась за почту, которую он уже просмотрел. Среди писем были три приглашения выступить. Одно — из Союза африканских студентов-медиков, одно — из Кембриджа. На всех стояла пометка Адама: «Вежливо отказать, как обычно».

Анджела была против этого. Адам словно старался уменьшить свою, пусть скромную, известность. Может быть, он по горло сыт темнокожими? Тогда почему он выбрал для работы Саутуорк, хотя добрая половина лондонских поляков на руках носила бы польского врача, возведенного в рыцарское звание? Ну, таков уж был Адам. За годы совместной жизни она научилась мириться с этим, хотя полное отсутствие честолюбия у мужа вызывало у нее досаду — ей было обидно за него. Но пилить его по этому поводу она не собиралась.

— К нашествию из Оксфорда мы готовы, — сказала она. — Между прочим, дорогой, Терренс не говорил, сколько приятелей он с собой привезет?

— Вероятно, обычный набор скучающих по родине австралийцев, малайцев и китайцев. Но я буду воплощением польской любезности.

Они обменялись беглым поцелуем, и он было опять уткнулся в свой отчет, но вскоре отшвырнул ручку.

— Клянусь Богом, ты права. Заведу себе секретаря и диктофон.

Раздался телефонный звонок. Анджела взяла трубку.

— Звонит мистер Келли. Говорит, что у его жены схватки сейчас каждые девять минут.

Адам вскочил и скинул домашнюю куртку.

— Это у нее шестой, так что все пойдет, как по часам. Скажи ему, пусть везет ее в больницу. И вызови акушерку.

Была уже почти полночь, когда роды у миссис Келли закончились, и ее устроили на ночь в больнице. Анджела дре-

мала, сидя в гостиной. Адам осторожно поцеловал ее, она тут же встала и пошла на кухню готовить чай.

— Как прошли роды?

— Мальчик. Хотят назвать его Адамом.

— Как мило. В этом году уже четвертый маленький Адам в твою честь. Когда-нибудь люди будут удивляться, почему всех мужчин родом из Саутуорка зовут Адамами.

— Терренс приехал?

— Да.

— Что-то очень тихо для компании из пятерых парней.

— Он приехал один. Ждет тебя в кабинете. Я принесу чай туда.

Обнимая Терренса, Адам заметил, что юноша держится как-то напряженно.

— А где все твои приятели?

— Приедут через день. Я хотел бы сначала с вами кое о чем поговорить.

— Из тебя никогда не вышел бы политик — лицо тебя выдает. Это мрачное выражение мне знакомо с первого дня твоей жизни.

— Видите ли, сэр... — начал Терри и запнулся. — Ну, вы сами помните, как у нас с вами все было. Это из-за вас с самого детства я стал мечтать стать врачом. И я помню, как вы были ко мне добры. И как меня всему учили, и как мы вообще дружили...

— Говори, в чем дело.

— Понимаете, сэр, отец что-то говорил мне о том, как вы сидели в тюрьме и как вас хотели выслать, но я никогда не думал... мне и в голову не приходило...

— Что?

— Мне в голову не приходило, что вы могли когда-нибудь сделать что-то нехорошее.

Вошла Анджела с подносом и стала наливать чай. Наступило молчание. Терренс сидел с опущенными глазами, а Адам смотрел прямо перед собой, вцепившись в подлокотники кресла.

— Я говорила ему, что ты уже достаточно перестрадал. Незачем ворошить то, о чем мы хотим забыть.

— Он имеет такое же право это знать, как и Стефан.

— Я ничего не собирался ворошить. Это сделал другой. Вот книга — «Холокост» Абрахама Кейди. Вы когда-нибудь о ней слышали?

— В Америке она довольно хорошо известна, — ответил Адам. — Но я ее не читал.

— Так вот, эта чертова книга только что вышла в Англии. Боюсь, что я должен вам это показать.

Он протянул книгу Адаму. Страница 167 была заложена закладкой. Адам поднес книгу к лампе и прочитал:

«Из всех концлагерей наилучшей славой пользовался лагерь «Ядвига». Там штандартенфюрер СС доктор Адольф Фосс устроил экспериментальный центр для разработки методов массовой стерилизации, используя людей в качестве подопытных животных, а штандартенфюрер СС доктор Отто Фленсберг и его помощник проводили другие столь же чудовищные исследования на заключенных. В пресловутом бараке № 5, в секретном хирургическом отделении, доктор Кельно проделал 15 000 или больше экспериментальных операций без применения обезболивающих средств.»

На улице дюжина ряженных, прижавшись лицами к окну, запотевшему от их дыхания, запела:

Счастливого вам Рождества,
Счастливого вам Рождества,
Счастливого вам Рождества
И счастья в Новом году!

18

Адам закрыл книгу и положил ее на стол.

— Ну, и ты, значит, думаешь, что я это делал, Терренс Кэмпбелл?

— Конечно, нет, доктор. Я чувствую себя как последний сукин сын. Видит Бог, я не хочу вас обижать, но ведь это напечатано, и сотни тысяч, если не миллионы людей это прочтут.

— Возможно, я слишком ценил наши отношения и поэтому не считал нужным все это тебе объяснять. Вероятно, я был не прав.

Адам подошел к книжному шкафу, отпер нижний ящик и вынул три больших картонных коробки, набитых бумагами, папками, газетными вырезками и письмами.

— Думаю, что пора тебе все узнать.

И Адам начал с самого начала.

— Наверное, никому невозможно объяснить, что такое концлагерь, и никто не сможет понять, как такое могло существовать. Мне до сих пор все это представляется в сером цвете. Мы четыре года не видели ни дерева, ни цветка, и я не помню, чтобы там светило солнце. Я часто вижу это во сне. Вижу стадион, где сотнями шеренг выстроены люди — безжизненные лица, мертвые глаза, выбритые головы, полосатая одежда. А за последней шеренгой — силуэты крематория, и я ощущаю запах горелого человеческого мяса. И еды, и лекарств там всегда не хватало. День и ночь я видел из своей больницы бесконечные вереницы заключенных, которые тащились ко мне.

— Доктор, я просто не знаю, что сказать.

Адам рассказал о заговоре против него, о муках, перенесенных в Брикстонской тюрьме, о том, что не видел своего сына Стефана, пока тому не исполнилось два года, о бегстве в Саравак, о своих кошмарах, о пьяном забытье — обо всем. У обоих по щекам текли слезы, а он все продолжал говорить — спокойно и бесстрастно.

Когда первые лучи серого рассвета проникли в комнату и за окном стало слышно, как просыпается город и как автомобильные шины шипят по мокрому асфальту, он умолк.

Они долго сидели неподвижно. Потом Терри покачал головой.

— Я этого не понимаю. Просто не понимаю. Почему евреи должны вас так ненавидеть?

— Ты наивный человек, Терри. Перед войной в Польше жило несколько миллионов евреев. Мы получили независимость только в конце Первой мировой войны. Евреи постоянно пытались снова ее у нас отнять, они всегда были среди нас чужими. Они были душой Коммунистической партии, это они виноваты в том, что Польшу снова отдали России. С самого начала это была борьба не на жизнь, а на смерть.

— Но почему?

Адам пожал плечами:

— В нашей деревне все были в долгу у евреев. Ты знаешь, как я был беден, когда приехал в Варшаву? Первые два года моей комнатой был чулан, а постелью — куча лохмотьев. Чтобы иметь возможность позаниматься, мне приходилось запираться в уборной. Я все ждал и ждал, когда меня примут в университет, но мест не было, потому что

евреи пускались на любые уловки, чтобы обойти процентную квоту. Ты считаешь, что система квот несправедлива? Но если бы не она, они скупили бы все места во всех аудиториях. Их хитрость и коварство превосходят всякое воображение. Евреи, профессора и преподаватели, пытались контролировать все стороны университетской жизни. Они совали свой нос повсюду. Я вступил в Национальное студенческое движение и гордился этим, потому что там я имел возможность бороться с ними. А позже евреям-врачам доставались все лучшие места. Однажды мой отец допился до смерти, и матери пришлось работать до конца своей недолгой жизни, чтобы расплатиться с евреем-ростовщиком. Я всегда стоял за польский национализм, и за это мою жизнь превратили в ад.

Юноша взглянул на своего учителя. Он испытывал отвращение к самому себе. Он же видел, как Адам Кельно нежно успокаивал перепуганного ребенка из племени улу и утешал его мать. Боже, да разве мог доктор Кельно употребить медицину во зло?

«Холокост» лежал на столе — толстый том в сером переплете, на котором название и имя автора были напечатаны красными буквами в виде языков пламени.

— Автор, конечно, еврей? — спросил Адам.

— Да.

— Впрочем, это не важно. Про меня говорилось и в других книгах, которые они писали.

— Но эта — совсем другое дело. Она только что вышла, а меня уже спрашивали про нее с полдюжины знакомых. Рано или поздно какой-нибудь журналист обязательно до нее доберется. А теперь, когда вы возведены в рыцари, это будет сенсация.

Вошла Анджела. На ней был халат в каких-то несурзных цветочках,

— Что мне теперь делать? Снова бежать, чтобы спрятаться в каких-нибудь джунглях?

— Нет. Сражаться. Потребовать изъятия книги из продажи и доказать всему миру, что ее автор — лжец.

— Ты просто невинный младенец, Терри.

— Кроме отца и вас, у меня никого нет, доктор Кельно. Неужели вы прожили пятнадцать лет в Сараваке только ради того, чтобы в конце концов лечь в могилу с этим позорным пятном?

— Но ты представляешь себе, с чем это будет связано?

— Я должен спросить вас, доктор, есть ли во всем этом хоть капля правды.

— Да как ты смеешь? — вскричала Анджела. — Как ты смеешь это говорить?

— Я тоже не верю. Смогу ли я помочь вам в этой борьбе?

— А ты готов оказаться в центре скандала? — спросила Анджела. — Готов попасть под огонь профессиональных лжецов, которых они приведут в суд? Тебе не кажется, что есть более почетный выход — ответить молчанием, сохраняя достоинство?

Терренс отрицательно покачал головой и поспешно вышел из комнаты, боясь, что не сможет сдержать слез.

Немало пива и джина выпили Терри и его друзья, немало озорных песен спели и множество животрепещущих мировых проблем обсудили со всей горячностью молодости.

Терри получил в свое распоряжение ключ от поликлиники доктора Кельно, находившейся в нескольких кварталах от дома, и по вечерам, когда она пустела, его приятели забывали о своих заботах, развлекаясь с многочисленными юными дамами на перевязочных столах и раскладушках, благоухающих дезинфекцией. Они не считали это таким уж большим неудобством.

Потом пришло Рождество, было съедено несколько индеек и гусей, и каждый гость получил по скромному, но тщательно выбранному и смешному подарку. А на долю доктора Кельно досталось множество никчемных безделушек, от всей души преподнесенных его пациентами.

Рождество как Рождество — никто из гостей так и не догадался, что в это время переживали хозяева. Все вернулись в Оксфорд веселые и довольные.

Адам и Терри распрощались сдержанно. Когда поезд отошел, Анджела взяла мужа под руку, и они покинули величественное викторианское здание Пэддингтонского вокзала.

Сэр Адам Кельно шагал по узкой Чансери-Лейн — главной артерии британского права, начинающейся домом Обществом юристов и заканчивающейся книжным магазином юридического издательства «Свит энд Максвелл». В витрине магазина готового платья «Ид энд Рейвенскорт», кото-

рый обслуживает представителей этой профессии, был выставлен обычный ассортимент мрачных судейских и адвокатских мантий и серых париков, не претерпевших никаких изменений с незапамятных времен.

Адам остановился перед домом 32Б. Это было узкое четырехэтажное здание — одно из немногих уцелевших после опустошительных пожаров, которые бушевали здесь столетия назад, кособокий и неуклюжий памятник XVII века.

Второй и третий этажи дома занимала адвокатская контора «Хоббинс, Ньютон и Смидди». Кельно вошел и стал подниматься по скрипучей лестнице.

Часть вторая ОТВЕТЧИКИ

1

Автором «Холокоста» был американский писатель по имени Абрахам Кейди, в прошлом журналист, летчик и бейсболист.

В начале века в еврейской черте оседлости царской России, словно лесной пожар, распространялось сионистское движение. Стремление покинуть Россию, порожденное многовековым угнетением и погромами, нашло свое воплощение в мечте о возрождении древней исторической родины. Обитатели маленького еврейского местечка Продно в складчину отправили в Палестину своих первопроходцев — братьев Мориса и Хаима Кадыжинских.

Осушая болота Верхней Галилеи, Морис Кадыжинский снова и снова становился жертвой приступов малярии и дизентерии. В конце концов его отвезли в Яффу и положили в больницу, где ему посоветовали уехать из Палестины: он, как и многие другие, оказался не в состоянии приспособиться к здешним тяжелым условиям. А его старший брат Хаим остался.

В те времена было принято, чтобы американские родственники забирали к себе из Палестины столько членов семьи, сколько могли. Дядя Абрахам Кадыжинский, в честь которого автор книги впоследствии получил свое имя, жил в штате Виргиния, в Норфолке, и был владельцем маленькой еврейской пекарни в тамошнем гетто. Мориса Кадыжинского превратил в Мориса Кейди иммиграционный чиновник: ему совсем заморочили голову сотни новоприбывших, фамилии которых одинаково кончались на «ский».

У дядя Абрахама было две дочери, мужа которых не проявляли ни малейшего интереса к пекарне, и она после смерти старика перешла к Морису.

Еврейская община Норфолка была немногочисленной и сплоченной — члены ее держались вместе, как у себя на родине, в гетто, наложившем глубокий отпечаток на их психологию. Морис познакомился с Молли Сегал — тоже иммигранткой из сионистов, и в 1909 году они поженились.

Из уважения к его отцу, продненскому раввину, их брак был скреплен в синагоге, а последовавший за этим свадебный пир был традиционно еврейским — с бесконечным угощением, отплясыванием хоры и криками «мазель тов», не стихавшими до поздней ночи.

Ни Морис, ни его жена не были верующими, однако они так и не смогли отказаться от прежних привычек, говорили и читали на идише и придерживались преимущественно кошерной пищи.

В 1912 году родился их первенец Бен, два года спустя — дочь Софа. В Европе разразилась война, и их дело процветало: Норфолк стал главным сборным пунктом для войск и снаряжения, отправляемых морем во Францию, и пекарня Мориса заполучила правительственный подряд на поставки. Объем производства вырос втрое, а затем и вчетверо. Правда, при этом пекарня почти утратила свой еврейский характер — если раньше хлеб и пирожные выпекали здесь по старым семейным рецептам, то теперь они должны были соответствовать государственным стандартам. Но после войны Морис отчасти восстановил прежние традиции, и его пекарня приобрела такую популярность в городе, что он стал поставлять хлеб в большие магазины, в том числе и расположенные в тех кварталах, где евреев совсем не было.

Абрахам Кейди родился в 1920 году. Хотя к этому времени Кейди достигли процветания, они никак не могли расстаться с маленьким стандартным домиком с белой верандой, где появились на свет все их дети. Домик стоял в той части города, которая была сплошь заселена евреями, — от церкви Святой Марии на Черч-стрит она тянулась на семь кварталов до аптеки Букера, где начиналось негритянское гетто. Вдоль улицы стояли лавки, точь-в-точь такие же, как на прежней родине, и их запахи и звуки запоминались детям на всю жизнь. Прямо на тротуарах шли жаркие дискуссии на идише, вызываемые статьями в конкурирующих газетах — местной «Вархайт» и нью-йоркской «Форвертс». Сапожная мастерская двоюродного брата Кейди —

Гершеля источала замечательный аромат кожи, а в погребе-ке солильщика, где можно было выбрать любой из шестидесяти сортов солений и маринадов, хранившихся в бочках с рассолом, стоял острый запах уксуса. На заднем дворе кошерной лавки Финкельштейна дети смотрели, как режут кур за пятачок, с соблюдением всех религиозных правил. По всей улице шла оживленная торговля зеленью с лотков, владелец магазина одежды Макс Липшиц, с сантиметром на шее, сам затаскивал к себе возможных покупателей с улицы, а немного поодаль в ссудной кассе Сола хранилась целая коллекция рухляди. Каждый предмет этой коллекции говорил о трагедии, постигшей кого-то из клиентов Сола — по преимуществу цветных.

Большая часть прибыли, которую получал Морис Кейди, шла родственникам в Россию либо в Палестину. Кроме черного «эссекса», стоявшего перед домом, почти ничто не говорило о его благосостоянии. Игрой на бирже Морис не занимался, и поэтому, когда разразился биржевой крах, у него оказалось достаточно наличных, чтобы прикупить за треть их настоящей цены две разорившиеся пекарни.

При всех нехитрых потребностях семейства Кейди, растущий достаток все-таки взял свое. После длившихся целый год споров они купили большой десятикомнатный дом с участком земли размером в акр, стоявший на углу Нью-Хэмпшир-стрит, откуда открывался вид на устье Джеймс-ривер. Несколько еврейских семей из среднего класса — торговцев и врачей — уже обосновались за пределами гетто, но Кейди оказались в целиком нееврейском квартале. Конечно, они не были чернокожими, но чисто белыми их тоже не считали. Бен и Эйб были «еврейчиками», «жиденятами». Правда, на стадионе около бензоколонки, где они играли в бейсбол, дразнить их вскоре перестали: Бен Кейди здорово дрался, и обижать его было рискованно. А впоследствии, когда отношения с соседскими детьми наладились, те не упускали случая полакомиться чем-то вкусеньким с неисчерпаемой кухни Молли.

В школе для Эйба все началось сначала. Большинство учеников составляли мальчишки из расположенного поблизости приюта для трудных детей. Больше всего они любили драться. Эйбу пришлось нелегко, пока старший брат не на-

учил его своим «грязным еврейским штучкам», которые помогали ему отбиваться.

В старших классах кулаки уступили место иной разновидности антисемитизма, и подростком Эйб привык слышать нелестные замечания о своем происхождении. Некоторым уважением братья стали пользоваться только тогда, когда Бен выдвинулся в число лучших школьных спортсменов сразу по трем видам спорта — весной он отбивал бейсбольные мячи так далеко, что их не могли найти, а осенью и весной отличался под баскетбольной корзиной и в секторе для прыжков.

В конце концов соседи стали даже с некоторой гордостью указывать на это еврейское семейство. Кейди были «хорошими евреями», они знали свое место. Но ощущение чужеродности, появившееся при входе в любой нееврейский дом, осталось у них навсегда.

Эйбу Кейди на всю жизнь запомнилось, как заботился его отец о родственниках, оставшихся на родине, и как он старался выволить их всех из Польши. Полдюжины двоюродных братьев Морис вывез в Америку, еще стольким же оплатил проезд в Палестину. Но сколько он ни пытался, ему так и не удалось уговорить уехать отца, продненского раввина, и двух своих младших братьев. Один из них был врачом, другой — преуспевающим торговцем, и оба оставались в Польше до своего трагического конца.

Софа, его дочь, не отличалась красотой. Она вышла замуж за столь же некрасивого парня — разъездного торговца в перспективном районе Балтимора, где обосновалась большая часть семейства Кадыжинских. Семейные встречи в Балтиморе были большой радостью. Грех жаловаться: Америка приняла их хорошо. Они достигли кое-каких успехов и, несмотря на обычные семейные ссоры и разногласия, сохраняли тесную сплоченность, особенно в трудные минуты.

Заботы доставлял Морису и Молли только Бен. Конечно, они гордились своим сыном-спортсменом: он прославил их, этого они не могли отрицать. Но Бен Кейди был порождением 30-х годов. При виде чернокожего он немедленно проникался к нему сочувствием и жалостью. Остро переживая всякое угнетение, презирая невежество и самодовольство южан, он все больше прислушивался к голосам ловких фанатиков, обещавших свободу трудящимся массам, — всех

этих Эрлов Броудеров, Мамаш Блур и Джеймсов Фордов*, которые приезжали с Севера и осмеливались проповедовать свою веру смешанной аудитории из белых и цветных в крохотных залах негритянских кварталов.

— Слушай меня, сынок, — говорил Бену Морис. — Не хочешь быть булочником — хорошо, я уже не возражаю. Мы можем нанять управляющего, мы будем держать бухгалтеров, чтобы дело всегда приносило доход. Я ж ни о чем не прошу, ты не хочешь быть булочником — не надо. Но посмотри, Бен, — целых девять колледжей и Университет Западной Виргинии хотят взять такого спортсмена! Они на колених просят тебя принять от них стипендию.

У Бена Кейди были черные волосы, черные глаза и черные брови, и, когда его внутренняя энергия не находила себе выхода на поле стадиона, он излучал ее с такой силой, что не заметить этого было невозможно.

— Я хочу несколько лет поболтаться просто так, отец. Немного оглядеться вокруг, понимаешь? Может быть, пойду в матросы.

— Ты хочешь стать бродягой, да?

Услышав их громкие голоса в соседней комнате, Эйб выключил радио и появился в дверях. Он был еще неуклюжим подростком, на несколько размеров меньше Бена.

— Эйб, иди готовь уроки.

— Сейчас июль, папа, мне не надо готовить уроки.

— И поэтому тебе надо влезть в разговор, вступить за Бена и вместе с ним морочить мне голову?

* Броудер, Эрл Рассел (1891—1973) — американский коммунист, в 1935—1945 гг. возглавлял Компартию США, в 1936 г. и 1940 г. выдвигался от нее кандидатом в президенты США. В 1946 г. исключен из партии за «правый уклон».

Блур, Элла Рив (1862—1951), по прозвищу Мамаша Блур, — активная участница рабочего движения в США, в 1919 г. была в числе основателей Компартии США.

Форд, Джеймс — американский коммунист, активный участник рабочего движения и борьбы за равноправие негров в США. В 1932, 1936 и 1940 гг. выдвигался кандидатом в вице-президенты от Компартии США, но не получил поддержки избирателей-негров, которые сочли его программу слишком умеренной («красный Дядя Том»).

Тут Морис Кейди пустился в долгий рассказ о своей юности в Польше, об испытаниях, которые он перенес в Палестине, и о том, как он бьется, чтобы в семье все было хорошо. И о Молли — самой лучшей женщине, какую только сотворил Бог. Потом настала очередь детей. Разве может Софа пожаловаться на свою судьбу? Некрасивая девушка, и муж у нее не красавец — а прошло всего три года, и у них уже двое замечательных детишек. Этот ее Джек, может быть, и поц, но пусть кто-нибудь скажет, что он плохой добытчик. И Софу носит на руках, как будто она чистое золото. А Эйб? Вы только посмотрите, какие оценки он приносит из школы. Спросите кого хотите из нашей семьи — все скажут, что он гений. Когда-нибудь он станет великим еврейско-американским писателем.

— Бен, «тохес афн тыш» — давай говорить начистоту. Что помогло тебе кончить школу? Только грубая сила. Ладно, ты не хочешь быть булочником. Пусть так. Но если пятнадцать колледжей, включая Университет Западной Виргинии, умоляют тебя оказать им честь — то доучись уже хотя бы до диплома. Или я слишком много хочу — чтобы ты получил образование?

Бен мрачно молчал.

— Я хочу тебя спросить — как, по-твоему, можем себя чувствовать мы с твоей матерью, когда ты отправляешься на этот гойский аэродром и выделяешь на самолете свои дурацкие штуки? Пишешь дымом в воздухе какие-то там слова? Я хочу спросить — для этого мы тебя вырастили, да? Я тебе скажу, Бен, — видел бы ты, с каким лицом мать ждет, когда услышит твои шаги на крыльце. Она умирает каждую минуту, когда ты там, в небе. Она готовит еду и говорит мне: «Морис, я знаю, что Бену этого уже не попробовать». Смотри на меня, сын, когда я с тобой говорю.

И Эйб, и Бен сидели понурые, то сжимая, то разжимая кулаки.

— Что тебе мешает жить, сынок?

Бен медленно поднял голову:

— Нищета. Фашизм. Неравенство.

— Ты думаешь, я не слыхал всей этой чепухи от большевиков еще в Польше? Ты еврей, Бен, рано или поздно они тебя предадут. Я хорошо знаю, что за палачи они там, в России.

— Папа, перестань ко мне цепляться.

— Нет, буду цепляться, пока ты не получишь образования. Ладно, я знаю, сейчас модно, чтобы молодежь ходила в черные кварталы и танцевала с черномазыми. Сначала с ними потанцуешь, а потом, глядишь, и приведешь такую в дом своей матери.

Бен хотел возразить, но Морис жестом остановил его.

— Посмотри, что ты делаешь. Летаешь, стал коммунистом, танцуешь с черномазыми. Бен, у меня нет предрассудков. Я же еврей, который повидал прежнюю жизнь. Или я не знаю, как страдают эти черные? Кто, в конце концов, самые либеральные философы, кто лучше всех относится к черным? Еврей! Но если дойдет до того, что эти черные взбунтуются, то против кого они, по-твоему, обратятся? Против нас!

— Ты кончил, отец?

— Твои уши ничего не слышат, Бен. Говорить с тобой — все равно что со стенкой.

2

«О том, что мой брат Бен убит, мы узнали не из телеграммы. Ничего подобного. Мы получили письмо от одного из его товарищей по эскадрилье «Лакалле» — американских добровольцев, которые сражались в воздухе на стороне правительства Испании. Некоторые из них были наемниками, другие, как Бен, — антифашистами. Компания была разношерстная. Нам показалось немного странным, что большую часть письма занимали рассуждения о том, во имя чего погиб Бен и какие трусы фашистские летчики.»

Бен летал на русском самолете, который называли «чатос» — «курносый». Он давно устарел, а германские «хейнкели» и итальянские «фиаты», летавшие целыми тучами, всегда имели численное превосходство в воздухе. В свой последний вылет Бен сбил бомбардировщик «юнкерс», а потом они ввязались в воздушный бой с истребителями — трое американцев против тридцати пяти «хейнкелей». Так говорилось в письме.

Известие о гибели Бена позже подтвердил один человек, который приезжал к нам в Норфолк, — доброволец из батальона Линкольна Интернациональной бригады. Он был ранен, лишился руки, и его послали назад в Штаты в качестве вербовщика.

Узнав, что Бен убит, из Балтимора приехали все наши родственники, а с Черч-стрит пришли все старые друзья. День и ночь в доме было полно народа.

Приходили и другие — кое-кто из учителей Бена, его тренеров, соучеников и соседей, многие из них до тех пор никогда с нами не здоровались и у нас не бывали. Маму и папу навестили даже два священника — баптистский и католический. Папа всегда делал от имени пекарни пожертвования во все церкви.

Первые две недели мама не переставая стряпала. Она снова и снова говорила, что гости не должны остаться голодными. Но все мы знали: она это делает, чтобы разрядиться и иметь какое-то занятие, которое отвлекало бы ее от мыслей о Бене.

А потом она не выдержала, и ее пришлось некоторое время держать на снотворных. Они с папой надолго ездили отдыхать — сначала к Софе в Балтимор, а потом в Кэтскиллские горы и в Майами. Но всякий раз, возвращаясь в Норфолк, они чувствовали себя так, словно оказались в море. Они шли в комнату Бена и сидели там часами, глядя на его школьные фотографии и спортивные призы, снова и снова перечитывая его письма.

По-моему, после смерти Бена они уже никогда не стали прежними. Как будто в тот день, когда пришло это известие, они начали стареть. Странно — до того я никогда не думал, что мои родители могут постареть.

Несколько коммунистов — друзей Бена пришли к нам и сказали, что гибель Бена не должна оказаться напрасной. Они уговорили маму и папу поехать в Вашингтон на митинг в защиту республиканской Испании. Я поехал с ними. Там перевозили Бена и хвалили маму и папу за то, что они пожертвовали сыном во имя борьбы с фашизмом. Мы поняли, что они всего лишь используют нас в своих целях, и больше никогда на такие митинги не ходили.

Наверное, важнее моего брата Бена у меня в жизни ничего не было.

Я очень многое о нем помню.

У хозяина похоронного бюро Хейла была большая яхта, вмещавшая человек сорок — пятьдесят. Ее можно было взять на прокат за 15 долларов в день, пригласить гостей и устроить прогулку по Чесапикскому заливу. Хотя я был еще маленький,

Бен всегда брал меня с собой в такие прогулки. Во время одной из них я впервые попробовал виски. Мне стало тогда ужасно плохо.

В дальнем углу нашего земельного участка стоял гараж, а над ним была маленькая квартирка. При прежних хозяевах там жила негритянская семья, которая им прислуживала. Но мама любила все в доме делать сама, к нам только раз в неделю приходила женщина для уборки, и нам эта квартира служила чем-то вроде укромного убежища.

Когда Бен стал летчиком, он играл по воскресеньям в американский футбол в парке «Олд Лиг» за полупрофессиональную команду «Норфолк Клэнси». Господи, я никогда не забуду того дня, когда он дважды приземлил мяч за воротами приезжей сборной и два силовыми приемами сбивал с ног ее нападающих. Бен был удивительный человек. Чтобы целоваться с девочками, большинство ребят уезжало кататься по шоссе вдоль Лафайет-ривер, но у нас была собственная квартирка, и будьте уверены, мы не раз устраивали там замечательные вечеринки.

Около гаража была довольно большая площадка, и там мы тренировались, отрабатывая бейсбольные приемы. Бен учил меня подавать. Он нарисовал на стене гаража мишень — силуэт принимающего — и заставлял меня кидать в нее мяч до тех пор, пока у меня рука не отнималась. Он был очень терпелив.

Он часто разговаривал со мной про бейсбол, обняв меня за плечи. Когда он прикасался ко мне, я чувствовал себя так, будто это прикосновение самого Бога.

— Послушай, Эйб, — говорил он, — силой своего броска ты никогда никого не удивишь и за трибуны мяч не закинешь. Поэтому, когда подаешь, шевели своими еврейскими мозгами.

Он научил меня разным крученым подачам, обманным движениям и другим хитростям. Великим бейсболистом я так и не стал, но, следуя его советам, был ведущим игроком своей школьной команды и получил приглашение поступить в Университет Северной Каролины. Часто мы играли с ним до темноты, а потом выходили на улицу и продолжали там при свете фонарей.

В том месте, где Грэнби-стрит у кладбища поворачивает к берегу океана, находился небольшой аэродром с земляной взлетной полосой. Его со всех сторон окружали гаражи, и,

чтобы добраться до него, надо было перелезть через надгробия. Сейчас все это — территория военно-морской базы, но несколько старых зданий там еще стоят. Так или иначе, один богач, владелец еврейского универмага по имени Джейк Голдстейн, был большим поклонником Бена, а кроме того, имел несколько самолетов, в том числе один спортивный. В полете его трясло, как в лихорадке, но зато на нем можно было выделывать всякие фигуры. Бен начал летать на нем, а я в это время болтался на аэродроме.

Бен был там единственным летчиком-евреем, если не считать мистера Голдстейна, но все остальные его уважали. Он был таким же, как они, — человеком особого склада, и то, что он еврей, было не так уж важно. Так что опять начинать знакомство с драк нам не пришлось.

Джейк Голдстейн оплачивал участие Бена в множестве воздушных гонок. Кроме того, Бен часто ездил с показательными полетами по ярмаркам. Пока его не было, я помогал чем мог другим пилотам и подносил им тормозные башмаки, а потом понемногу начал возиться с моторами, и время от времени меня за это брали с собой в полет.

Бен позволял мне держать штурвал и научил управлять самолетом, как и всему остальному, что я умел. Но когда он уезжал, кое-кто из пилотов в воздухе задавал мне жару. Я знал, что они просто дурака валяют, но они начинали крутить петли и бочки до тех пор, пока я чуть не терял сознание. Шатаюсь, я с трудом вылезал из кабины и бежал в туалет, где меня выворачивало наизнанку.

Среди пилотов был один антисемит, его звали Стейси. Однажды, когда Бен был в отъезде, он закрутил меня в воздухе до того, что я лишился чувств. Кто-то из ребят рассказал об этом Бену, и он принялся потихоньку со мной заниматься. Он научил меня всем фигурам пилотажа, какие только есть. И вот однажды Бен говорит: «Эй, Стейси, не хочешь ли ты слетать с Эйбом? По-моему, он уже может летать сам — испытай его, слетай с ним инструктором вместо меня». Стейси ничего не заподозрил, и мы забрались в двухместную кабину с двойным управлением. Только Стейси не знал, что его штурвал отключен. Бен позвал всех смотреть. Ого-го, ну и показал же я этому сукину сыну! Я делал бочки над самой землей, переворачивал самолет вверх ногами, бросал его круто вверх, пока не захлебывался мотор, а потом пикировал прямо на ангар и выходил из пике с тройной перегрузкой. Временами я погля-

дывал назад — похоже было, что Стейси вот-вот наложит в штаны. Но я продолжал в том же духе, пока он не взмолился о пощаде и не стал умолять меня садиться. На закуску я добавил еще несколько мертвых петель.

После этого Стейси на аэродроме больше не появлялся.

Я был самым молодым пилотом во всей нашей компании, и все шло прекрасно до тех пор, пока однажды у меня не отказал мотор и мне не пришлось садиться на брюхо посреди кукурузного поля. Я не чувствовал страха, пока самолет не остановился как вкопанный и не встал на нос. Я испугался только после того, как выкарабкался из кабины, и со слезами просил, чтобы ничего не говорили маме и папе.

Я был весь в ушибах и соврал, будто упал с крыши гаража. Но они все узнали от страхового агента и от специалистов, которые расследовали аварию. Ну и разбушевался же отец!

— Если ты, Бен, намерен сломать себе к дьяволу шею — пожалуйста. Но чтобы ты взял это нежное дитя и сделал из него гангстера — так это я тебе запрещаю!

Папа, упокой Господи его душу, почти никогда ничего не запрещал. Его пекарня стала первой в городе, где рабочим было разрешено организовать профсоюз, и он пошел на это без всякой забастовки или кровопролития, а просто потому, что был человек свободомыслящий. Остальные владельцы пекарен чуть не линчевали его, но папу не так легко было запугать. И он был первым, кто взял на работу чернокожего пекаря. Наверное, мало кто помнит, сколько мужества надо было тогда для этого иметь.

Так вот, после этой истории я долго не летал. До тех пор, пока Бена не убили в Испании. А тогда я должен был летать, и папа это понял.

Но чаще всего, когда я думаю про Бена, мне вспоминаются обыкновенные спокойные дни, когда мы просто гуляли вместе. Иногда мы ходили на болото за школой и ловили лягушек. Там всегда болтались ребята из приюта, и мы устраивали лягушачьи гонки. Иногда мы играли в кегли в переулке — это была единственная игра, в которую я играл лучше Бена.

А лучше всего бывало нам на берегу залива. Мы вставляли пораньше, садились на велосипеды и ехали на пристань, где за пятак покупали арбуз. Мальчишкам там продавали по дешевке арбузы, которые треснули при перевозке. Я вез на багажнике корзинку с моей собакой, а Бен — арбуз. Мы усаживались на берегу и клали арбуз в воду, чтобы охладить, а пока

он охлаждался, выходили на причал и ловили только что перелинявших крабов. Мы привязывали на веревку кусок гнилого мяса и опускали его в воду, а когда краб подбирался к приманке, Бен подцеплял его сачком. Эти крабы ужасно глупые.

Мама не придерживалась кошерной кухни, но приносить в дом крабов не велела, и мы жарили их там, на берегу, с кукурузным початком или картофелиной, а арбуз съедали на десерт и потом лежали на траве, глядели на небо и болтали о всякой всячине.

Мы всегда наедались так, что у нас болели животы, и мама ругалась, что мы ничего не едим за обедом.

Даже когда мы стали старше, мы любили вместе ходить гулять на берег. Там Бен впервые сказал мне, что хочет стать коммунистом.

— Этого папа никогда не поймет. Когда он был мальчишкой, он всегда жил по-своему. Он уехал из дома, чтобы работать в болотах Палестины. Ну, а я жить так, как жил он, не могу.

Бен очень сочувствовал чернокожим и считал, что коммунизм — единственное решение проблемы. Он много говорил о том времени, когда они получают равные права, и бейсболисты вроде Джоша Гибсона или Сэчела Пейджса смогут играть в высшей лиге, и в универмагах «Райс и Смит» или «Уэлтон» будут работать цветные продавцы, и они смогут обедать в тех же ресторанах, что и белые, и не будут обязаны занимать в автобусе только задние места, и их дети смогут учиться в школах для белых, и они смогут жить в белых кварталах. Тогда, в середине 30-х годов, во все это было трудно поверить.

Я хорошо помню последний раз, когда я видел Бена.

Он склонился над моей кроватью и тронул меня за плечо, а потом прижал палец к губам и сказал шепотом, чтобы не разбудить папу с мамой:

— Я уезжаю, Эйб.

Я был совсем сонный и сначала ничего не понял. Я подумал, что он опять улетает на какую-нибудь ярмарку.

— Куда ты уезжаешь?

— Ты никому не скажешь?

— Никому.

— Я еду в Испанию.

— В Испанию?

— Воевать с Франко. Буду летчиком у республиканцев.
Кажется, я расплакался. Бен присел на край кровати и обнял меня.

— Не забудь, чему я тебя учил, — тебе это может пригодиться. Но в общем папа прав — занимайся своим писанием.

— Я не хочу, чтобы ты уезжал, Бен.

— Надо, Эйб. Я должен как-то во всем этом участвовать.

Правда, странно, что я не мог плакать, когда узнал о смерти Бена? Хотел, но не мог. Это пришло только много позже, когда я решил написать книгу про своего брата Бена.

Я поступил в Университет Северной Каролины, потому что там был факультет журналистики, где читали лекции Томас Вулф и многие другие писатели. Там я мог претворить в жизнь обе свои главные мечты — писать и играть в бейсбол.

Я был единственным евреем в команде первокурсников, и можете быть уверены, что кто-нибудь постоянно пытался попасть мне мячом в ухо или поранить шипами бутсов. Тренировал команду один мужлан-неудачник, который так и не поднялся выше третьей лиги и даже табак не курил, а жевал, словно у себя в захолустье. Меня он невзлюбил. Он не говорил при мне ничего плохого про евреев, но того выражения, с каким он произносил «Эйби», было вполне достаточно. Я был мишенью всех розыгрышей в раздевалке и слышал все оскорбительные замечания, которые отпускались якобы за глаза.

Моя подача была самой лучшей во всей нашей подгруппе, и когда все они поняли, что благодаря урокам Бена я и на поле не теряюсь, дела пошли лучше. Даже до этого сукина сына тренера дошло, что со мной надо разговаривать вежливо, потому что без меня эта салажья команда сидела бы на последнем месте.

Тем не менее моя голова оставалась главной мишенью для всех противников. В первых четырех играх — благодаря мне мы все их выиграли — подающие попадали в меня шесть раз. К счастью, я каждый раз успевал увернуться, и удар приходился в ноги или в ребра. Но рано или поздно это должно было плохо кончиться. В один прекрасный день пушечная подача здорового левши из Дьюкского университета угодила мне в руку чуть выше локтя и сломала кость.

Как только мне сняли гипс, я начал тренироваться, хотя больно было до слез. Кость срослась, но бывшая ловкость в обращении с мячом так и не вернулась. Все, чему я научился от Бе-

на, пошло прахом. Администрация университета любезно уведомила меня, что спортивную стипендию мне платить больше не будут.

Папа хотел, чтобы я продолжал учиться в университете, но мне все чаще приходила в голову мысль, что научить писать университетские профессора не могут, особенно профессора, которые не знали Бена и ничего не понимали в том, о чем я хотел писать. К тому же пришла к концу и моя бейсбольная карьера.

Я бросил университет после первого курса, долго обивал пороги газетных редакций и в конце концов был принят редактором летного отдела в газету «Виргиния пайлот» на тридцать баксов в неделю. По ночам я писал рассказы для дешевых журнальчиков, которые платили по центу за слово, под псевдонимом «Хорейс Абрахам».

А потом в один прекрасный день я понял, что сыт по горло этой халтурой, и принялся писать роман. Роман про Бена.»

3

Дэвид Шоукросс был не просто издателем. Об этом человеке, представлявшем собой практически целое издательство в одном лице, ходили легенды. Выходец из скромной английской издательской династии, он начинал мальчиком на побегушках за пять шиллингов в неделю, а через двадцать лет стал главным редактором.

Уже в двадцать один год Шоукросс возглавлял отдел в одном известном издательстве, получая щедрые тридцать шиллингов в неделю. Чтобы не умереть с голоду, он подрабатывал на стороне — рецензировал для других издателей поступающие самотеком рукописи.

Своим выдвижением Дэвид Шоукросс был обязан исключительно блестящему редакторскому таланту. Он отказался пойти по административной линии, хотя его и рекомендовали в правление. Вместо этого он уволился, когда счел нужным, и основал собственную маленькую издательскую фирму.

Шоукросс редко выпускал больше дюжины книг в год, но каждая была чем-нибудь особо примечательна, и одна из них каждый год непременно попадала в список бестселлеров. Хороших писателей издательство привлекало своей вы-

сокой репутацией и тем, что редактором их книг становился Дэвид Шоукросс.

Как и всякий мелкий издатель, он мог держаться на плаву только благодаря тому, что постоянно открывал новые таланты. Это требовало острого чутья и бесконечной черной работы. Самыми популярными в мире авторами были тогда американцы, но тут он не мог конкурировать с мощными английскими фирмами. Он пошел другим путем.

Шоукросс хорошо знал, что крупные американские издательства работают по потогонной системе, которая не дает возможности отыскивать и выращивать таланты. К тому же ни в одном из них не существовало эффективной системы отбора самотечных рукописей и поддержки одаренных авторов. Все силы их ведущих редакторов поглощала работа с теми писателями, которых они раньше уже печатали, а кроме того, немало времени у них уходило на бесконечную череду совещаний по сбыту, заключение договоров, хождение по коктейлям, чтение лекций, просмотры пьес в бродвейских тетрах и прием делегаций пожарной охраны. Редакторы же рангом пониже почти не имели шансов протолкнуть перспективную рукопись. Больше того, напряженная атмосфера нью-йоркской литературной жизни обычно заставляла выпивать в обеденный перерыв по два-три martini, что отбивало всякую охоту копаться в неопубликованных рукописях неизвестных авторов. Дэвид Шоукросс как-то заметил, что издательское дело — единственный вид бизнеса, где никто не прилагает никаких усилий, чтобы обеспечить свое дальнейшее существование. Каждый издатель мог рассказать, как упустил потенциальный бестселлер, и главным образом — по собственной глупости.

Шоукросс не сомневался, что в любой редакционной корзине можно найти годную для публикации рукопись или перспективного автора, которому нужно только протянуть руку помощи, чтобы вывести его в люди. Поэтому он каждый год отправлялся в Америку и принимался за поиски. За десять лет Шоукросс открыл с полдюжины новых американских писателей, в том числе сенсационного негра Джеймса Мортон Линси, который стал крупной литературной фигурой.

Рукопись Абрахама Кейди лежала на столе литературного агента как раз в тот день, когда к нему заглянул Дэвид Шоукросс. Агент взялся за нее по рекомендации одного из

своих авторов, который вел колонку в газете «Виргиния пайлот», где Эйб работал редактором летного отдела. Рукопись уже отвергли семь издателей по семи разным причинам.

В тот вечер Дэвид Шоукросс, вернувшись к себе в отель «Алгонкин», подсунул под спину полдюжины подушек, повернул поудобнее лампу и разложил курительные принадлежности. Сдвинув очки на кончик носа, он пристроил рукопись в синей папке себе на живот. Когда он переворачивал страницы, сигарный пепел обильно сыпался ему на грудь. Ярый курильщик, отличавшийся к тому же большой рассеянностью, Шоукросс повсюду оставлял после себя следы в виде обгоревших спичек, пепла, прожженных дыр, а иногда — и небольших пожаров в корзине для мусора.

В четыре часа утра он дочитал роман Абрахама Кейди «Братья» до конца. В глазах у него стояли слезы.

Эйб перевел дух и вошел в вестибюль отеля «Алгонкин» — знаменитого прибежища писателей и актеров. Дрожанием голоса он спросил, где остановился мистер Шоукросс.

— Войдите, — услышал он, постучав в дверь номера 408.

Полный, румяный, безупречно одетый англичанин помог ему снять плащ и повесил его на вешалку.

— Да вы совсем еще мальчик, — сказал он, плюхнувшись в кресло, перед которым на журнальном столике лежала рукопись. Он перелистал несколько страниц, посыпая их пеплом, потом поднял глаза на молодого человека, забившегося в угол дивана, и снял очки.

— На одного писателя приходится по миллиону несостоявшихся авторов, — сказал он. — И это только потому, что они слишком упрямы и слишком влюблены в свой текст, чтобы слушать советы. Так вот, на мой взгляд, то, что у вас здесь есть, подает кое-какие надежды, но требует работы.

— Я пришел, чтобы выслушать вас, мистер Шоукросс. Я постараюсь не быть особенно упрямым, но, может быть, я и упряма, не знаю.

Шоукросс улыбнулся: похоже, что парень с головой.

— Я поработаю с вами несколько дней. А остальное будет зависеть от вас.

— Благодарю вас, сэр. Я взял отпуск в газете на случай, если вам понадобится.

— Должен вас предупредить, Кейди, что я делал такие попытки много раз, но далеко не всегда они были успешными. Большая часть авторов не выносит критики. Другие относятся к ней спокойно и как будто понимают, что я хочу сказать, но им не хватает умения сделать то, что нужно, и довести текст до кондиции. Все это очень и очень трудно.

— Попробуйте поверить, что я справлюсь, — сказал Эйб.

— Отлично. Я снял для вас номер на этом этаже. Идите и разложите свои вещи, а потом приступим.

Для Абрахама Кейди это было просто наслаждение. Дэвид Шоукросс продемонстрировал все свои качества, благодаря которым он по праву считался одним из лучших в мире редакторов. Он не переписывал Кейди, а добивался, чтобы тот сам сделал все, на что способен. Большинство авторов не может научиться правильно строить повествование. Загнать героя на дерево и отпилить сук, по которому он туда залез, найти нужный темп, закончить главу в самом захватывающем месте. Переписывать целые куски заново — для всех начинающих авторов это настоящая пытка. Использовать многозначительные детали — в двух строчках обрисовать ситуацию, которую можно было бы размазать на несколько глав. Высказывать собственные мысли, но исподволь, чтобы проповедь не мешала развитию действия.

А самое главное вообще известно мало кому из романистов. Автор должен заранее знать, о чем у него пойдет речь в последней главе, и, так или иначе, понемногу подводить к этому читателя на протяжении всей книги. Слишком часто писатель, начав с хорошей идеи, пронесит ее лишь через первые несколько глав, а потом все разваливается, потому что он просто не знает, где же у этой горы вершина.

Все эти три дня Абрахам Кейди внимательно слушал и спокойно, без обиды, переспрашивал. Вернувшись в Норфолк, он принялся переписывать роман. Переписывать, переписывать и еще раз переписывать — вот что, по словам Шоукросса, отличает настоящего писателя от несостоявшегося автора.

Морис позвонил ему в редакцию.

— Эйб, тут тебе пришла телеграмма.

— Прочитай ее, папа.

— Хорошо. Тут говорится: «Рукопись получил и прочел. Хорошая работа. Буду рад напечатать ее немедленно. Поздравляю и желаю всего наилучшего». И подпись — Дэвид Шоукросс.

Роман Абрахама «Братья» встретил в Англии отличный прием. Старик Шоукросс в очередной раз выиграл, поставив на темную лошадку. Сюжет был несложен, автор еще не слишком опытен, но книга задевала за живое. Из романа следовал вывод, что западные страны предали республиканскую Испанию и что поэтому вскоре будет большая война. За дипломатическое бесстыдство будет заплачено кровью миллионов англичан, французов и американцев.

В Америке «Братьев» выпустило издательство, которое первоначально отвергло книгу (на том основании, что она не содержит никакой важной идеи), и она получила еще более горячее признание, потому что вышла как раз накануне Второй мировой войны.

4

«После мюнхенского сговора папа изо всех сил старался вызволить наших родственников из Польши, но это было невозможно. Кроме его отца и двух братьев, там оставалось еще около тридцати двоюродных братьев и сестер, теток и дядей. А потом Германия напала на Польшу. Это был кошмар. Мы ненадолго вздохнули с облегчением, когда Советский Союз занял восточную половину Польши, где находилось местечко Продно. Но когда Германия напала на Россию и в Продно пришли немцы, никаких надежд больше не осталось.

Отношение папы к фашизму за это время изменилось. Гибель Бена и страх за своих родственников сделали из него борца. Когда я решил отправиться на войну, я знал, что для родителей это будет тяжелым ударом. Но ждать я не мог.

Осенью 1941 года я вступил добровольцем в Королевский воздушный флот Канады, чтобы попасть в Англию и присоединиться к эскадрилье «Орел», состоявшей из добровольцев-американцев. Как и в эскадрилье Бена в Испании, здесь собрались отчаянные ребята. Многие вскоре стали знаменитыми асами-истребителями. Самое смешное то, что кое-кого из них уволили из авиации США за неспособность летать.

Папа пытался возражать, говоря, что Америка скоро тоже вступит в войну, так что нет смысла ехать куда-то искать неприятностей на свою голову. С мамой было еще хуже: она боялась, что потеряет и второго своего сына. Но в конце концов они оба сдались. Папа признался, что гордится мной, а мама только твердила: «Ты все-таки там поосторожнее. Не рвись в герои».

Мне было сильно не по себе, когда я в последний раз расцеловал их и сел в поезд, уходящий в Торонто. А через несколько месяцев после того, как я начал учиться летать на истребителе «спитфайр», японцы напали на Пёрл-Харбор».

19 августа 1942 года

Семь тысяч канадцев и английских командос высадились на берег около французского морского курорта Дьепп для рекогносцировки, чтобы испытать на прочность береговую оборону немцев.

Саперы, шедшие вслед за пехотой, захватили и заклепали несколько крупнокалиберных германских орудий, однако очень скоро положение десанта стало ухудшаться. Один из его флангов попал под обстрел германского флота, а в центре канадские танки застряли перед крутым береговым обрывом, и германская контратака закончилась полным разгромом десанта.

В небе вихрем крутилось множество «спитфайров» и «мессершмиттов». Чтобы прикрыть прижатые к берегу части, подошли на бреющем полете новые самолеты союзников, и в их числе — американская эскадрилья «Орел». Для ее самого молодого пилота — двадцатидвухлетнего Абрахама Кейди это был пятый боевой вылет. Когда у них подходили к концу горючее и боезапас, они улетали назад, в Англию, на дозаправку и дозагрузку, а потом возвращались в бой, пытаясь сдержать германские контратаки.

Эйб уже в третий раз за этот день вылетел к Дьеппу. Пронсясь над самыми верхушками деревьев, он снова и снова пикировал на роту немцев, медленно выдвигавшуюся из леса.

Связь работала плохо, эскадрильи разлетелись по всему небу, и пилотам становилось все труднее предупреждать товарищей о грозящей опасности. Каждый сражался в одиночку.

Эйб спикировал на мост и расстрелял находившуюся на нем пехоту противника. В этот момент из-за облака на него обрушилась тройка «мессершмиттов». Он сразу отвернул в сторону, пытаясь уйти от них, и это ему почти удалось, но тут самолет вдруг затрясло — в него угодила пулеметная очередь. Штурвал вырвался у него из рук, и самолет начал валиться в штопор. Эйб изо всех сил старался заставить его слушаться, но машина беспомощно кувыркалась в воздухе, словно бумажный голубь во время бури.

«Господи Иисусе! Мне раскорезили весь хвост. Прыгать? Ну нет, только не над морем. Попробую дотянуть до Англии. Господи, дай мне хотя бы полчаса!»

— «Зенит», «Зенит», это «Волк-два». Аварийный вызов. У меня прямое попадание.

— Привет, «Волк-два». Это «Зенит». И что вы намерены предпринять?

«Вот сукин сын!»

Сзади него вдруг вынырнул «мессершмитт». Эйб напряг последние силы и потянул штурвал на себя до отказа. Самолет задрал нос и потерял скорость. Немецкий летчик, которого этот маневр застал врасплох, не успел его повторить и проскочил вперед. Эйб выровнял машину и нажал на гашетку.

— Есть! Готов!

«Только бы продержаться! Слава Богу — английский берег. Господи, высота мала. Легче, родной мой, легче, у меня уже руки отнимаются!»

Он круто повернул и лег на курс вдоль берега.

— Эй, «Волк-два»! Это аэродром Дрюри. Мы вас видим. Рекомендуем прыгать.

— Не могу — высоты не хватает. Попробую его посадить.

— Посадку разрешаем.

На аэродроме Дрюри завывли сирены и началась суета. Пять пожарных автомобилей, «скорая помощь» и машина спасателей выстроились рядом с взлетно-посадочной полосой. Подбитая машина, кренясь набок, приближалась.

— Бедняга, он и вправду потерял управление.

— Держись, янки!

«Ох, не нравится мне этот крен. Совсем не нравится... Давай, родной мой, вон уже полоса, не промахнись. Молодец. Теперь держи прямо».

Триста метров, двести, заглушить мотор, планировать, планировать...

— Смотрите, что этот парень выделявает!

«Скорее, земля, дай на тебя опереться! Скорее, земля! Господи, что там еще? Шасси не выходит!»

«Спитфайр» плюхнулся брюхом на землю и пополз боком, высекая искры из бетона. В последнее мгновение Эйб сумел отвернуть от ангаров, и самолет вынесло за пределы аэродрома, в рошу, где он, сломав несколько деревьев, остановился. Сирены спасателей приближались. Эйб откинул колпак кабины и вылез на крыло. И тут, после секундной тишины, раздался страшный взрыв, и самолет окутал огненный смерч.

5

«О Господи! Я умер! Точно — умер! Господи! Я ничего не вижу! Я не могу двинуться! И в голове — какой-то туман...»

— Помогите! — закричал Эйб что было сил.

Из темноты послышался женский голос:

— Лейтенант Кейди, вы меня слышите?

— Помогите! — снова закричал он. — Где я? Что со мной?

— Лейтенант Кейди, если вы меня слышите, скажите.

— Слышу, — прохрипел он.

— Я сестра Грейс, вы в госпитале около Бата. Вы тяжело ранены.

— Я ослеп. Господи Боже, я ослеп!

— Постарайтесь взять себя в руки, тогда я смогу с вами разговаривать.

— Дотроньтесь до меня, чтобы я знал, что вы тут.

Ощувив ее прикосновение, Эйб заставил себя немного успокоиться.

— Вы перенесли тяжелую операцию, — сказала сестра, — и лежите в повязках с головы до ног. Не пугайтесь из-за того, что вы ничего не видите и не можете шевельнуться. Я сейчас позову врача, он вам все объяснит.

— Прощу вас, не уходите надолго.

— Сейчас приду. А вы пока лежите спокойно.

Он старался дышать как можно глубже, но все равно его трясло от страха. Сердце бешено заколотилось, когда он услышал приближающиеся шаги.

— Значит, проснулись? — произнес властный голос с английским выговором. — Я доктор Финчли.

— Скажите мне, доктор, — я ослеп?

— Нет, — ответил врач. — Вы еще под действием снотворного, поэтому у вас немного путаются мысли. Вы меня понимаете?

— Да, я немного не в себе, но понимаю.

— Так вот, — сказал Финчли, присаживаясь на край кровати. — Вы потеряли зрение на правый глаз, но другой глаз мы сможем спасти.

— Вы уверены?

— Да, вполне уверены.

— Что со мной случилось?

— Постараюсь объяснить вам попроще. Ваш самолет взорвался сразу после того, как вы врезались в рощу. Вы только успели выбраться на крыло и в момент взрыва закрыли лицо руками.

— Это я еще помню.

— Главный удар приняли на себя ваши руки — их тыльная сторона сильно обгорела. Ожог третьей степени. Там на каждой руке есть по четыре сухожилия — они, как резиновые жгуты, идут от запястья к пальцам. Вероятно, они у вас повреждены. Если ожоги будут плохо заживать, нам придется сделать пересадку кожи, а если повреждены сухожилия, — то пересадить и их. Вы меня понимаете?

— Да, сэр.

— В любом случае мы сможем добиться, чтобы вы снова владели обеими руками. Возможно, для этого понадобится немало времени, но операции по пересадке кожи и сухожилий у нас проходят весьма, весьма успешно.

— А что с глазами? — прошептал Эйб.

— При взрыве несколько мелких осколков попали вам в глаза и повредили роговицу. Это такая тонкая пленка, которая покрывает глазное яблоко. Так вот, каждый глаз заполнен веществом вроде яичного белка — оно, как воздух в автомобильной шине, не дает главному яблоку схлопнуться. В ваш правый глаз осколки проникли глубоко, эта жидкость вытекла, и глазное яблоко сжалось. Что касается другого глаза, то он цел, если не считать поврежденной роговицы.

— Когда я узнаю, смогу ли я им видеть?

— Я обещаю вам, что левым глазом вы видеть будете. Мы позволим вам открывать глаз на несколько минут каждый день, во время перевязки.

— О'кей, — сказал Эйб. — Я буду вести себя примерно. И... спасибо, доктор.

— Не за что. Ваш издатель мистер Шоукросс ждет здесь уже почти три дня.

— Давайте его сюда, — сказал Эйб.

— Ну, вы молодец, Эйб, — услышал он голос Шоукросса. — Говорят, вы проделывали прямо акробатические штуки, когда летели назад над проливом, и не всякому удалось бы сесть с поврежденным шасси, да еще вернуться от ангаров.

— Еще бы, я же чертовски хороший пилот.

— Ничего, если я закурю, доктор?

— Пожалуйста.

Эйбу было приятно ощутить аромат сигары Шоукросса. Он напомнил о тех днях в Нью-Йорке, когда они круглыми сутками работали над его рукописью.

— Мои родители про все это знают?

— Я уговорил врачей не сообщать ничего вашему отцу и матери до тех пор, пока вы не сможете сделать это сами.

— Спасибо. Значит, выходит, что я наконец нарвался.

— Нарвался? — переспросил доктор Финчли.

— Это американское выражение, — пояснил Шоукросс. — Оно означает, что ему крепко досталось.

— Я бы сказал, что да.

«Дорогие мама и папа!

Не волнуйтесь из-за того, что это письмо написано не моей рукой. Я не пишу его сам, потому что у меня случилась небольшая неприятность и я немного обжег руки.

Уверяю вас, что, если не считать этого, я чувствую себя хорошо, лежу в прекрасном госпитале и не покалечен навсегда. Даже кормят здесь отлично.

У меня кое-что не заладилось при посадке, ну и так далее. Вероятно, летать я больше не буду, потому что здесь очень придираются к состоянию здоровья.

Это письмо пишет под мою диктовку одна милая молодая дама, она будет рада делать это через каждые несколько дней.

Главное — не волнуйтесь ни минуты.

*Ваш преданный сын
Эйб».*

«„Терпение“...

Если я еще когда-нибудь это услышу, я не выдержу. «Терпение, — говорят они мне по двадцать раз в день. — Терпение».

Я неподвижно лежу на спине в полной темноте. Когда действие обезболивающих кончается, боль в моих руках становится невыносимой. Я играю в разные игры. Я мысленно играю в бейсбол и воспроизвожу целиком весь матч, подачу за подачей.

Я думаю о женщинах, с которыми спал. Я еще совсем молодой, так что двенадцать — это не так уж плохо. Но имен большинства из них я припомнить не могу.

Я думаю о Бене. Господи, как мне не хватает Бена. Какой я, оказывается, везучий. Было только три вещи, которые я хотел делать: играть в бейсбол, летать и сочинять. С двумя из них покончено навсегда. А чем я хоть строчку напишу — членом, что ли?

Впрочем, люди здесь просто замечательные. Они носятся со мной, как с фарфоровой куклой. Все, что я должен делать, превращается в сложную задачу. Если кто-нибудь доведет меня до уборной и посадит на унитаз, я управлюсь, но потом кто-то должен меня подтереть. Это очень унижительно.

Каждый день они на несколько минут разматывают бинты, которые опутывают мое тело, словно мумию, и выпускают меня на свободу. Все остальное время мой уцелевший глаз наглухо заклеен. К тому времени, как мне удастся его сфокусировать, они уже начинают снова обматывать меня бинтами. Я постоянно говорю себе, что могло быть и хуже. С каждым днем я вижу предметы немного отчетливее и уже могу чуть-чуть двигать руками.

Дэвид Шоукросс приезжает из Лондона раз или два в неделю. Его жена Лоррейн неизменно привозит с собой пакет еды. Она как моя мама. Я знаю, что ей это обходится в драгоценные талоны продуктовой карточки, и пытаюсь убедить ее, что меня и без этого кормят, как короля.

Как я радуюсь запаху этой вонючей сигары! Шоукросс почти забросил свои издательские дела, он теперь работает в правительстве — разрабатывает программу книгообмена с русскими. Его рассказы о том, как ведут себя эти параноики из советского посольства, — просто умора.

Товарищи время от времени навещают меня, но для них это далековато. Эскадрилью «Орел» передали из Королевского

воздушного флота Великобритании в авиацию США. Так что я сейчас и не знаю, в какой армии служу. Впрочем, от моей службы теперь все равно мало пользы.

Проходит месяц. «Терпение», — говорят мне. Господи, как я ненавижу это слово! Скоро они начнут пересадки кожи.

Потом кое-что произошло, и после этого дни перестали казаться такими долгими и мучительными. Ее зовут Саманта Линстед, ее отец — землевладелец, ему принадлежит старинное поместье неподалеку от Бата. Саманте двадцать лет, она добровольно пошла работать в Красный Крест. Сначала она только писала под мою диктовку письма и обтирала меня губкой, но потом мы стали подолгу разговаривать, и очень скоро она принесла мне свой патефон, кое-какие пластинки и радиоприемник. Она проводит у меня в палате почти целый день — кормит, держит мне сигарету и много читает вслух.

Может человек влюбиться в голос?

Я еще ни разу ее не видел. Она всегда приходит после моих утренних перевязок. Все, что я знаю, — это ее голос. Половину времени провожу, пытаясь представить себе, как она выглядит. Она утверждает, что совсем некрасива.

Примерно через неделю после ее появления я уже мог немного прогуливаться по территории госпиталя, если она вела меня под руку. А потом я стал ощущать ее прикосновения все чаще и чаще».

— Зажги-ка мне сигарету, Саманта, — попросил Эйб.

Саманта села рядом с кроватью, осторожно держа сигарету, чтобы он мог затягиваться. Когда он докурил, она погасила сигарету, просунула руку ему под пижаму и едва ощутимо погладила ему грудь кончиками пальцев.

— Саманта, я вот о чем подумал. Может быть, тебе лучше ко мне больше не приходить? — Она отдернула руку. — Мне не очень приятно, когда меня жалеют.

— Ты думаешь, я поэтому сюда прихожу?

— Когда день и ночь лежишь в темноте, что только не приходит в голову. Кое-что начинаешь воспринимать серьезнее, чем следует. Ты замечательный человек и не должна стать жертвой моих фантазий.

— Эйб, ты не понимаешь, как мне здесь с тобой хорошо. Может быть, когда мы увидим друг друга, я стану тебе без-

различна, но пока я не хочу ничего менять. Ты от меня так просто не отделаешься.

Автомобиль Саманты въехал на аллею, которая вела к Линстед-Холлу — небольшому помещицкому домику двухсотлетней давности. Шины зашуршали по гравию, потом машина остановилась.

— Вот мама и папа. Познакомьтесь, это Эйб. Его не очень видно под всеми бинтами, но на фотографиях он ничего себе.

— Добро пожаловать в Линстед-Холл, — сказал Дональд Линстед.

— Простите, что я не снимаю перчаток, — отозвался Эйб, показывая свои перевязанные руки.

Осторожно ведя его под руку, Саманта прошла с ним через рощу, усадила на поляне, откуда открывался вид на дом, и стала рассказывать, что отсюда видно.

— Пахнет коровами, и лошадьми, и дымком, и какими-то цветами. Должно быть, тут очень красиво. Только я не знаю, что за цветы.

— Это вереск и розы, а дым — от горящего торфа.

«Ах, Эйб! — подумала она. — Я люблю тебя».

Во время своего третьего визита в Линстед-Холл Эйб сообщил его обитателям радостную новость: теперь ему будут на несколько часов в день снимать с глаз повязку.

Когда они пошли гулять, Саманта заметно нервничала. Когда человек ничего не видит, он все воспринимает острее. Ее голос звучал как-то иначе, в нем слышалось напряжение.

День был долгий, и Эйб устал. Из деревни пришел фельдшер, чтобы искупать его и переодеть. После этого он растянулся в постели, недовольно ворча: его раздражали повязки на руках. «Терпение!» Когда же он сможет сам побриться, высморкаться, почистить?

Когда он сможет увидеть Саманту?

Он услышал, как открылась и закрылась дверь, и понял, что это она.

— Надеюсь, я тебя не разбудила?

— Нет.

Скрипнула кровать — она села рядом с ним.

— Вот будет здорово, когда тебе наконец снимут эту повязку с глаз. То есть с глаза. Ты просто герой.

— Как будто я мог выбирать. По крайней мере, теперь я знаю, что такое смирение.

Эйб услышал, как она тихо всхлипнула. Ему захотелось протянуть руки и потрогать ее — ему уже сто раз этого хотелось. Какова она на ощупь? Большая у нее грудь или маленькая? Мягкие ли у нее волосы? Чувственные ли губы?

— Почему ты плачешь?

— Не знаю.

Оба они знали почему. По невеселому капризу судьбы они пережили нечто совершенно небывалое, но теперь этому вот-вот придет конец, и ни он, ни она не знали, окажется ли этот конец окончательным или станет новым началом. Саманта боялась, что он от нее отвернется.

Она прилегла рядом с ним, как часто делала во время их прогулок, и ее пальцы расстегнули ему рубашку. Она прижалась щекой к его груди, а потом ее руки и губы легкими движениями пробежали по всему его телу.

— Я говорила с врачом. Он сказал мне, что можно.

Он почувствовал ее руку между ног.

— Лежи спокойно, я все сделаю.

Она раздела его, разделась сама и заперла дверь.

О, эта непроницаемая тьма! Из-за нее все ощущения были необыкновенно яркими — легкие прикосновения, поцелуи, легкие, словно пух, волосы. Саманта неистовствовала все больше, и он целиком отдался ее воле.

Потом она поплакала и сказала, что в жизни не была так счастлива, а Эйб сказал, что вообще-то у него это получалось и лучше, но если учесть все обстоятельства, то он очень рад, что хоть какая-то его часть годится в дело. И они стали говорить всякие любовные глупости и смеяться, потому что это было действительно смешно.

7

Телефон сердито звонил и звонил. Дэвид Шоукросс нащупал ночник, зевнул и сел.

— Господи Боже! — проворчал он. — Три часа утра. Алло!

— Мистер Шоукросс?

— Да, Шоукросс.

— Говорит сержант Ричардсон из военной полиции, отделение на Мерилебон-Лейн.

— Ричардсон, помилуйте, сейчас три часа ночи. В чем дело?

— Извините, что побеспокоил вас, сэр. Мы тут задержали одного офицера, летчика, лейтенанта Абрахама Кейди. По буквам: К-Е-Й-Д-И.

— Эйб в Лондоне?

— Да, сэр. Он был несколько нетрезв, когда мы его задержали. Пьян, как чушка, если мне будет позволено так выразиться.

— С ним все в порядке, Ричардсон?

— Ну, более или менее, сэр. У него к кителю была припилена записка. Можно я ее прочту?

— Да, конечно.

— «Меня зовут Абрахам Кейди. Если вам покажется, что я пьян, не верьте своим глазам. Это приступ кессонной болезни, последствие подземных работ по секретному проекту. Мне необходима медленная декомпрессия. Доставьте мое тело по адресу: Камберленд-Террас 77, Дэвиду Шоукроссу». Вы заберете его, мистер Шоукросс? Мы не хотели бы возбуждать против него дело — все-таки человек только что из госпиталя и все такое.

— Возбуждать дело? А за что?

— Видите ли, сэр, когда мы его взяли, он плавал в фонтане на Трафальгар-сквер. Голый.

— Везите паршивца сюда, я его заберу.

— Значит, изображали из себя германскую подлодку, да? И подняли перископ посреди нашего знаменитого фонтана? — поддразнивал его Шоукросс. — Ну, знаете ли, Абрахам...

Эйб застонал и налил себе еще чашку черного кофе. По крайней мере, англичане называют это кофе. Бр-р-р!

— Шоукросс, погасите вашу проклятую сигару. Неужели вы не видите, что я умираю?

— Еще кофе? — спросила Лоррейн.

— О Боже, нет. То есть нет, спасибо.

Она позвонила в колокольчик и помогла горничной убрать посуду.

— Я должна бежать. Очереди все еще ужасные, а мне надо запастись продуктами. Завтра приезжают из Манчестера дети. — Она торопливо поцеловала Эйба в щеку. — Надеюсь, что теперь вы чувствуете себя лучше, мой милый.

Когда она ушла, Дэвид ворчливым тоном сказал:

— Вообще-то я люблю своих внучат, как и положено всякому деду, но, откровенно говоря, они ужасно избалованы. Я постоянно пишу Пэм, как опасно здесь, в Лондоне, но она ни черта не слушает. Впрочем, я всерьез подумываю о том, чтобы после войны принять Джеффа в дело. Ну, так что там за история с вами и этой вашей девушкой — как ее?

— Линстед. Саманта Линстед.

— Вы влюблены в нее или что?

— Не знаю. Ни разу ее не видел. Я спал с ней, но ни разу ее не видел и даже не трогал.

— Ну, тут нет ничего удивительного. Влюбленные всегда в том или ином смысле слепы. Я ее видел. Довольно привлекательная — такой спортивный тип. Крепкого сложения девушка.

— Она перестала ходить ко мне в госпиталь, когда мне сняли с глаз повязку. Боялась мне не понравиться. Я в жизни не чувствовал себя таким дьявольски несчастным. Хотел было отправиться к ним, вышибить дверь и потребовать, чтобы мне ее выдали, но потом передумал. А что, если она на самом деле уродина? А что, если она поглядит на меня при дневном свете и одумается? Глупо, правда?

— Очень. Ну, рано или поздно вам все равно придется взглянуть друг на друга. А пока — есть у вас какая-нибудь компания, в которой вы могли бы забыть Саманту?

— Нет, я давно не был в Лондоне. Вчера вечером стал звонить своим прежним знакомым, и из первых четырех две замужем, одна беременна, а у четвертой к телефону подошел какой-то мужчина.

— Ну-ка, посмотрим, — сказал Шоукросс, запустив толстые пальцы в жилетный карман и вытащив записную книжку. Листая ее, он несколько раз что-то одобрительно промышчал. — Давайте встретимся за обедом в «Мирабелле» в два часа. Что-нибудь придумаем.

Абрахам Кейди, протрезвевший и пришедший в себя, свернул на Керзон-стрит и вошел в уютное святилище ресторана «Мирабелла». Его встретил метрдотель. Эйб на секунду остановился и бросил взгляд в дальний конец зала, где обычно сидел Шоукросс. Тот был с какой-то рыжеволосой. На вид — настоящая англичанка. Недурная фигура, на-

сколько можно видеть. И выглядит не совсем душой. Явно нервничает. Это нормально: все они нервничают перед тем, как познакомиться с писателем, а потом обычно разочаровываются. Они думают, что блестящий ум писателя должен породить исключительно жемчужины мысли.

— А, Абрахам, — сказал Шоукросс, выбираясь из-за столика. — Познакомьтесь — Синтия Грин. Синтия — секретарь одного из моих коллег по издательскому делу и поклонница вашей книги.

Эйб взял руку девушки и тепло пожал ее, как всегда пожимал руку женщинам. Рука была немного влажной от волнения, но ответила крепким пожатием. Рукопожатие всегда о многом говорило Эйбу. Он терпеть не мог, когда рука, протянутая женщиной, оказывалась мокрой и вялой, словно рыба. «Неплохо сработано, Шоукросс», — подумал он.

Девушка улыбнулась ему. Игра началась. Он сел за стол.

— Официант, принесите моему другу чего-нибудь опохмелиться.

— Виски со льдом, — заказал Эйб.

Шоукросс заметил, что лед — это варварство, а Эйб в ответ рассказал про одну свою знакомую англичанку, которая выпивает каждый Божий день по бутылке шотландского виски, но никогда не кладет в него лед, потому что боится испортить себе печень.

— Ваше здоровье.

Прихлебывая виски, они стали просматривать скудное меню военного времени, а Эйб втихомолку разглядывал мисс Грин.

Первое, что ему в ней понравилось — не считая внешности и крепкого рукопожатия, — это то, что она явно хорошо воспитанная англичанка и помалкивает. Внутри каждой женщины прячется вулкан, но у одних он помимо их желания непрерывно изливает через рот бесконечный поток болтовни, а у других дремлет и извергается только в нужный момент и так, как нужно. Эйбу нравились молчаливые женщины.

Подошедший к ним человек в форме капитана передал Дэвиду Шоукроссу записку. Тот поправил очки и недовольно сказал:

— Я понимаю, это будет выглядеть, как заранее подготовленная уловка, чтобы оставить вас наедине, но меня просят приехать русские. Невежи проклятые. Так что попытайтесь

тесь управиться без меня. И не вздумайте переманить моего автора в ваше издательство. Он скоро напишет хорошую книгу.

Они остались одни.

— Вы давно знакомы с Шоукроссом? — спросил Эйб.

— С тех пор, как он начал ездить в госпиталь навещать одного раненого.

Этот голос он не мог не узнать.

— Саманта!

— Да, Эйб.

— Саманта!

— Мистер Шоукросс любит тебя, как сына. Он позвонил мне сегодня утром и сказал, что ты полночи плакал. Прости, что я тогда сбежала. А теперь вот я здесь. Я знаю, ты ужасно разочарован.

— Нет... Нет... Ты такая красивая!

8

Сидя на поляне, Эйб и Саманта смотрели, как над ними волна за волной пролетают самолеты, направляющиеся на континент. Все небо было черно от неуклюжих бомбовозов и прикрывающих их стоек истребителей. Когда последняя волна скрылась за горизонтом, наступила тишина и небо снова стало голубым. Эйб задумчиво глядел на Линстед-Холл.

Госпиталь дал ему отпуск при условии, что он дважды в неделю будет являться на процедуры. Кроме того, доктор Финчли настоятельно рекомендовал ему держаться подальше от Лондона. Эйб чувствовал, что пребывание в Линстед-Холле, с его запахами вереска и конского навоза, идет ему на пользу. Но ежедневно пролетавшие над ними самолеты постоянно напоминали, что где-то там идет война.

— Ты стал такой задумчивый, — сказала Саманта.

— Война обходит меня стороной, — ответил он.

— Я знаю, тебе не сидится на месте. Но может быть, в конечном счете тебе суждено было стать именно писателем. Я знаю, что у тебя в голове вертится книга.

— Руки мешают. Начинают болеть уже через несколько минут. Возможно, придется сделать еще одну операцию.

— Эйб, а ты никогда не думал о том, что я могу стать твоими руками?

— Не знаю, можно ли таким способом написать книгу... Просто не знаю.

— А может быть, попробуем?

Это вернуло Абрахама к жизни. На первых порах получалось плохо — он не привык посвящать других в свои творческие муки. Но с каждым днем он приучался мыслить все более четко и вскоре уже мог диктовать часами напролет.

Когда отпуск кончился, Эйба демобилизовали, и после прощальной пирушки со старыми товарищами в офицерском клубе он переехал в Линстед-Холл, чтобы писать.

Саманта стала его молчаливой помощницей и привилегированной свидетельницей уникального творческого процесса — создания романа. Она видела, как Эйб, забывая о реальной действительности, с головой погружается в другой мир, который творит сам и по которому странствует в одиночестве. В этом не было никакого волшебства, никакого вдохновения, которого люди обычно ждут от писателя. Был только упорный труд, требующий особой сосредоточенности и силы воли, — вот почему на свете так мало настоящих писателей. Конечно, бывали и такие минуты, когда все само собой укладывалось в нужный ритм или — еще реже — когда творческое воображение несло его, словно на крыльях. Но чаще всего Саманта видела сомнения, муки, нервные срывы и изнеможение, когда у него просто не оставалось сил поеть или раздеться.

А за кулисами постоянно находился Дэвид Шоукросс. У него была счастливая способность: он всегда точно знал, когда Эйбу надо отключиться и отвести душу в Лондоне — напиться как следует, прополоскать мозги и снова сесть за чистый лист бумаги. Он говорил Саманте, что Эйб владеет главным ключом к величию — он не только отдает себе отчет в своем литературном таланте, но и понимает, в чем его слабые стороны. Шоукросс говорил, что мало кто из писателей способен к такому самоанализу, потому что они все слишком тщеславны, чтобы признать свои недостатки. В этом и заключалась сила Абрахама Кейди, и свою вторую книгу он писал более уверенно. Ему еще не было и тридцати, а писал он так, словно ему шестьдесят.

Книга, которую он назвал «Жестянка» (так прозвали летчики самолет «тандерболт»), представляла собой безыскус-

ный рассказ на классическую тему — о людях на войне. Ее героем был генерал-майор Винсент Бертелли, бывший уличный хулиган, итало-американец во втором поколении. Став офицером в начале 30-х, он быстро выдвинулся во время войны, в которой авиация играла такую большую роль. Это был неумолимый и на вид бесчувственный человек, всегда готовый пойти на тяжелые потери в опасных налетах, руководствуясь принципом «война есть война».

Сын генерала Сэл командовал эскадрилей под его началом. Свою взаимную глубокую любовь они оба скрывали под видимостью ненависти.

Генерал Бертелли планирует операцию, в которой эскадрилья его сына отводится самоубийственная роль. О гибели Сэла сообщает ему Барни, единственный оставшийся в живых из всей эскадрильи. Бертелли выслушивает его, не проявляя никаких эмоций, и получает от Барни плевков в лицо.

— Вы устали, — говорит генерал. — Я готов об этом забыть.

Барни поворачивается, чтобы уйти.

— Барни! — останавливает его генерал. Ему очень хочется показать Барни свой приказ об откомандировании сына в другую часть и рассказать, как он умолял Сэла уехать. Но юноша отказался, хотя все знали, что он переутомлен.

— Впрочем, не важно, — говорит генерал Бертелли. И вдруг Барни все понимает.

— Простите меня, сэр. Он просто хотел еще раз проверить себя, у него не было другого выбора.

— В этой сволочной войне, — говорит генерал, — кого-нибудь всегда убивают. Идите, отдохните, Барни. Через несколько часов у вас новый вылет. Хорошая цель — база подлодок.

Дверь закрывается. Генерал Бертелли открывает верхний ящик стола и кладет в рот таблетку нитроглицерина — он чувствует, что вот-вот начнется приступ.

— Сэл, — говорит он, — я же любил тебя. Почему я так и не мог тебе об этом сказать?

— Конец, — охрипшим голосом произнес Эйб. Он стоял за спиной Саманты и смотрел, как она печатала это упоительное слово.

— Ах, Эйб! — воскликнула она. — Это замечательно!

— Принеси-ка мне выпить, — сказал он.

Когда она вышла, он сел за машинку и стал тыкать в клавиши непослушными пальцами:

«Посвящается Саманте с любовью».

И дальше:

«Пойдешь за меня замуж?»

9

Мало-помалу руки Эйба слушались его все лучше. Отсутствующий глаз закрыла черная повязка. Одноглазый орел с перебитым крылом, он все еще оставался орлом. После демобилизации и выхода в свет «Жестянки», которая расходилась очень хорошо, он поступил на работу в лондонское агентство новостей Юнайтед Пресс.

Лондон был тогда полон жизни. Здесь, в городе, расцветном флагами союзников, Британской империи и правительств в изгнании, билось сердце свободного мира, который готовился обрушиться на оккупированные страны континента, сознавая величие своей миссии. Давно рассеялся дым от пожаров в разбомбленном центре. Позади были ночи, проведенные в метро, хотя все еще оставались вечные английские очереди, баррикады из мешков с песком перед витринами, аэростаты воздушного заграждения и затемнение, а потом появились еще и немецкие самолеты-снаряды.

Линстеды издавна владели небольшим домом в Лондоне, на Колчестер-Мьюз, рядом с Челси-сквер. На этой улице, позади величественных пятиэтажных домов, окружавших площадь, когда-то располагались каретные сараи и помещения для прислуги. После Первой мировой войны, когда лошади сошли со сцены, сараи перестроили в уютные жилые дома — излюбленное пристанище писателей, музыкантов, актеров и наезжавших в город землевладельцев.

Эйб и Саманта переехали в дом на Колчестер-Мьюз вскоре после свадьбы, которая состоялась в Линстед-Холле. Эйб, которому хотелось вновь найти себе место в этой войне, стал авиационным корреспондентом.

После первых поражений в «Битве за Британию» вся Англия была превращена в огромный аэродром. Британской

авиации принадлежала ночь, а днем хозяином европейского неба была американская 8-я воздушная армия, совершавшая рейды далеко в глубь Германии, теперь уже в сопровождении целых туч истребителей «мустанг».

По ночам Эйб летал на бомбардировщиках «галифакс», а днем — на «летающих крепостях». Он описывал безобидные на первый взгляд дымки разрывающихся зенитных снарядов и круговращение воздушных боев. Он писал о блаженных моментах дремоты в полном изнеможении под колыбельную песню пяти тысяч гудящих моторов. О крови. О разорванном пополам хвостовом стрелке, которого тщетно пытались высвободить из обломков. О длинных дымовых шлейфах и о покалеченных птицах, несущихся к земле. О сентиментальных песенках в баре, об опустевших койках товарищей. О щеголеватых офицерах, обменивающихся короткими фразами на своем профессиональном языке над крупномасштабными картами Германии. И о том, как это выглядит сверху, когда на игрушечные домики немецких городов падает смертоносный груз.

«Через полчаса мы будем над Берлином. За иллюминатором — небо, почерневшее от воздушной армады, похожей на полчища саранчи. Со всех сторон нас прикрывают истребители.

В наушниках слышен торопливый голос:

— Тони, берегись, «мессера» на семь часов.

Под нами завязывается короткий яростный воздушный бой. Из-под красного капота «мустанга» показывается дым, и он кругами падает вниз, к земле, преследуемый «мессершмиттом». Должно быть, наш был новичок: в бою «мессера» далеко уступают «мустангам». А фриц, наверное, хороший пилот, раз он умудрился дожить до сегодняшнего дня. Внизу вспышка — это взорвался «мустанг». Все. Парашюта не было.

Позже я узнал, что наш летчик был студентом второго курса инженерного факультета из Джорджии. Что будет завтра в Атланте, когда придет телеграмма и это горестное известие узнает десяток родных и близких? Он был единственным наследником мужского пола — ему предстояло передать их фамилию следующему поколению.

Фрицы отбиты. Это стоило нам четырех «мустангов» и двух бомбардировщиков. Бомбардировщики умирают медленно. Они корчатся в агонии, тяжело переваливаясь с боку на

бок. Люди в отчаянии рвут кольца парашютов. А потом — взрыв.

Мы уже недалеко от Берлина. Напряжение нарастает. Все начеку, кроме второго пилота, который спит, свернувшись клубком, — так может спать только очень молодой человек.

Мне предлагают взяться за ручку бомбосбрасывателя. Ручки у меня дрожат от радости. Бомбы медленно плывут вниз, словно черный снег, а потом среди полуразрушенного города вырастают оранжевые языки разрывов.

Наша потрепанная армада, прихрамывая, поворачивает обратно. Мне, только что испытывшему такой восторг, становится не по себе. Почему свои самые большие усилия, весь свой талант человек направляет на разрушение?

Я писатель. Под моим пером все это превращается в нравоучительную притчу. Мы здесь, наверху, — белы, словно ангелы. Они там, внизу, — черны, словно дьяволы. Горите в аду, дьяволы!

И тут я задумываюсь о том, кого сегодня убил. Инженера, как тот мальчик из Джорджии? Музыканта, врача? Или ребенка, который еще даже не думал о своем будущем? Бессмысленные потери...»

Саманта положила трубку и огорченно вздохнула. Беременность давалась ей трудно — весь день ее подташнивало. Она поднялась по узкой лестнице в маленькую спальню, где Эйб в полном изнеможении лежал, распростершись на кровати. На секунду ей пришло в голову — может быть, не говорить ему об этом звонке? Но тогда он будет очень сердиться. Она тронула его за плечо.

— Эйб!

— М-м-м...

— Только что звонил командир полка Парсонс из Бридсфорда. Они ждут тебя в четырнадцать ноль-ноль.

«Я это предчувствовал, — подумал Эйб. — Десять против одного, что они полетят бомбить подшипниковый завод под Гамбургом. Потрясающее будет зрелище».

Ночные бомбежки были особенно эффектны — все в контрастном черно-белом освещении, а потом, когда бомбы сброшены, — огненный ковер, покрывающий всю цель. Эйб вскочил с кровати и взглянул на часы. Есть время побриться и принять ванну.

Саманта выглядела усталой и раздраженной. Ее бледность в Лондоне особенно бросалась в глаза.

— Я наберу тебе ванну, — сказала она.

— Ты не обидишься, дорогая, из-за того, что мы с тобой сегодня никуда не пойдём? Это, наверное, будет большой налет, иначе Парсонс не стал бы звонить.

— Нет, обижусь. Но все равно спасибо, что спросил.

— Ну ладно, выкладывай, — раздраженно сказал Эйб.

— Пожалуйста, не говори со мной так, как будто ты полковник и вызвал меня на ковер.

Эйб хмыкнул и запахнул халат.

— Так в чем дело, дорогая?

— Меня уже две недели каждое утро тошнит, но этого, наверное, следовало ожидать. Чтобы не сидеть в четырех стенах, мне остается часами стоять по очередям или кидаться в метро, чтобы спастись от самолета-снаряда. Мы живем впроголодь, и я ужасно скучаю по Линстед-Холлу. Но все это, наверное, можно было бы вытерпеть, если бы я хоть иногда видела собственного мужа. Ты приползаешь домой, пишешь свой репортаж и валишься в постель, пока не позвонит телефон и тебя не позовут в следующий налет. А в те редкие вечера, когда ты остаешься в Лондоне, ты до поздней ночи болтаешь с Дэвидом Шоукроссом или сидишь в каком-нибудь пабе на Флит-стрит.

— Ты кончила?

— Еще нет. Мне все это не нравится и досмерти надоело. Впрочем, тебя это, по-видимому, не волнует.

— Нет, погоди, Саманта. Мне-то кажется, что мы должны быть дьявольски счастливы. Война разлучила пятьдесят миллионов мужчин и женщин, а нам здорово повезло: мы хоть по нескольку часов можем проводить вместе.

— Может быть, и проводили бы, если бы ты не считал своим священным долгом участвовать в каждом налете на Германию.

— Но это моя работа.

— Ну да, все говорят, что это твоя любимая работа. Что ты самый лучший бомбардир во всей нашей авиации.

— Да брось ты, мне просто иногда из вежливости дают подержаться за ручку.

— Парсонс говорит другое. У них теперь хорошая примета, когда с ними летит одноглазый орел — знаменитый Абрахам.

— Боже мой, Саманта, ну как ты не можешь понять? Я ненавижу фашизм. Я ненавижу Гитлера. Я ненавижу то, что немцы сделали с евреями.

— Не кричи на меня! — Саманта сама повысила голос, но тут же поникла и всхлипнула, чувствуя свое бессилие перед неумолимой мужской логикой.

— Это все потому, что мне очень одиноко, — сквозь слезы сказала она.

— Дорогая, я... Я не знаю, что сказать. Одиночество — родной брат войны и родная мать всех писателей. Жена писателя должна переносить его легко и с достоинством, она должна знать, что это будет для него, может быть, самый дорогой подарок.

— Я тебя не понимаю, Эйб.

— Вижу.

— И не делай из меня какую-то бесчувственную дуру. Ведь мы же с тобой смогли пережить то время, когда ты писал свою книгу.

— Тогда я был без рук и оказался в твоей власти. В полной власти. Когда я ничего не видел и мы занимались любовью, это было для тебя самое большое счастье, потому что тогда я тоже принадлежал тебе безраздельно. Но теперь у меня есть и руки и глаза, а ты не хочешь ни с кем меня делить, не хочешь понять, что тоже приняла на себя кое-какие обязанности. А ведь так будет до конца нашей жизни, Саманта. Нам обоим придется приносить что-то в жертву и терпеть одиночество.

— Ты всегда умеешь так все перевернуть, что получается, будто я полное ничтожество.

— Мы с тобой еще только начинаем жить, дорогая. И не сделай ошибки — не пытайся встать между мной и моей работой.

Саманта вернулась в Линстед-Холл. В конце концов, она беременна, а жить в Лондоне не так уж легко. Эйб заверил ее, что все понимает, и снова с головой ушел в свою войну.

Бен Кейди родился в Линстед-Холле в тот день, когда союзники высадились во Франции. Его отец Абрахам в это время что-то писал, примостившись на штурманском столике в бомбардировщике Б-24 «либерейтор», который перебрасывали из Италии для поддержки наступления.

«Никакого Милтона Дж.Мандельбаума в природе не существует, — подумал Эйб. — Это вымышленный герой из скверного романа о Голливуде».

Мандельбаум, молодой «гений»-продюсер из студии «Американ глобал», приехал в Лондон, чтобы договориться о постановке по роману Абрахама Кейди «Жестянка» величайшего фильма всех времен, который покорит сердца зрителей во всем мире.

Он разбил лагерь в гостинице «Савой», в трехкомнатном люксе, в изобилии обеспеченном выпивкой, девицами и всем тем, от чего англичане за пять лет войны успели отвыкнуть. Он предпочел бы еще более роскошный люкс в «Дорчестере», но тот ему не достался: в город понаехала чертова прорва генералов, королей в изгнании и всякой прочей шушеры.

Признанный негодным к военной службе (язва желудка, астматизм и психосоматическая астма), он называл себя «тыловым военным корреспондентом» и заказал самому модному лондонскому портному полдюжины офицерских кителей.

— В конце концов, Эйб, мы же с тобой делаем одно дело, — говорил он.

На это Эйб предложил ему слетать, коли так, на пару бомбежек, чтобы познакомиться с этим делом лично. Но Милтон отклонил его любезное приглашение.

— Кто-то же должен сидеть в лавке и присматривать за делами, — пояснил он.

Милтон не упускал случая упомянуть свой первый фильм, получивший «Оскара», умалчивая при этом, что фильм был снят по рассказу Хемингуэя, над ним работали лучший режиссер и лучший сценарист Голливуда, а сам он большую часть времени пролежал в больнице с язвой. Фактическим продюсером был его ассистент (которого вскоре после выхода фильма уволили за нелояльность).

Он подолгу рассуждал о своих творческих способностях, о своей искренности, о своем значении, о своих женщинах (по большей части знаменитых актрисах), о своем безукоризненном вкусе, о своем остром чувстве сюжета («Если бы только у меня на руках не было студии, я бы снова стал писать, ведь мы же с тобой, Эйб, писатели, мы понимаем, как

важен сюжет»), о своем доме в Беверли-Хиллз (бассейн, девицы, лимузин, девицы, спортивные машины, девицы, прислуга, девицы), о том, сколько у него костюмов, какие он делал экстравагантные подарки (за счет студии), о своей набожности («Когда я установил в синагоге памятную доску в честь моего отца, я выложил лишних пять тысяч на нужды храма»), о людях, с которыми он на «ты», о том, как студия полагается на него, когда надо принимать важные решения, о своих этических принципах, о своем мастерстве в карточных играх — и конечно же о своей скромности.

— Эйб, они у нас будут смеяться, плакать и умирать вместе с этими парнями. Я уже звонил на студию. Хочу заполучить на главную роль Кэри, Кларка или Спенса, — заявил он.

— Погоди-ка, Милт. Спенсер Трейси — еще куда ни шло, но ни Кэри Гранта, ни Кларка Гейбла я как-то не очень представляю себе в роли отца-итальянца.

— Кэри и Кларк не играют никаких отцов. Ты не знаешь актеров, мальчик. Они не любят стареть. Я имел в виду Кэри на роль Барни.

— Кэри Грант в роли двадцатитрехлетнего еврейского парня из нью-йоркских трущоб?

— Нам придется немного обновить сюжет. Вот этот тип Бертелли — в книге он очень мил, но стоит ли сейчас прославлять итальяшек, если мы с ними воюем?

— Да ведь Бертелли родился в Америке...

— Конечно, я это знаю, и ты это знаешь. Но для великого американского Среднего Запада он все равно итальяшка. Если мы вздумаем делать таких людей героями, хозяев студии хватит удар. В конце концов, это они будут финансировать и прокатывать фильм. Есть определенные правила. Не прославлять итальяшек, черномазые всегда должны быть тупыми, как животные, фрицы — комичными, и самое главное — никаких евреев на экране.

— Но ведь Барни — еврей.

— Послушай, Эйб, вот что я тебе скажу со всей откровенностью. Я знаю, что говорю, — на такой же сюжет я сделал свой фильм по Хемингуэю. Не надо, чтобы эта история отца и сына тормозила действие. Я это тебе говорю по своему опыту и честно. Барни как еврей не пойдет.

— Но вся книга написана про двух итальянцев и одного еврея.

— Ну да. Это надо убрать. Это не пойдет. Публика любит ирландцев. Нам нужен здоровенный крутой ирландец и его чудаковатый подручный, вроде Фрэнка Мак-Хью. В роли пилота я вижу Кэри или Джима — Джеймса Кэгни, или Дьюка — Джона Уэйна. Это горячая голова, постоянно на ножах со своим полковником — ярко характерным актером вроде Алана Хейла.

Это продолжалось несколько недель, после чего Эйб сказал:

— Милтон, пойдика ты на...

Кейди не знал одного: Мандельбаум сражался за свое существование. После десятка провалившихся фильмов, огромных и сомнительных счетов за расходы по постановке и скандала с шестнадцатилетней кандидаткой в кинозвезды самозванный столп студии «Америкен глобал» висел на волоске. «Жестянка» должна была стать его спасением. Кейди умел писать. А Мандельбаум не умел редактировать. Здесь, в Лондоне, у него под рукой не было кнопки, чтобы вызвать испытанного и верного сценариста-халтурщика, который перелопатил бы весь сюжет. Приходилось работать с Кейди — иного выхода не оставалось.

Когда Эйб решительно направился к двери, искренний и принципиальный Милтон Мандельбаум сказал:

— Сядь. Мы немного переутомились. Давай поговорим спокойно.

— Да разве можно с тобой разговаривать? Вот такие грязные огрызки вроде тебя и довели своим враньем Голливуд до его нынешнего маразма. Ищи себе другого автора.

— Сядь, Эйб, — прошипел Милтон. — У нас с тобой контракт, мой милый, и если ты начнешь выкидывать такие штуки, то попадешь в черный список на всю жизнь. И не только — ты не сможешь напечатать больше ни одной книги.

— Постой, Милтон, ты же говорил, что, если мне что-то не понравится, то я могу просто встать и уйти.

— Нет, погоди, Кейди. Мне не так просто было тебя протолкнуть. Комитет знает, что твой брат был красным.

— Ах ты, сукин сын!

Он сгрел Мандельбаума за лацканы его офицерского кителя и потряс с такой яростью, что у того слетели очки. Потом он швырнул Милтона на пол, где тот, ползая, как слепой, нащупал очки и, кривясь от боли в желудке, заплакал.

— Эйб, не бросай меня! Мои враги на студии меня съедят. Мы уже вложились на восемьсот тысяч, съемки назначены, актеры ждут, декорации и костюмы готовы. Я всю жизнь боролся за свои принципы, а теперь я в дерьме.

И Эйб остался. Как ни странно, Мандельбаум теперь разрешил ему писать так, как он хочет. Он не знал, что профессор нашел пару халтурщиков, которым заплатил несколько тысяч долларов за то, чтобы они за спиной Эйба переписывали сценарий — брали написанные им эпизоды и переделывали их в соответствии с бредовыми указаниями Мандельбаума.

Закончив сценарий, Эйб испытал огромное облегчение.

— Каждый великий сценарий, каждый великий фильм написан потом и кровью, — поучал его Милтон Дж. Мандельбаум. — Конечно, у нас иногда бывали размолвки — любовники тоже иногда ссорятся. Нет, Эйб, тебе лучше бы не появляться на съемочной площадке. Твое дело сделано. Теперь твой пас приняли мы. Режиссеры очень нервничают, когда поблизости болтается автор. Это же настоящие примадонны, черт бы их взял. Но... без них не обойтись. Ведь актеры ничего не понимают. А с автором никто из них не может обращаться так уважительно, как я.

К счастью, название фильма было изменено — теперь это был «Орлиный клекот». Никому и в голову не пришло, что он сделан по мотивам романа Кейди: Эйб втихомолку снял свое имя из титров. Фильм принес немалую прибыль — в те дни приносил прибыль любой воздушный бой с участием Флинна или Кэгни. И Мандельбаум, ободренный успехом, продолжал свою славную карьеру.

11

«Я пережил ужасные минуты, когда, вернувшись в Норфолк после войны, понял, что мама и папа уже очень стары. Шаги их стали медленнее, очки толще, в волосах прибавилось седины, и временами они впадали в прострацию. Мама часто называла меня «Беном».

Норфолк стал гораздо меньше. Я так долго здесь отсутствовал, что все оказалось совсем не таким, как в моей памяти. Дом, который я помнил таким большим и просторным, на самом деле был маленьким, а моя комната — крохотной. Все рас-

стояния в городе были небольшими, особенно в сравнении с огромным Лондоном.

Саманта чувствовала себя, словно рыба, вытасченная из воды, и я начал замечать, что ее попытки привыкнуть к Америке были не совсем искренними. Тем не менее мы с радостью предвкушали предстоящую нам новую жизнь. Ребенок, несколько тысяч долларов в банке, собственный автомобиль. Шоукросс выпустил сборник моих очерков военного времени, и публика приняла его лучше, чем мы ожидали.

Так или иначе, нам с Самантой и ребенком надо было решить, где мы будем жить. О южных штатах разговора не было. Мечты Бена не сбылись. Кое-какие перемены, правда, намечались: закон о правах участников войны открыл перед несколькими сотнями тысяч негров возможность получить образование, и они никогда уже не вернутся к прежнему приниженному существованию. В воздухе еще не пахло свободой, но я чувствовал, что она придет еще при моей жизни, — вот тогда я и приеду на Юг, чтобы об этом написать.

С первого же дня после окончания войны папа и его брат Хаим, живший в Палестине, предпринимали отчаянные попытки разыскать в Польше их отца, двух братьев и больше двух десятков родственников, о которых шесть лет ничего не слышали. К тому времени, когда мы с Самантой и сыном приехали из Англии, уже поступили первые страшные известия. Родина моего отца — местечко Продно было окружено стеной и превращено в гетто, а потом всех евреев согнали, как скот, и уничтожили в концлагере «Ядвиг». Через некоторое время пришло подтверждение от горстки выживших евреев, и надежда почти исчезла. Они были убиты, все до единого — мой дед, продненский раввин, которого я никогда не видел, два моих дяди и тридцать других родственников.

И только один из Кадыжинских, мой двоюродный брат, выжил, потому что сражался в партизанском отряде. После Холокоста он пережил кошмарную одиссею, пытаясь добраться до единственного в мире места, которое могло его принять, — до еврейской Палестины. Он пробовал прорваться через британскую блокаду на буксирном пароходике; дважды его ловили и отправляли в Германию. Только с третьей попытки ему удалось попасть в Палестину.

Когда в 1948 году было провозглашено государство Израиль, трое сыновей моего дяди Хаима воевали там. Один из них был убит, сражаясь за древний Иерусалим.

Горе, которое принес моему отцу Холокост, осталось с ним до конца его жизни.

Объехав чуть ли не всю огромную Америку и впервые познакомившись со своей собственной страной, я влюбился в Сан-Франциско и его окрестности. Эти места, словно магнит, притягивали к себе писателей — от Джека Лондона до Стейнбека, Сарояна и Максвелла Андерсона. Это было как раз по мне. Особенно понравилось мне Созалито — высоко на горе, с видом на океан, бухту и сказочный Сан-Франциско по другую ее сторону.

Но уж кого-кого, а Саманту я знал. Она очень скучала без Линстед-Холла. Я решил, что лучше пойти на компромисс, и начал подыскивать что-нибудь в долине Кармел. Тоже неплохое место: среди белокорых дубов стоят старинные испанские ранчо с толстыми стенами, где даже в разгар лета прохладно, а на крутом берегу бурного океана растут дикие цветы и кипарисы, качающиеся на ветру. И все это в двух шагах от Сан-Франциско. Как, Саманта, что ты об этом думаешь?

Ну хорошо. Я пытался рассуждать логически. Ведь идеальных браков не бывает, правильно? Так случилось, что я любил свою жену, несмотря на ее постоянное хныканье. И конечно, мне в голову не могло бы прийти жить отдельно от сына.

В чем-то Саманта была права. Ее единственный брат погиб во Франции. Она была наследницей Линстед-Холла, а после нее наследником становился маленький Бен. Ее родители тоже старели, и было бы просто трагедией, если бы двухсотлетним традициям Линстед-Холла пришел конец.

Вы поняли? Я, кажется, готов был себя уговорить.

Да, я не люблю лошадей. Им нужно только одно — чтобы их кормили. А за это они не платят хозяину преданностью — в любой момент могут его лягнуть или сбросить на землю, а кроме того, оставляют целые горы навоза. С другой стороны, я же не обязан спать в конюшне, даже в Линстед-Холле. И вообще я собираюсь купить мотоцикл.

Конечно, мысль о том, что Бен вырастет, не познав всей прелести бейсбола, не доставляет мне удовольствия. Но зато будьте уверены, что к шестнадцати годам он научится летать на самолете, сколько бы там Саманта ни хныкала.

В конце концов, чем так уж плоха Англия? Я полюбил ее почти так же, как Америку. Лондон? Всего лишь самый боль-

шой в мире город. Если уж говорить начистоту, то почти все, что я написал, я написал в Англии.

Я долго колебался. Временами меня приводила в ярость мысль, что Саманта имеет право указывать писателю, где он должен работать. А потом мне позвонила сестра Софа и сказала, что мамá умерла во сне от удара, и все мы поспешили назад, в Норфолк.

Я убедил папу, что ему не стоит оставаться в доме в полном одиночестве. Софа предложила забрать его с собой в Балтимор, но видно было, что сделала она это нехотя. Должен сказать, что Саманта оказалась хорошей снохой. Она настояла на том, чтобы он поехал с нами в Англию. В Линстед-Холле сколько угодно места, он может жить в отдельном коттедже. Папа был очень щепетилен и не хотел стать никому обузой, но в этом был смысл.

Когда он во время войны продал свою пекарню, ее купили два мошенника, которые запустили дела и довели до банкротства. Те небольшие деньги, которые у папы были, давно разошлись — большую часть их он раздал родственникам и палестинским евреям.

Некоторое время все шло прекрасно. Мы устроились в Англии, и я начал работу над новым романом, который должен был стать моим лучшим произведением. Линстеды были очень милы, а папа стал для всех дедушкой.

В 1947 году Саманта подарила нам дочь. Я хотел назвать ее в честь мамы, но я уже дал имя Бену, так что особенно спорить не приходилось. Ванесса Кейди — тоже неплохо.

Когда роман был уже наполовину написан, я заметил, что папа становится религиозным. Это нередко случается с евреями, которые отошли от своей веры. Видимо, в конце жизни все они хотят снова почувствовать себя евреями, чтобы круг замкнулся.

Когда я предложил ему переехать в Израиль, он совсем расстроился и заплакал. Я еще никогда не видел, чтобы мой отец плакал, даже после того, как погиб Бен и умерла мама. Я уверял его, что мне это будет вовсе не в тягость. У дяди Хаима квартира в центре Тель-Авива, и его там примут с распростертыми объятьями.

На самом деле в Линстед-Холле дела обстояли не так уж радужно. Фермер из меня получился плохой. Временами я даже подумывал, не поджечь ли все это хозяйство, чтобы получить

за него страховку. Но положение обязывало — приходилось и дальше тянуть лямку. В Англии традиции умирают медленно, а кому, как не мне, черт возьми, хранить традиции! Так что я залезал в долги и продолжал писать роман.

Когда я отправил отца в Израиль, я сделал это не из небожности. Он отдал всю свою жизнь ближним и заслужил это. Я устроил ему проезд, купил маленькую квартирку и обеспечил содержанием, на которое можно было существовать.

Я хочу вам кое-что сказать. Мне не давало жить то же самое, что не давало жить папе. Оно постоянно стояло у меня перед глазами, не выходило из головы, грызло день и ночь. Меня приводило в отчаяние то, что случилось с евреями в Польше и Германии. Вот о чем я хотел написать. Как только будет окончен новый роман, мы выберемся из долгов. И тогда я поеду в Израиль и буду об этом писать. Господи, как мне этого хотелось!

Папа умер во сне вскоре после того, как я закончил роман. Дядя Хаим написал мне, что, увидев возрожденный Израиль, он умер спокойным.

На могиле отца я поклялся, что напишу книгу, которая пробудит совесть человечества.

И тут случилось самое скверное. Мой роман «Партизаны» вышел в свет и потерпел провал. Три с половиной года работы, шестьсот двадцать страниц — все это попало под безжалостный обстрел и критики, и читателей. Абрахам Кейди влип».

12

«Что Саманта прекрасно умела — так это сыпать соль мне на раны. Она все время говорила, что не понимает, почему «Партизаны» провалились. Ведь это ее самая любимая из всех моих книг.

Я могу сказать, почему «Партизаны» ей так нравились. Потому что книга не удалась, и эта неудача низводила меня до уровня посредственности — до ее уровня. Я должен был прожить с ней много лет, залезть в долги и завести двух прелестных детей, чтобы признаться в этом самому себе, но Саманта не отличалась умом и обладала комплексом неполноценности, глубоким, как Большой каньон Колорадо. Она была не способна вести сколько-нибудь интеллектуальную беседу, и все, что выходило за пределы привычной жизни Линстед-Холла, ее пугало.

Уже очень скоро после нашей женитьбы она перестала развиваться, но взглянуть правде в глаза и сознаться в своей ограниченности она не могла. Ей оставалась только одна возможность стать сильнее меня — добиться, чтобы я стал слабее ее. Развенчание меня сделалось для нее способом уйти от жизненной реальности.

Следуя своему характеру, она окружила себя мощной оборонительной стеной и давала отпор всякий раз, когда ощущала даже намеки на критику. Признать свою ошибку было для нее невыносимо.

И все же, представьте себе, я ее любил. Вот такой парадокс — эта пустышка была непревзойденной в постели. Что, конечно, многое искупало.

Странно, но некоторые головастые деловые женщины, юристы и прочие в этом роде, как любовницы ничего собой не представляют. Спать с ними — все равно что с мешком битого стекла. По сравнению с ними простушка Саманта казалась просто постельной королевой.

У нее было еще одно милое качество — необыкновенная способность всегда падать духом сильнее, чем я, и никогда не пытаться поднять мое настроение. Из нас двоих она в любой ситуации оказывалась более подавленной, унылой и отчаявшейся.

После провала «Партизан» я пребывал в смертельной тоске. Саманта просто не могла этого понять. Так или иначе, мой загул начался на встрече старых товарищей-летчиков в Лондоне и закончился через три дня в каком-то борделе в Сохо. Карманы мои были пусты, машина арестована. Если бы не великодушные участливой шлюхи, у которой я оказался, я не смог бы даже заплатить за такси, чтобы доехать до Дэвида Шоукросса.

Дома, в Линстед-Холле, меня встретило жуткое молчание. Оно продолжалось восемь дней, после чего разразилась буря.

А потом неожиданно пришло спасение в лице Рудольфа Маурера, потомка эмигрантов из Румынии с красным носом и глазами, как у крота, который представлял крупное голливудское авторское агентство. И вот — о чудо! — оказалось, что студия «Америкен глобал» намерена купить право на экранизацию «Партизан» и продюсер желает знать, соглашусь ли я написать сценарий. Очень скоро дело дошло и до суммы прописью. Этим чертовым лошадям Саманты теперь должно было хватить сена лет на пять.

Дэвид Шоукросс горячо отговаривал меня ехать в Голливуд, и впоследствии выяснилось, что он был прав. Но после неудачи с романом я боялся всего на свете, был кругом в долгах и чертовски обрадовался, что нашелся какой-то выход.

Мама всегда говорила мне: «Эйб, если ты не можешь сказать ничего приятного, то лучше промолчи». Так вот, я не хочу много говорить о тех годах, что провел в этом роскошном сумасшедшем доме.

Я люблю кино и верю в него. Голливуд может похвастаться высочайшей, нигде больше в мире не существующей концентрацией талантов, а не только вылощенных жуликов и квази-мини-актеров. Но все они отличаются полным неуважением к писателю, к автору, к слову. Из-за этого их замок, выстроенный на песке, в один прекрасный день рухнет. Так им и надо — пусть их кости валяются в Долине смерти, высушенные палящим солнцем.

Сегодня мне нелегко хранить достойное молчание, имея полную возможность отомстить. Правда, я считаю, что использовать пишущую машинку в качестве орудия личной мести — большой грех, и писатель, который его совершает, сам опускается до уровня своих мучителей. Тем не менее я все же не святой. Я имею полное право писать свою автобиографию. Та часть ее, где говорится об этих годах, уже написана и хранится в надежном месте. Все до единого монстры, которых я там встретил, живы в моей памяти. Так что пусть трепещут. В конце концов последнее слово останется за Эйбом Кейди.

За те десять лет, когда я делил свое время между Англией и Голливудом, родители Саманты скончались. Мне их не хватает. Они были симпатичные люди и хорошо относились к моему отцу.

Мне удалось нанять хорошего управляющего, который не дал Саманте довести Линстед-Холл до полного разорения. После двух подряд фильмов, имевших большой кассовый успех, у меня в банке кое-что было, и поместье удалось вытащить из долгов. Могу сказать, что испытал злорадное удовольствие, когда сказал своему голливудскому агенту, куда он может засунуть свое очередное предложение.

Я вернулся к тому, что должен был делать с самого начала, и начал новый роман, твердо решив не повторить ошибок, которые сделал в „Партизанах“».

— Я сегодня приду домой пораньше, дорогая, — сказал Дэвид Шоукросс по телефону жене. Его голос буквально дрожал от волнения.

— Что-нибудь случилось, Дэвид?

— Ничего не случилось! Все прекрасно! Я только что получил новую рукопись Абрахама!

Не прошло и часа, как Шоукросс выбрался с заднего сиденья своего «ягуара» и пронесся мимо шофера. Лоррейн встретила его в дверях.

— Смотри! — сказал он, показывая ей картонную коробку. — Клянусь Богом, я ждал этого больше десяти лет. Временами даже думал, что так и не дождусь. Выключай, к дьяволу, все телефоны. Никаких звонков, никаких помех.

— Все готово, дорогой.

Вокруг его кресла были уже разложены блокноты, остро заточенные карандаши, табак, виски, лампа, повернутая как надо, очки для чтения. Пока она расшнуровывала его туфли и надевала ему домашние тапочки, он уже нетерпеливо вынимал из коробки объемистую рукопись больше чем на тысячу страниц. Изо дня в день, из месяца в месяц ему, словно на конвейере, приходилось читать посредственные сочинения, и после них новая книга Кейди была царским подарком. Лоррейн уже много лет не видела его таким радостным и возбужденным.

Абрахам Кейди. «То самое место». Роман.

Она задремала, читая в постели журнал, и проснулась далеко за полночь. Стояла необычная тишина. Обычно, читая рукопись, Дэвид возмущался вслух, когда ему что-то не нравилось, или раздражался смехом, или как-нибудь еще громко реагировал на прочитанное. Сегодня из кабинета не доносилось ни звука.

Она накинула халат, подошла к двери кабинета и тихо постучала. Ответа не было. Она осторожно открыла дверь. Кожаное кресло было пусто, рукопись прочитана почти до конца. Дэвид Шоукросс стоял у окна, сцепив руки за спиной.

— Дэвид?

Он обернулся. Лицо его было бледно, глаза слезились от усталости. Он медленно подошел к своему столу, сел и закрыл лицо руками.

— Что, очень плохо?

— Сначала я не мог поверить своим глазам. Это кто угодно, только не Абрахам. Я говорил себе: это он водит нас за нос. Скоро покажет себя настоящий Кейди.

— А в чем дело?

— Это прекрасно написанная порнография ради порнографии. Раньше Абрахам всегда писал грубовато, не стесняясь отводил душу и брал читателя за живое своей энергией. Но в Калифорнии он многому научился. Теперь он пишет гладко, бойко и элегантно. Эта книга — гнусность, но главная трагедия в том, что она станет бестселлером, и за ее экранизацию заплатят бешеные деньги. И критики тоже будут в восторге... в ней для этого достаточно грязи.

— Но почему? Почему же?

— А почему все они рано или поздно начинают переносить на бумагу свои постельные упражнения? Потому что их, черт возьми, соблазняют деньги. Теперь, когда не осталось никаких моральных преград и все стало дозволено, они публично занимаются онанизмом под видом творческой свободы и чистого искусства. Это просто банда алчных проституток. И критики — такие же сволочи и прохвосты. Просто умереть хочется...

Он устало отошел от стола и растянулся на диване. Лоррейн поняла, что сегодня ему не заснуть. Она накрыла его халатом.

— Тебе чаю или коньяку?

— Нет, спасибо, дорогая.

— Ты будешь ее печатать?

— Разумеется. «Шоукросс Лимитед» имеет честь объявить о возвращении в литературу этого замечательного таланта — Абрахама Кейди...

— Дэвид, Абрахам звонил. Ему не терпится узнать твое мнение. Он приехал из Линстед-Холла и хотел бы завтра увидеться с тобой.

— Да, тянуть с этим не стоит. Позвони утром в контору и скажи, что я буду работать дома.

— У вас измученный вид, — сказал Эйб. — Столько проглотить за один присест... Мне понадобилось целых три выходных, чтобы это написать, — пошутил он. — Ну что, Шоукросс, каков ваш приговор?

Шоукросс пристально посмотрел через стол на Кейди. Тот выглядел и был одет так же, как писал, — элегантно.

— Мы выпустим ее осенью, — сказал Шоукросс. — Я звонил в Нью-Йорк и договорился с твоим американским издателем.

— И о чем вы договорились?

— Я посоветовал ему выпустить в Штатах первое издание тиражом в сто тысяч. Я заказываю бумагу на пятьдесят тысяч.

Эйб, вцепившись в край стола, перевел дух и покрутил головой.

— О Господи. Я не думал, что она настолько хороша.

— Нет. Она настолько плоха.

— Что?

— Ты говорил мне, что хотел бы в этой жизни делать три вещи: писать, летать и играть в бейсбол. Насколько я понял, ты не способен ни на то, ни на другое, ни на третье.

Эйб вскочил.

— Вы просто ханжа. Я так и знал, что об этом пойдет речь. Ваша проблема, Шоукросс, в том, что вы отстали от двадцатого века.

— Абрахам, ты можешь устроить мне любую сцену, ругать меня как тебе будет угодно, но, ради Бога, не пытайся оправдать эту макулатуру.

— Черт возьми, вас никто не обязывает ее печатать!

— Если ты не имеешь ничего против того, чтобы быть проституткой, то почему бы мне не посутенерствовать?

Лицо Эйба побагровело. Он потряс кулаком под носом у Шоукросса, весь дрожа от яростного желания ударить его, но потом воздел руки вверх. «Черт возьми, это же все равно что ударить отца».

— Ты причинил мне ужасную боль. Другие писатели, которые пошли по этой дорожке, меня не удивляли, но от тебя я такого не ожидал. Если ты хочешь пойти с этим в другое издательство — пожалуйста, я тебя не держу. Я найду тебе шустрого молодого редактора, который скажет тебе все, что полагается: какие новые горизонты ты открыл, какой гладкий и четкий у тебя стиль, как великолепно ты лепишь характеры и закручиваешь сюжет...

— Стойте, стойте. Может быть, я и в самом деле немножко перехватил, но это сейчас в самой моде. Господи, если бы я только мог вырваться из Линстед-Холла!

— Ты не хочешь сказать, что в этом выкидыше повинна Саманта?

— Отчасти. И не так уж мало, черт возьми! Она говорит — не пиши мрачно, Эйб, людям хочется посмеяться. И эти проклятые лошади, которым только подавай сена. Если бы у меня была женщина, готовая пойти на жертвы, я бы, может быть, рискнул написать что-то другое. Ну хорошо, Шоукросс, вы выложили мне все, и я в нокауте. Но я боялся написать еще что-нибудь вроде «Партизан».

— Той книгой я гордился. Она дорого обошлась нам обоим, но тебе, кажется, дороже, чем мне. Тебе она стоила мужества и злости.

— Черт возьми, вы говорите словно какой-нибудь профессор литературы. По-вашему, писатель должен голодать?

— Ты испуганный человек, Абрахам, и пишешь ты, как испуганный человек.

Эйб сел и низко опустил голову.

— Вы правы. Десять лет в этом городе кошмаров. Господи, как я хотел бы писать! Вы меня, конечно, презираете.

— Я не могу не любить своего сына, — ответил Шоукросс. — Надеюсь, что в тебе еще что-то осталось и ты способен презирать сам себя.

— Мне нужно несколько недель, чтобы остыть и поразмыслить. Хочу немного погреться на солнце.

— Прекрасная идея.

— Будьте добры, позвоните от моего имени Саманте. Я не хочу вступать с ней в препирательства. Она не понимает, что иногда я должен побыть один. Всегда воспринимает это так, будто я пытаюсь от нее удрать.

— А это не так?

— Возможно. Скажите ей, что я выбился из сил и должен отвлечься.

— Хорошо. Сегодня вечером я устраиваю в «Лез Амбассадёр» коктейль в честь одного нового автора. Там будет несколько интересных женщин. Приходи.

— Хорошо. Значит, вечером увидимся.

14

Шикарный частный обеденный и игорный клуб «Лез Амбассадёр» помещался в старинном, заново отремонтированном особняке на Гамильтон-плейс. Метрдотель вежли-

во поздоровался с Абрахамом Кейди, чья черная повязка на глазу была знакома всему Лондону.

Войдя в гостиную, Эйб окунулся в теплую атмосферу светской болтовни. Единственным глазом, словно циклоп, он оглядел комнату в поисках кого-нибудь, с кем можно вести осмысленную беседу, и тут его взгляд остановился на шикарной жгучей брюнетке с величественной осанкой, лет тридцати пяти на вид. «Интересно, останется она такой же очаровательной, когда раскроет рот и начнет разговаривать?» — подумал Эйб.

— А, привет, Абрахам.

— Привет, Шоукросс. — Эйб кивнул в сторону женщины. — Это кто?

— Лаура Маргарита Альба. Прелестная девушка. Вращается в кругу богатых космополитов. Насколько я понимаю, хранит целую коллекцию драгоценностей — плату за ее благосклонность. Обычно появляется под ручку с каким-нибудь греческим миллионером-судовладельцем, или с торговцем оружием, или еще с кем-нибудь из этой компании.

— А здесь она одна?

— Время от времени она приезжает в Лондон, чтобы от имени разных клиентов и спонсоров покупать на аукционах Кристи и Сотби всякий антиквариат, драгоценности и произведения искусства. Честно говоря, Эйб, я думаю, что нашему брату она немного не по карману. Ты все-таки хочешь с ней познакомиться?

— Попробую, не перепадет ли и мне.

Шоукросс и Кейди оказались в разных кружках, но в обоих шла одна и та же пустая светская болтовня. Эйб делал вид, что слушает, не сводя глаз с брюнетки. Она с другого конца комнаты улыбнулась ему и кивнула.

«К каждой из них нужен свой подход, — размышлял он. — С девкой, авантюристкой, шлюхой надо всегда вести себя как с леди. С большинством тех, кто посередине — с известными актрисами, восторженными домохозяйками, сверхсексуальными секретаршами, с честолюбивыми кандидатами в кинозвезды, — почти всегда приходится затевать дурацкие словесные игры с двусмысленными замечаниями, намеками, остротами и обещаниями, которые ничего не обещают. Но эта — элегантная дама. Из тех редких куртизанок, которым мужчины дорого платят только за то, чтобы

показаться с ними в свете, и потом ничуть не жалеют о потраченной сотне тысяч. Надо идти ва-банк».

Эйб двинулся по направлению к ней. Она болтала с каким-то молодчиком-самцом, одетым в бархат и кружева, с крашенными в лимонный цвет волосами, мощной челюстью и пронзительными голубыми глазами. На лице у нее была написана вежливая скука, и уголком глаза она следила за приближающимся Эйбом. Тот выяснил, как зовут молодчика, тронул его за плечо и сообщил, что его разыскивает Шоукросс.

— Мадам Альба, — сказал он, — меня зовут Абрахам Кейди. Я хотел бы вас трахнуть.

— Какая прекрасная мысль, — отвечала она. — Вот ключ от моего номера. Апартаменты «Арлекин», пентхауз, гостиница «Дорчестер».

Эйб уставился на ключ.

— Вы шутите?

— Перед тем, как сюда прийти, я произвела кое-какую разведку. Если бы вы не сделали мне это предложение, я собиралась сделать его сама. Или вы предпочитаете сначала несколько дней заниматься любовными играми и только потом насладиться своей победой?

— Вы просто великолепны.

— Я восхищалась вами, когда вы еще были писателем.

— Очень остроумно. Это Шоукросс вас надоумил?

— Нет. Я читала ваши книги, а потом видела фильмы. Я ухожу через полчаса. Почему бы вам еще через полчаса не последовать моему примеру? Я буду вас ждать.

Разговор прервал вернувшийся молодчик-самец с лимонными волосами.

— Послушайте, Шоукросс совершенно не собирался со мной разговаривать. Что за нахальство? — возмущенно начал он.

Эйб повернулся спиной к ней и лицом к молодчику, приподнял свою черную повязку и показал изуродованный глаз.

— Вы хотите что-то еще сказать, молодой человек? — спросил он.

Молодчик исчез.

— Господи Боже, — сказал Эйб, войдя. — Лиловые стены, лиловый ковер, лиловое одеяло...

— Я обожаю эти апартаменты. Они так идут к цвету моих волос.

— Не предложите ли вы мне что-нибудь выпить, прежде чем я смету ваше сопротивление?

Прихлебнув из рюмки, Эйб поднял глаза на мадам Альбу, которая сидела напротив на диванчике, вся в кружевах.

— Ничего, если я буду звать вас Мэгги?

— Нет, мне это даже нравится.

— Так вот, Мэгги, самый страшный на свете зануда — это человек, у которого за плечами долгая грустная история, а я как раз такой и есть. Боюсь, вы выбрали себе неудачную компанию. Честно говоря, мне следовало бы сейчас сидеть у какой-нибудь шлюхи в Сохо. Вы мне не по карману.

— Я ложусь под мужчин только в двух случаях. Большой частью — ради бриллиантов, что вы прекрасно знаете. Мой последний спонсор, французский самолетостроитель, был совершенно не по-французски ревнив и два года держал меня буквально под замком.

— Выпьем за наши золотые клетки. Но почему я, Мэгги?

— Вы, несомненно, знаете, насколько вы привлекательны. Кроме того, у меня слабость к писателям. Все они — словно маленькие мальчики, которым позарез нужна материнская ласка, а вы — самый несчастный маленький мальчик, какого я видела в жизни.

— И вы позволите мне пробыть у вас до утра, и будете уговаривать меня не бояться, и говорить все те слова, которые я так хотел услышать от своей жены?

— Да.

— Господи, этот разговор еще глупее, чем книга, которую я только что написал.

— Критики никак не поймут одного: мир держится на одном-двух десятках стандартных ситуаций. Мы всю жизнь только и делаем, что повторяемся.

— Сейчас уже тысяча девятьсот шестьдесят второй год, — сказал Эйб. — Мне сорок два. Моему сыну восемнадцать, а дочери — пятнадцать. Я почти двадцать лет женат на приличной женщине, которой не следовало выходить за писателя. Нельзя вложить в человека того, чего не дал ему Бог. Она меня разочаровала. У меня было множество связей на стороне, и я давно уже перестал чувствовать угрызения совести, хотя и знаю, что рано или поздно за все приходится

расплачиваться, и в один прекрасный день все это на меня обрушится. С другой стороны, особого удовольствия от этих связей я не получаю, потому что тело меня на самом деле не очень интересует. Я ищу покоя и подходящей обстановки, в которой мог бы писать то, что хочу. Мне было двадцать, когда я написал свой первый роман. Вчера, двадцать два года спустя, я представил рукопись, которая не что иное, как чистое, неразбавленное дерьмо. Если у меня и оставалось сколько-нибудь достоинства и самоуважения, то я растерял их, пока писал эту книгу. Посмотрите на меня, Мэгги. На эту рубашку с монограммой и на глазную повязку, сшитую по мерке. Знаете, два дня назад был Йом-Кипур, еврейский праздник, день искупления, когда мы должны предаваться размышлениям о себе и о своей жизни. Мой отец, да покоится он в мире, умер в Йом-Кипур. Я кое-что ему обещал и не выполнил обещания. Посмотрите на эту чертову рубашку с монограммой.

Наутро Лаура была задумчива, а глаза ее затуманены. Она налила ему кофе.

— Нет ничего прелестнее, чем представлять себе будущую связь, — сказала она, — и нет ничего более отрезвляющего, чем вступить в нее, если только тебе не попадется Абрахам Кейди. Как приятно встретить человека, который знает, как с тобой обходиться. Я это сразу поняла, когда ты вчера вечером посмотрел на меня и увидел меня насквозь.

Эйб пожал плечами.

— Всегда должно быть ясно, кто тут главный.

— Только один мужчина мог так со мной обращаться — мой муж. Я была очень молода, чуть за двадцать, а Карлосу было пятьдесят, когда мы познакомились. Я тогда уже выступала с концертами на яхтах. Мне казалось, что брак — это скучно, но надежно. Но наша постель оказалась как поле боя, и в этих боях он был прекрасным тактиком. Эйб, у меня прелестная вилла в Коста-дель-Соль, в Марбелле, и свободны две недели. Позволь мне тебя побаловать.

— Мне не по душе Испания, — сказал он.

— Твой брат погиб почти двадцать пять лет назад. Может быть, тебе стоило бы повидать его могилу.

— Я теряю все свои идеалы, один за другим. Даже быть рядом с такой женщиной, как ты, нехорошо. С подружкой торговцев оружием и вдовой видного фашиста.

— Понимаю. Подспудная ненависть — потому это так и волнует. Знаешь, от кого я узнала про тебя? От одной немецкой актрисы, которая была твоей любовницей. Любовь-ненависть — это такое восхитительное ощущение! Дорогой, ну я же сказала — пожалуйста! Мы даже можем все это время так и пробыть на вилле.

— Ну ладно, поедем.

— Завтра в полдень, рейс на Мадрид. Там у меня машина. Заедем на одну ночь в Малагу, а потом поедем по берегу в Марбеллу.

При звуке этих испанских названий у него внутри что-то неприятно шевельнулось, но в то же время он испытал необъяснимое возбуждение при мысли, что сможет все это увидеть.

— Мне надо идти, — сказала она. — После обеда у Сотби выставляют на аукцион одну хорошую картину.

Он схватил ее за руку:

— Позвони, пусть за тебя поторгуется кто-нибудь другой. Я хочу опять с тобой в постель.

Они долго глядели друг на друга: никто не хотел уступить.

— Хорошо, — сказала она наконец.

15

Вилла Альба на окраине Марбеллы выглядела замысловатой частью скалы, возвышавшейся над утрюмым морем. Ее многочисленным этажам, гротам с водопадами, изливающимися в мерцающие бассейны, традиционным испанским белым аркам и красным черепичным крышам придавали особое очарование обширные стеклянные поверхности, широко раскинувшиеся флигеля и уютные внутренние дворы. В этом царстве ярких красок пятна современной живописи вступали в неожиданный контраст со старинными гобеленами и деревянными статуэтками святых.

Вилла стояла на выжженных солнцем террасах, окаймленных высокими свечами кипарисов и спускавшихся к изрезанному берегу и просторным золотистым пляжам. По этим пескам когда-то прошли орды Ганнибала, а теперь их топтали орды туристов в бикини. Древние предания, возведенные римлянами стены — и шикарные яхты знаменитос-

тей. Грабежи и насилия времен готов и мавров — и современные оргии.

При всей роскоши виллы Эйб ощутил здесь какую-то скрытую печаль. Нигде во всем доме не было ни одного портрета, ничего, что напоминало бы о ком-то еще. Такова уж была Лаура Маргарита Альба — отчужденная и одинокая, как море.

Центром водоворота, в котором кружились великосветские ничтожества, был находившийся поблизости клуб «Марбелла-Бич», принадлежавший князю Макс фон Гогенлоэ-Лангенбергу. Раньше Лаура постоянно бывала там и радушно принимала у себя бронзовую от солнца молодежь и тронутых тлением старых аристократов, чьи разговоры, как правило, ограничивались тем, кто с кем спит.

Но теперь она хотела быть только с Эйбом. Они кидались друг на друга с яростью, порожденной физическим и духовным голодом. Долгие годы пустоты были наконец вознаграждены, и они щедро делились друг с другом этой наградой, пока в изнеможении не погружались в восхитительную полудрему. Эта себялюбивая женщина самоотверженно дарила ему себя и целиком подчинилась его власти.

Иногда среди ночи, когда обоим не спалось, они сидели на краю бассейна и любовались на море или же спускались в крытую тростником хижину в уединенной бухточке и разговаривали там до рассвета. А по утрам они лежали в полутьме за задернутыми занавесками, и ветерок нежно обвевал их тела. Слуги передвигались по дому, словно молчаливые тени, недоумевая, что это за человек появился в жизни сеньоры.

В середине второй недели им обоим все чаще стала приходиться в голову мысль — а почему это не может длиться всегда? Но ни он, ни она об этом не заговаривали.

Их уединение нарушил Лу Пеппер, вице-президент агентства «Интернэшенл тэлент», клиентами которого были чуть ли не все творческие работники шоу-бизнеса. Это был высокий худой человек с сонным лицом, главным отличительным признаком Пеппера были семьдесят костюмов от знаменитых кутюрье — и все темные.

— Мэгги, познакомься — это Лу Пеппер, бородавка на заднице человечества.

— Приберегите ваши остроумные шутки для своего следующего сценария. Я прилетел сюда не потому, что вы мой любимец. Предложит мне наконец кто-нибудь выпить?

— Дай ему стакан воды. Как вы меня разыскали?

— У большинства писателей по два глаза, поэтому их никто и не узнает на улице. А вашу повязку на глазу знают все.

— Пойдемте на свежий воздух. И ты тоже, Мэгги. Я хочу, чтобы ты все слышала. Мистер Пеппер — очень важная персона. Он не стал бы лететь за тысячи километров ради того, чтобы просто повидаться с писателем.

— Видите ли, сеньора Альба, мы с Эйбом расстались не слишком дружески. Он покинул Голливуд, хлопнув дверью, после того как ему предложили такой выгодный договор на три фильма, какого не имел ни один писатель.

— Скажите ей еще, что вы мне обещали: в любой момент, когда я смогу обходиться без ваших услуг, вы порвете контракт, который вынудили меня подписать.

— Понимаете, сеньора Альба, у Эйба хорошая память, но даже литературному агенту надо на что-то жить.

— То есть?

— Ну, во всяком случае, вашим новым романом пока еще торгую я.

Лаура переводила взгляд с Эйба на Пеппера. Ей не понравились их резкий тон и явная взаимная враждебность. К тому же ее раздражало неожиданное вторжение постороннего. Даже говоря с Эйбом, который не скрывал, что терпеть его не может, самовлюбленный Лу Пеппер должен был непременно похвастаться, прежде чем перейти к делу.

— Как только Милтон Мандельбаум возглавил студию «Америкен глобал», он позвал меня. «Лу, — сказал он, — я полагаюсь на твою помощь». Милтон тебя очень ценит, Эйб, и всегда ценил. Он постоянно говорит о том, как вы вместе веселились в Лондоне во время войны, как он летал с вами на бомбежки и все такое. Я сказал ему, что на подходе новый роман Кейди. Он тут же выложил десять тысяч только за то, чтобы прочитать книгу и иметь право первого отказа. Можно, я сниму пиджак?

Эйб понял, что речь идет о крупной сделке: в таких случаях Лу всегда выдавали вспотевшие подмышки. Для литературного агента каждая сделка — все равно что секс. Однако Лу по-прежнему держался спокойно. Это означало, что

он уверен в прочности своих позиций. Мольбы, слезы и битье в грудь начнутся позже.

— Милт хочет заполучить вас целиком. Он хочет, чтобы вы преуспевали. Речь идет о доле в прибылях.

— При том, как эта студия ведет свою бухгалтерию, они не получили бы никакой прибыли, даже если бы выпустили «Унесенных ветром».

— Но сценарист-продюсер — совсем другое дело.

— Папаша, я не хочу быть продюсером.

— Не будьте ханжой, Эйб. Чего ради в таком случае вы написали это дерьмо — ради посмертной славы?

Эйб почувствовал, что сражен — внезапно и жестоко. «То самое место» никого не ввело в заблуждение.

— Что имеет в виду Мандельбаум? — спросил он почти шепотом.

— Двести тысяч за «То самое место» плюс нарастающий процент от продаж. Плюс двести тысяч за ваши услуги в качестве сценариста и продюсера и десять процентов прибылей. Издателям мы кинем несколько костей, чтобы книга оставалась в списке бестселлеров.

Эйб сунул руки в карманы, подошел к обрыву и посмотрел вниз, туда, где волны неторопливо накатывались на камни.

— Похоже, я становлюсь самой дорогой в мире шлюхой, — пробормотал он.

Почувствовав близость победы, Лу Пеппер удвоил усилия.

— Вы получите в свое распоряжение коттедж с сортиром и баром, привилегированный пропуск в столовую дирекции и собственную стоянку для машины.

— Честно говоря, я тронут, — отозвался Эйб, не обращаясь.

— Плюс билет первого класса до Лос-Анджелеса и две с половиной тысячи в месяц на расходы. Саманта согласна переехать с вами в Лос-Анджелес.

Эйб круто повернулся:

— Кто, черт возьми, разрешил вам с ней встречаться? Вы меня подставили.

— Да ведь вы живете в Англии, куда же за вами ехать — в Китай?

Эйб грустно усмехнулся, снова сел, стиснул и снова разжал кулаки.

— Лу Пеппер не совершает поездок на край света ради жалких сорока тысяч комиссионных. Кого еще вы включили в сделку — героя, героиню, режиссера, оператора, композитора — всех клиентов вашего агентства?

— Не думайте, что тут какие-нибудь тайные интриги. Студии не любят держать кинозвезд на жалованье. Это дело агентств — собрать весь комплект и положить им на стол. Мандельбаума интересует сделка, на которую он может уговорить свое правление.

— Ты думаешь, Мэгги, что это твои приятели самые крутые? А вот мистер Пеппер говорит о сделке миллиона на два долларов. Это двести тысяч комиссионных, не считая всяких попутных мелочей. Только здесь есть одна заковыка. Ни одна кинозвезда и ни один режиссер не согласятся до тех пор, пока не будет сценария. То есть до тех пор, пока Лу Пеппер не сможет обеспечить им самого прибыльного в мире сценариста, а именно меня. Тогда он получает двести тысяч комиссионных, из которых пятьдесят тысяч будут выплачены женевскому отделению агентства «Интернэшнл тэлент» и в конце концов окажутся на тайном счету, принадлежащем Милтону Дж. Мандельбауму.

— У вас могучее воображение, Эйб, поэтому вы такой прекрасный писатель. Но почему всякий раз, когда предлагаешь человеку полмиллиона долларов, он начинает смотреть на тебя как на кусок дерьма?

— Вы даете Мандельбауму опцион на мою следующую книгу?

— На следующие три книги. Эйб, я же говорю, Мандельбаум хочет заполучить вас целиком. Мы все хотим видеть вас богатым. А сейчас я должен сделать несколько звонков в Лос-Анджелес и Нью-Йорк. Я буду в клубе «Марбелла». Можете пока предаваться душевным терзаниям. Завтра я скажу вам, когда надо дать ответ.

Эйб некоторое время шагал по террасе взад и вперед, изрыгая ругательства. Потом он рухнул на стул.

— Он знает, что отказаться у меня не хватит духу. Если я откажусь, он уж постарается, чтобы «То самое место» не купила никакая другая студия. В общем, я становлюсь как раз таким писателем, каким меня всегда мечтала видеть Саманта.

Он не скупясь налил себе виски. Лаура отобрала у него бокал.

- Не напивайся сегодня.
- Я гуляю! Давай прокатимся вдоль побережья.
- Ты нас угробишь.
- Может быть, этого я и хочу. Ладно, поеду один.
- Нет, я еду с тобой. Подожди, я соберу кое-что из вещей для ночевки.

Они вернулись на виллу только на следующий день поздно вечером, промчавшись с бешеной скоростью на ее «порше» по головоломной прибрежной дороге. Его ждал десяток записок с просьбой позвонить Лу Пепперу. Когда Лаура распахнула дверь гостиной, там сидел осунувшийся Дэвид Шоукросс.

— Черт возьми! — воскликнул Эйб. — Что у нас тут — сессия ООН?

— Вчера перед нашим отъездом я позвонила Дэвиду.

— Должен тебе сказать, Абрахам, что даже германские военнопленные встречали меня теплее.

— Мэгги вам все рассказала?

— Да.

— И что вы на это скажете?

— Твое поведение красноречивее всего, что я могу сказать. Видите ли, Лаура, он любит свою семью и прожил бы с женой всю жизнь, если бы только она позволила ему писать о том, что не дает ему покоя. Он еврей и хочет писать о евреях. Ему отвратительна отравленная атмосфера киностудий. Я видел много писателей, которые попались в эту западню. В один прекрасный день они просто перестают писать. Эйб чувствует, что для него такой день вот-вот наступит. Это его смертный приговор, и он это знает.

— А что мне еще делать, Шоукросс? «То самое место» не купит ни одна студия, уж об этом Лу Пеппер позаботится. Саманта никогда не разрешит мне на два года уехать из Англии, чтобы собирать материал для книги. Когда мы после развода рассчитаемся с адвокатами, я снова останусь на нуле. Что мне тогда останется — упрашивать Мэгги, чтобы она заложила свои бриллианты?

— Я говорил со своим банком и с твоими американскими издателями. Мы так или иначе сможем удержать тебя на плаву.

— Вы, Шоукросс?

— Да.

— Вы считаете, что я еще кое-что могу?

— Твое дело — писать, счета буду оплачивать я.

Эйб отвернулся.

— А что, если полночь для меня уже миновала? — сказал он. — Что, если я вас подведу? Не знаю, Шоукросс, просто не знаю.

— Я всегда считал, что ты — единственный еврей, который не дал бы затащить себя в газовую камеру живым.

Вошел слуга и сообщил, что снова звонит мистер Пеппер.

— И что ты ему ответишь? — спросил Шоукросс.

— По правде говоря, я никогда еще не испытывал такого страха. Даже когда разбил свой «спитфайр».

Эйб вытер вспотевшие руки, взял трубку и сделал глубокий вдох, чтобы успокоить сердцебиение.

— Эйб, сегодня утром я говорил с Милтом. Он хочет доказать свою искренность. Еще двадцать пять тысяч за права на роман.

Эйбу ужасно хотелось ответить грубым ругательством и на этом покончить. Он посмотрел на Шоукросса, потом на Лауру.

— Нет, не пойдет, — сказал он тихо и положил трубку.

— Эйб, как я тебя люблю! Попроси меня поехать с тобой. Прикажи мне остаться при тебе.

— По-твоему, я об этом не думал? Мы с тобой на несколько дней заглянули в рай. Но только последний идиот способен считать, что так можно прожить всю жизнь. Все, на что мы можем надеяться, — это короткая передышка между боями. У нас была такая передышка. В тех местах, куда я еду, жарко и опасно. Очень скоро тебе там перестанет нравиться. Если хочешь знать, я тоже тебя люблю.

16

«У Саманты хватило врожденной женской хитрости, чтобы двадцать лет заставляя меня плясать под ее дудку. Она удерживала меня не сочувствием, не самопожертвованием, не помощью в работе. Она удерживала меня шантажом.

Она понимала, что больше всего на свете я боюсь одиночества. Одиночество толкало меня в объятия женщин, которые

мне не нравились и с которыми мне даже не хотелось провести вечер... Только ради того, чтобы не быть одному.

И еще она понимала, что больше всего на свете я люблю сына и дочь, Бена и Ванессу. Этот страх и эту любовь Саманта превратила в постоянно висящую надо мной угрозу. Я не мог остаться в одиночестве и лишиться детей.

Она была настолько уверена в себе, что постоянно заявляла: я волен в любой момент ее оставить, и она ничего от меня не потребует. Я был волен ее оставить точно так же, как был волен избавиться от Лу Пеппера и Милтона Мандельбаума.

Когда я испытывал недовольство тем, как складывается моя жизнь, впадал в депрессию и приходил в отчаяние, она прибегала к своей обычной тактике — укладывала меня с собой в постель и бешено любила меня. Это был ее способ умиротворить меня — все равно что почесать собаке брюхо. Но в постели Саманта была великолепна, и обычно после этого гнев и отчаяние притуплялись.

Двадцать лет я молил Бога о чуде — чтобы все изменилось, чтобы в один прекрасный день она сказала мне: «Я понимаю, что тебе плохо. Иди, вой со своими ветряными мельницами. Я встану рядом с тобой».

Когда я вернулся из Голливуда с мозгами набекрень, я стал упрашивать ее сдать Линстед-Холл в аренду, забрать детей и отправиться со мной в дальние страны, куда звало меня писательское воображение.

Кого я хотел провести?

В тех редких случаях, когда Саманта сопровождала меня в моих поездках, она жаловалась на неудобства, на мою занятость, на необходимость появляться в свете. Целые дни она проводила в хождении по магазинам. По вечерам, когда я уходил на важные для меня встречи, я так беспокоился о бедной Саманте, скучающей в отеле, что не мог как следует заниматься своим делом. Мне приходилось за все перед ней извиняться.

Я хотел писать в Линстед-Холле. Даже это дерьмо — «То самое место». Но Саманта твердила, что мое присутствие в доме связывает ее и нарушает нормальную жизнь. Для нее всегда было мучительным испытанием принимать моих коллег и деловых знакомых.

И теперь я слушал ее, не веря своим ушам. За двадцать лет она ничегошеньки не поняла.

«Благодари Бога, — сказала Саманта, — что у тебя есть такие друзья, как Лу Пеппер. Ты знаешь, что из-за твоего поведения он в Лондоне слег в больницу с сильнейшим колитом?»

Мне и в голову не приходило, что колит у человека может обернуться словесным поносом, но с Лу Пеппером случилось именно это. Он вернулся в Лондон раньше меня и успел ее обработать, заодно рассказав во всех подробностях о Лауре. Он объяснил ей, что этот новый заказ — важнейшее событие в моей жизни, что он означает большие деньги. Если она хочет спасти меня от будущих Лаур Альб, то не должна отпускать в Лос-Анджелес одного. Он-то при этом, конечно, имел в виду заполучить верного союзника, который постоянно будет под рукой, готовый вправить мне мозги, если я вдруг сойду с намеченного, правильного, курса. —

Поэтому Саманта была готова меня простить и принести эту жертву — переехать в Беверли-Хиллз и жить со мной в особняке. Свою речь она закончила рассуждениями о том, как плохо у нее со здоровьем, как много у нее забот, как она экономна и, в заключение, как она всегда поддерживала меня и помогала в работе.

Приходить в ярость не было никакого смысла. Я уже пытался это делать. Я посмотрел на нее и понял, что она никогда не переменится. Она так же неумна, как и ее лошади, и теперь я знал, что не благодаря ей стал писателем, а вопреки ей им остался.

«Давай разводиться», — сказал я.

Сначала Саманта попробовала уговорить меня по-хорошему: я, мол, перенес долгий перелет, устал и так далее. Я настаивал. Тогда она стала играть на моих страхах: я останусь совсем один, дети обратятся против меня, меня замучат угрызения совести.

Поняв, что я непреклонен, она пришла в отчаяние.

«Я иду ко дну, Саманта. Если я и дальше буду вести такую жизнь, мне конец. И я решил, что уж если погибать, то в бою».

Тогда Саманта, которой лично для себя всегда нужно было лишь очень немного, пригрозила оставить меня без единого шиллинга.

«Тут я готов пойти тебе навстречу, — сказал я. — Ты получишь все, включая права на «То самое место»: в конце концов, на эту книгу вдохновила меня ты. А я уйду без гроша в кармане. Это все твое... Все!»

Потом мне предстояло рассказать, что произошло, Бену и Ванессе. Я сказал им, что вскоре отправляюсь путешествовать по Восточной Европе и, если все пойдет нормально, то следующее лето проведу в Израиле. И чтобы они туда приехали.

Тут произошла странная вещь — они настояли на том, чтобы поехать в Лондон меня проводить.

И когда я покинул Линстед-Холл, то в одиночестве там осталась Саманта».

17

Одиссея Абрахама Кейди началась в Советском Союзе, где для него был организован тур с обычным принудительным ассортиментом: образцовые предприятия, новостройки, балет, музеи, дома пионеров и словесная акробатика в Союзе писателей. А на станциях метро, под хрипящими громкоговорителями, или в парках он тайно встречался с евреями.

Его просьба о посещении Продно затерялась в бюрократических закоулках. Он поехал в Киев и повидал пресловутые овраги Бабьего Яра, куда загнали тридцать пять тысяч евреев, чтобы расстрелять их при полном равнодушии украинцев.

Многочисленное и испытывавшее постоянные преследования еврейское меньшинство Киева проявило большое желание встретиться с Кейди. Но тут его поездка была внезапно прервана, и его попросили покинуть страну.

Из Парижа он с новым паспортом поехал в Польшу, правительство которой пыталось убедить весь мир, что поляки неповинны в геноциде евреев и что теперь, при коммунизме, в Польше господствует новая, либеральная атмосфера.

Абрахам совершил печальное паломничество в концлагерь «Ядвига», где погибла почти вся семья Кадыжских. Лагерь был цел и невредим — он стал национальным святилищем. Кейди хотел сопоставить с действительностью те кошмарные картины газовых камер и крематория, которые виделась ему, когда он пытался поставить себя на место то эсэсовских убийц, то погибающих евреев. Он побывал в медицинских бараках, где проводились безумные хирургичес-

кие эксперименты. И здесь он встречался с многими людьми, и многие стремились с ним поговорить. В результате однажды он был задержан во время обеда в варшавском отеле «Бристоль», три дня провел в штаб-квартире тайной полиции в качестве сионистского шпиона, а потом был выдворен из Польши.

То же самое произошло в Восточном Берлине, где главная линия пропаганды состояла в том, что восточные немцы искупили свои грехи, обратившись в коммунистическую веру, в то время как западные остались настоящими нацистами. Во время третьей поездки в Восточный Берлин его предупредили, чтобы больше он здесь не показывался.

После этого Абрахам Кейди проехал по следам выживших в войне беженцев из Восточной Европы — в их главный сборный пункт Вену, а оттуда в лагеря на побережьях Италии и Франции, где подпольные иммиграционные агенты скупали старые, никуда не годные, протекавшие, как решето, суда, на которых беженцы пытались пересечь Средиземное море и добраться до Палестины, преодолев британскую блокаду.

Он бродил по легендарному острову Кипр, как бродил по нему воскресший Лазарь: здесь англичане устроили огромные лагеря, где держали беженцев, которых не пустили в Палестину.

Он вернулся в Германию и беседовал там с десятками бывших нацистов, никто из которых, как выяснилось, даже не знал слов песни «Хорст Вессель» — гимна, под который они маршировали во времена Гитлера. И никто из тех, кто жил поблизости от Дахау, не замечал никаких странных запахов.

На улицах Мюнхена, Франкфурта и Берлина он восстанавливал события «Хрустальной ночи» — жуткого массового погрома германских евреев, организованного штурмовиками.

Семь месяцев спустя Абрахам Кейди приехал в Израиль, чтобы встретиться с немногими оставшимися в живых родственниками. За этим последовали тридцать тысяч километров поездок по этой крохотной стране. Он беседовал больше чем с тысячей человек, сделал три тысячи фотографий. Сотни часов провел в архивах смерти. Он собрал целую гору книг и документов, которые читал до тех

пор, пока его единственный глаз чуть не отказался ему служить.

И все это время его долг Дэвиду Шоукроссу увеличивался.

Ванесса и Бен приехали в первое же лето. Эйб был им очень рад, потому что уже изрядно устал от страстной любовницы-мадьярки. К счастью, она покинула его, сочтя приезд детей вторжением на ее территорию.

В конце лета Ванесса и Бен откровенно признались отцу, что возвращаться в Англию не собираются.

— Почему? И что скажет ваша мать?

— Ей немного надоела роль заботливой матери, так что она возражать не станет, — сказала Ванесса.

— Брось, Винни, — перебил ее Бен. — Мы хотим остаться, потому что нашли здесь для себя кое-что важное. То, о чем ты пишешь в своей книге, чтобы и другие могли это для себя найти.

Против этого было трудно возразить, хотя Эйб и знал, что Бен хочет учиться на летчика, чтобы поступить в израильскую военную авиацию. Но была и невысказанная причина — Эйб это остро чувствовал: дети не хотели, чтобы он оставался один, когда будет писать книгу. Все подготовительные материалы были уже собраны и обработаны, и чем ближе становился день, когда надо будет сесть и начать писать, тем сильнее росло его беспокойство.

За последующие шестнадцать месяцев Абрахам Кейди написал, переписал и еще раз переписал около двух миллионов слов.

*Дэвиду Шоукроссу
Камберленд-Террес, 77
Лондон*

15 декабря 1964 года

Дорогой дядя Дэвид,

У меня не очень хорошая новость, хотя, к счастью, все обещает закончиться благополучно. Неделю назад мы нашли отца на пляже свалившимся в обморок от изнеможения. Сейчас он в тель-авивской больнице, где считают, что это был не большой сердечный приступ. В общем, мы считаем, что полу-

чилось даже удачно, потому что это стало для него предупреждением.

Последние три месяца отец лихорадочно писал, почти совершенно отключившись от внешнего мира. Он был просто одержим этой книгой и прерывал работу только тогда, когда переставали слушаться пальцы и отказывала голова. Часто он засыпал прямо за пишущей машинкой.

Мы никогда не забудем этих месяцев. Каждое утро, на закате, мы собирались во дворике у дома, и Ванесса читала вслух написанное за день. Папа слушал, не перебивая, и делал заметки, что надо изменить. В эти минуты мы могли в какой-то мере приобщиться к тем переживаниям, которые его обуревали.

Теперь рукопись готова, за исключением последних трех глав, которые папа хочет переписать. Я посылаю ее, кроме этих трех глав, отдельной бандеролью.

Мой иврит подвигается довольно успешно. Надеюсь, скоро я уже буду знать язык достаточно хорошо, чтобы учиться в летном училище. Ванесса закончила английскую гимназию и, возможно, будет призвана на год в армию. Теоретически она не обязана служить в армии, но я не думаю, чтобы кто-нибудь смог ее удержать.

Пожалуйста, не беспокойтесь об отце. Он в хороших руках. -

Привет тете Лоррейн.

Бен Кейди

АБРАХАМУ КЕЙДИ — КФАР ШМАРЬЯХУ БЕТ — ИЗРАИЛЬ — 15.01.64

**РУКОПИСЬ ПРОЧЕЛ ТЧК СЧИТАЮ ТЕБЕ УДАЛОСЬ ТО
О ЧЕМ КАЖДЫЙ ПИСАТЕЛЬ МЕЧТАЕТ И ЧТО НЕМНО-
ГИМ УДАЕТСЯ ТЧК ТЫ НАПИСАЛ КНИГУ КОТОРАЯ БУ-
ДЕТ ЖИТЬ НЕ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ТВОЕЙ СМЕРТИ НО ДО
КОНЦА ВРЕМЕН ТЧК ТВОЙ ПРЕДАННЫЙ ДРУГ ДЭВИД
ШОУКРОСС**

Эйб прожил в Израиле больше года, но ни разу не побывал на кладбище под Хайфой. Только получив телеграмму от Шоукросса, он почувствовал, что вправе наконец посетить могилу отца.

«„Холокост” вышел в свет летом 1965 года. Мне понадобилась вся моя жизнь, чтобы, выпустив книгу, наутро проснуться знаменитым. Эта книга была написана кровью, и теперь со всех сторон на нее стали слетаться стервятники и паразиты, чтобы ухватить свою долю. Не последним из них был Лу Пеппер, который изъявил готовность не помянуть прошлого.

Когда я в начале года сдал готовую рукопись, меня охватило непреодолимое желание вернуться в Америку. Я снял в долгосрочную аренду прелестный домик из дерева и стекла на холмах Созалито с захватывающим дух видом через бухту на Сан-Франциско. Эта тяга обратно в Америку становилась сильнее из года в год по мере того, как меня все больше беспокоило то, что волновало и всех остальных: окажется ли человечество в состоянии и дальше жить на планете Земля?

Многое из того, от чего это зависело, происходило тогда вокруг Сан-Франциско и позволяло в какой-то степени предвидеть будущее остального мира.

В те дни для того, чтобы испортить себе настроение, достаточно было всего лишь подумать о повсеместной порче земли, воды и воздуха, о моральном загнивании, алчности, коррупции и о бесконечном числе других ошибок человечества, которые мы неожиданно остро осознали.

Перед человеком-хищником, расхитителем и губителем явственно предстали последствия греховных дел и преступлений, которые он творил тысячелетиями, и стало ясно, что Армагеддон неминуем уже в нынешнем веке. Все шло к страшной развязке. Если бы составить список всех злоупотреблений, совершенных человечеством, подсчитать, что оно получило и какие долги на нем висят, ему осталось бы только объявить себя банкротом.

Перед нами стоял пугающий вопрос: намерены ли мы жить дальше? Прежние боги и прежняя мудрость не могли дать на него ответ, и новое поколение охватило ужасное ощущение ненужности и отчаяния.

Великие, грандиозные войны остались в прошлом. Теперь в мире существовали две сверхдержавы, каждая из которых была способна повергнуть в прах всю планету. Поэтому отныне войны будут вестись лишь на небольших, ограниченных территориях и подчиняться самым жестким правилам. И теперь, когда о большой войне нечего было и думать, у человека появи-

лась потребность в чем-то таком, что заменило бы войны. Суть дела в том, что человечеству присущ врожденный изъян — непреодолимое стремление к самоуничтожению.

Вместо войн оно породило нечто иное, но столь же смертоносное. Оно хочет уничтожить себя, загрязняя воздух, которым дышит, занимаясь поджогами, мятежами и грабежом, разбивая вдребезги социальные институты и отменяя правила здравого смысла, бездумно истребляя целые виды животных, дары земли и моря, отравляя себя наркотиками, чтобы впасть в медленную летаргическую смерть.

На смену объявленным войнам пришла война против себя самого и своих братьев, которая делает свое дело быстрее, чем прежде на полях сражений.

Молодежь отбросила и растоптала множество прежних обычаев и этических норм. Обществу давно пора было избавиться от лицемерия, расизма и ложных сексуальных ценностей. Но, яростно выкорчевывая старое, молодежь разрушила великие ценности и мудрость прошлого, не создав ничего им взамен.

Что могу сделать я как писатель? Боюсь, очень немного. Ведь я видел, как ради лживых похвал из уст лжепророков литературу, искусство, музыку низвели до уровня какого-то безумного извращения, символа отчаяния и растерянности. Посмотрите на эти танцы. послушайте эту музыку.

Но мое дело — писать. На мою долю остается единственная надежда — что мне удастся заткнуть пальцем хоть одну течь в плотине, которая протекает в миллионе мест.

Мне казалось, что, если бы я смог создать в своем воображении один американский город и описать его историю и жителей во всех возможных аспектах, с самого начала до наступления упадка, это могло бы стать наиболее ценным, что я способен сделать. В своей новой книге я хотел вычленить и исследовать некую самостоятельную единицу, входящую в состав целого, чтобы, изучая ее, в какой-то степени достичь понимания тысяч других таких же единиц.

На сбор материалов и превращение их в роман должно было понадобиться три-четыре года. Ванесса скоро закончит свою военную службу в Израиле, приедет ко мне в Созалито и поступит учиться в университет в Беркли, где, кстати, и я буду искать материалы для своей книги.

Бен? Он теперь «сеген-мишне» — лейтенант военно-воздушных сил Израиля. Я горжусь им. И боюсь за него. Но я ве-

рю, что после такого обучения, какое прошел мой сын, он будет летать лучше, чем мы с братом.

Меня поддерживает мысль, что, открыв для себя Израиль, мои дети имеют теперь чистую, незамутненную цель в жизни — выживание нашего народа.

В конце концов, спасти человечество может только одно: если достаточное число людей станет жить не ради себя самих, а ради чего-нибудь или кого-нибудь другого.

Меня теперь часто приглашают выступать. Недавно я получил приглашение на один семинар для начинающих авторов и три дня отвечал на их вопросы.

«Ну конечно же, писателем может стать каждый. Я научу вас. Вот вам лист бумаги — пишите».

«Как это делается? Очень просто. Вы плотно усаживаетесь задом на стул и начинаете».

Когда пришла моя очередь сказать речь на банкете, я вышел на трибуну и обвел взглядом взволнованные, внимательные лица. «Кто здесь хочет стать писателем?» — спросил я. Все подняли руки. «Тогда какого дьявола вы не сидите дома и не пишете?» — сказал я и сошел с трибуны. Больше меня на семинары не приглашали.

Тем не менее евреи меня разыскали. Еврейская благотворительность всегда составляла непрременную часть жизни моего отца и всей моей семьи. Заботиться о своих ближних — вот в чем наш секрет выживания. В нем — суть Израиля. Я помню, как давным-давно в каждой из еврейских лавочек на Черч-стрит в Норфолке всегда стояла «пушка» — банка для сбора пожертвований на Палестину.

Должен сказать, что у евреев никогда не будет недостатка в поводах для сбора пожертвований. В 1965 году я сто шестнадцать раз выступал на собраниях, устроенных с этой целью. Все это я ужасно не люблю — от встреч в аэропорту и интервью для телевидения до ужинов в узком кругу крупных жертвователей, а когда мне надо выйти на трибуну, я пребываю в таком ужасе, что мне приходится накачиваться спиртным и транквилизаторами. Но после «Холокоста» я теперь в моде, и мне очень трудно отказывать этим людям».

Милли, секретарша Эйба, открыла дверь, и вошел Сидней Чернофф — представитель Университета имени Эйнштейн-

на, второго в Чикаго официально лицензированного еврейского учебного заведения.

— Мистер Кейди просил вам передать, что он на несколько минут опоздает. Подождите, пожалуйста, в его кабинете.

Так вот где он работает! Чернофф был в восторге. Он жадно впитывал мельчайшие подробности. Потрепанное кожаное кресло, выдавшая виды пишущая машинка, заваленный безделушками письменный стол, фотографии двух детей в израильской военной форме. Потом об этом можно будет рассказывать целую неделю! Одна из стен была от пола до потолка обита пробковыми панелями. Надпись вверху гласила: «Марк-Твен-Сити, штат Калифорния». Под ней были приколоты листки бумаги с датами, цифрами и именами: все действующие лица, их семейные связи, вся политическая, промышленная и культурная структура городка.

Только подумать — целый город, рожденный в воображении!

На длинном столе у противоположной стены громоздились стопки книг, бумаг и фотографий, отражавших все мыслимые стороны жизни города. Отчеты о динамике численности национальных меньшинств, о наводнениях, пожарах и забастовках, о действиях полиции и пожарной охраны.

Осмотр святыни был внезапно прерван громким треском приближавшегося мотоцикла. Сидней Чернофф выглянул в окно и увидел, как перед самым домом какой-то хулиган надал газу, потом заглушил мотор и слез. Господи Боже, да это Абрахам Кейди!

Чернофф постарался скрыть свое волнение, когда Кейди в высоких сапогах и кожаной куртке вошел, представился, плюхнулся в кресло, положил ноги на стол и велел Милли приготовить «Кровавую Мэри».

— Крутая у вас машина, — сказал Чернофф, стараясь выразиться по-модному.

— «Харлей Спортстер 900», — отозвался Эйб. — С места берет, как наскипидаренный.

— Да, на вид он очень мощный.

— Мне иногда бывает нужно освежиться и проветрить мозги. Я уже два месяца выезжаю патрулировать с бригадой, специализирующейся на наркотиках. Страшное дело. Вчера вечером мы нашли двух мертвых детишек — двенадцати и четырнадцати лет. Передозировка героина.

— Ужасно.

— У этого мотоцикла только один недостаток — он не умеет летать. Мне никак не хотят выдать права пилота-любителя — придираются к глазу.

Милли принесла «Кровавую Мэри» для Эйба и чай для гостя. Тот отхлебнул глоток, одобрительно причмокнул пухлыми губами и осторожно перевел разговор на цель своего визита. У него был глубокий мелодичный голос суперинтеллектуала, привыкшего вести умные беседы. Кейди, конечно, помешан на своем мотоцикле, но он же великий писатель и должен понимать возвышенную речь собрата по культуре.

Пережевая свои слова выражениями на иврите, изречениями из Талмуда и цитатами из собственных бесед с другими великими людьми, Чернофф пустился объяснять, почему такой выдающийся человек, как Абрахам Кейди, должен сотрудничать с Университетом имени Эйнштейна. Намечается учредить несколько профессорских постов в области литературы и искусства, на что необходимо собрать пожертвования. В свою очередь, Абрахам Кейди получит глубокое духовное удовлетворение от сознания того, что способствует делу еврейского просвещения и культуры.

Эйб с шумом сбросил ноги со стола на пол.

— С удовольствием помогу университету, — сказал он.

Сидней Чернофф не мог скрыть бурной радости. Кейди оказался вовсе не таким чудовищем, каким его изображали. Еврей — всегда еврей, и, если найти к нему правильный подход, его еврейская душа даст себя знать.

— Но с одним маленьким условием, — продолжал Эйб.

— Разумеется.

— Деньги, которые я для вас соберу, должны быть потрачены на одно-единственное дело. На них надо будет собрать хорошую футбольную команду, найти для нее тренера с именем и организовать серию встреч с лучшими командами страны.

Чернофф растерялся.

— Но в нашем университете есть прекрасная программа спортивных занятий в зале.

— Дело вот в чем, мистер Чернофф. У нас хватает ученых, врачей, естественников, философов, юристов, математиков, музыкантов и сборщиков пожертвований, чтобы укомплектовать любую слаборазвитую страну мира и даже штат Техас.

Но тут, по-моему, вот какая штука. Евреи две тысячи лет занимались разговорами, но что-то незаметно, чтобы это существенно укрепило их чувство собственного достоинства. А вот когда несколько тысяч наших людей в Израиле пошли в бой и вправили кое-кому мозги, нас стали уважать. Я хочу, чтобы Университет имени Эйнштейна выставил одиннадцать здоровенных еврейских ребят против команды «Нотр-Дам». Это должны быть такие евреи, которые могут сбить противника с ног, не испугаются силового приема, способны выиграть схватку и заработать штрафной за грубость. Такие евреи, чтобы могли перебросить мяч другому еврею за пятьдесят метров, а тот мог принять пас, когда на нем висят трое зверей-защитников.

Неделями Эйб копался в архивах профсоюза портовых грузчиков, вел дискуссии с социологами о причинах беспорядков, с риском для жизни или кошелька наведывался в гетто на Филмор-стрит, болтался в великосветском клубе «Пасифик юнион», выезжал с полицией на срочные вызовы, валял дурака с битниками, участвовал в демонстрациях в поддержку и против студенческих мятежей. А потом он устраивал себе отдых — пересекал на своем катере бухту и вместе с сан-францисскими рыбаками выходил в море на промысел. По несколько дней он терпел качку, тянул изо всех сил сети с уловом лосося, отращивал бороду, мочился через борт и пил с итальянцами — все это заряжало его энергией для очередного погружения в работу.

После четырех великолепных дней с холодным пронизывающим январским ветром и сильной зыбью шхуна «Мария Белла II», пыхтя мотором, шла проливом Золотые Ворота навстречу объятаям огромной бухты. Шкипер Доминик протянул Эйбу мешок крабов.

— Если бы моя мать увидела этих крабов, она перевернулась бы в гробу.

— Послушай, Эйб, — крикнул Доминик, — когда ты напишешь что-нибудь про меня?

— Уже написал. Это книжка, в которой всего одна страница. Она называется «Полная энциклопедия итальянцев — героев войны».

— По-твоему, это очень смешно, еврей несчастный? Твое счастье, что у тебя только один глаз.

— На самом деле два. А повязку я ношу из трусости.

«Мария Белла II», качаясь на океанской зыби, сделала крутой поворот перед островом Алькатрас и направилась к волшебному белому городу, поднимавшемуся над морем.

Когда они швартовались, на причале показался отец Доминика.

— Эй! Привет, Эйби. Твоя секретарша, она звонить. Она говорить, ты позвонить ей сразу.

— Милли, это Эйб. Что там случилось?

— Два дня назад пришла телеграмма из Лондона, от Шоукросса. Я не знала, сообщить о ней на шхуну по радио или нет.

— Читай.

— «Поводу холокоста возбуждено дело клевете против автора издателя типографии тчк истец сэр адам кельно бывший врач концлагеря ядвига тчк предмет иска упоминание его на странице 167 тчк девятнадцать лет назад британское правительство хотело выслать кельно но освободило его и позже возвел в рыцарское звание тчк немедленно вышли нам все источники этой информации тчк он требует изъятия книги продажи тчк если не приведешь доказательства нас ждут большие неприятности». И подпись — Дэвид Шоукросс.

Часть третья РЕЗЮМЕ ДЛЯ АДВОКАТА

Предисловие

Большой Лондон включает в себя, кроме лондонского Сити, еще тридцать два более или менее самостоятельных района — боро, среди которых — бывший городок Вестминстер, бывшая королевская резиденция Кенсингтон и другие столь же известные места.

Лондонское Сити — это крохотная территория в два с половиной квадратных километра, бывшее феодальное владение, расположенное вдоль Темзы между мостами Ватерлоо и Тауэр. Сити автономно и каждый год с большой помпой возобновляет этот свой статус, уплачивая короне взнос в размере шести подков, шестидесяти одного подковного гвоздя, одного топорика и одной алебарды. Когда король или королева намерены вступить на территорию Сити, они должны ждать, пока не получат на это разрешения от лорда-мэра. Многочисленные подобные церемонии, участники которых наряжены в мантии и парики, составляют забавный контраст с девушками в мини-юбках, работающими в банковском квартале.

Границы Сити отмечены особыми знаками, из которых самый известный — изваяние грифона в том месте, где кончается Стрэнд и начинается Флит-стрит. По давней традиции отец обязательно подводил сына к границе и давал ему увесистый шлепок, чтобы он на всю жизнь запомнил ту черту, которую не должен переступать. Эта церемония называлась «отбивание границ».

В пределах Сити находятся крупнейшее в мире средоточие газетных редакций — Флит-стрит, «Старая дама с Треднидл-стрит», как в шутку называют Английский банк, страховая компания «Ллойд», лондонский Тауэр, собор св. Павла, самый знаменитый в мире уголовный суд Олд-Бэйли, большой рыбный рынок, и все это охраняют символические копыеносцы, а в повседневной жизни — полицейские-бобби

шестифутового роста с особыми значками на шлемах, по которым их можно отличить от полицейских других районов Лондона.

В лондонском Сити расположено и еще одно замечательное учреждение — три из четырех судебных иннов. Как Сити не подчиняется Большому Лондону, так и инны не подчиняются Сити.

Судебные инны возникли много столетий назад. Они составляют неотъемлемую часть английской истории и величия Англии. В совокупности они образуют Университет права и, помимо прочего, содержат огромные библиотеки, проводят учебные показательные процессы. Инны всегда заполнены студентами; здесь устраивают парадные ужины в честь только что принятых в адвокатское сословие барристеров — юристов, которые одни только имеют право выступать в суде. Посреди окружающей их мирской суеты инны сохраняют почти монашескую безмятежность. Традиционные мантии — особые для каждого из иннов, и когда их члены отправляются на войну, то по традиции составляют отдельный полк.

Каждый королевский советник, или старший барристер, руководит несколькими младшими. Нередко два барристера, занимающие здесь один и тот же кабинет, в зале суда представляют противоборствующие стороны. Иногда говорят, что все это напоминает закрытый для посторонних кружок для упражнения в красноречии, что эти две тысячи барристеров имеют слишком большие привилегии и что тысячи тысяч прецедентов, составляющих английское общее право, слишком архаичны и запутанны. Здесь господствует закон ради закона.

Барристер выступает в процессе за определенный гонорар и не имеет права получать с клиента, выигравшего дело, часть присужденных ему денег. Он не может быть предан суду за свои высказывания в ходе судебного заседания. С другой стороны, он не имеет права возбуждать против клиента иск о взыскании гонорара. Коррупции в иннах не существует.

Поступить в инн может любой молодой или даже не очень молодой человек, получивший обычное университетское образование и располагающий несколькими сотнями фунтов. Его прикрепляют к одному из барристеров. Многие барристеры, блистающие красноречием в зале суда, ленятся готовить свои выступления. Подготовка материалов и составление безукоризненных, тщательно отработанных, тех-

нически совершенных бумаг позволяют ученику заслужить благоволение своего патрона. Он читает поступающие к барристеру бумаги, наводит для него справки в законах, сопровождает его в суде, трудится с утра до ночи. Он должен быть готов в любой момент подсказать своему шефу ссылку на нужное положение закона. Он учится быстро и точно делать записи во время судебных заседаний и предвидеть вопросы, которые ему могут задать.

Такое обучение продолжается год или больше. Все это время новичок изучает право, присутствует на обязательных обедах в инне, участвует в учебных процессах. Иногда на его долю выпадает удача: кому-нибудь из перегруженных делами младших барристеров бывает нужна помощь «негра» для подготовки его выступления или даже для ведения вместо него какого-нибудь малозначительного процесса в провинции.

Вступив в сословие адвокатов, новый младший барристер в числе десятка других прикрепляется к королевскому советнику. На хороших младших барристеров всегда есть спрос. В один прекрасный день в награду за особые заслуги королевский советник может вручить младшему барристеру красный мешок, в котором тот будет носить его мантию, парик и книги.

Лет через пятнадцать король может назначить младшего барристера королевским советником, и тот получает право носить шелковую мантию. Королевский советник только выступает в суде, вся подготовка дела входит в обязанности младших барристеров.

Когда видному королевскому советнику перевалит за пятьдесят, он может быть назначен судьей с автоматическим присвоением ему рыцарского звания. Это вершина юридической карьеры. Но бывает и так, что люди до конца своих дней остаются младшими барристерами.

1

Октябрь 1945 года

Площадь перед парламентом огласил колокольный звон, возвещавший о наступлении нового юридического года и о начале знаменующей его древней торжественной церемонии.

Война была позади, и Британская империя осталась после нее в целостности и сохранности. Англичане занимались расчисткой домов, разрушенных в центре Лондона немецкими бомбардировками, — вскоре и им предстояло уйти в прошлое. Недалеко было то время, когда восстаноят прежние порядки и вернуться старинные традиции. Правда, иногда с опаской поговоривали о наступающем «дивном новом мире», но такие разговоры, похоже, начинались после каждой войны. Англичане не ожидали никаких радикальных изменений — они хотели, чтобы все шло, как заведено, без всяких драматических передрыг, которые так милы сердцам представителей латинских рас или жителей Леванта. Новая эра должна быть в точности похожей на старую.

Если же кто-либо в том сомневался, ему надо было просто попасть сюда в этот день, и он понял бы, что такое Англия. В стенах Вестминстерского аббатства лорд-канцлер Великобритании, в великолепной черно-золотой мантии, командовал судьями и барристерами, собравшимися на богослужение. В то время как они молили Бога руководить ими в отправлении закона, их коллеги-католики служили мессу в своем соборе.

Огромные двери аббатства распахнулись, и процессия двинулась. Впереди всех шел жезлоносец — высокий, худой человек с мрачным лицом, за ним — носитель большой печати. На обоих были штаны в обтяжку до колен, башмаки с пряжками и целые каскады кружев.

Дальше шествовал лорд-канцлер — лорд Рэмси, отягощенный сознанием своей значительности. За ним выступали пышно разряженные судьи: лорд-главный судья в пурпурной мантии с горностаевым воротником и с тяжелой золотой цепью дома Ланкастеров на шее, дальше — начальник судебных архивов, по традиции — заместитель лорда-канцлера и глава канцлерского суда, и все остальные судьи в порядке своих рангов — все в штанах до колен, башмаках с пряжками и париках до пояса. Потом длинной вереницей шли старшие барристеры — королевские советники в черных шелковых мантиях и громадных париках времен королевы Анны. Замыкали шествие младшие барристеры.

В наше время, когда повсюду идут разговоры о необходимости решительных перемен, можно слышать, что британская юридическая система устарела, замкнулась в собст-

венном кругу, остро нуждается в реформах и задыхается в своих древних ритуалах. Однако после того, как она благополучно просуществовала уже почти тысячу лет, не так просто доказать, что какая-нибудь другая система, созданная человеком, может ее превзойти, и столь же трудно не согласиться с тем, что она и сейчас надежно и быстро удовлетворяет потребность общества в правосудии.

Душа английской правовой системы — лорд-канцлер. Он — один из немногих людей в мире, которые занимают важнейшие посты сразу во всех ветвях власти. В качестве самого старшего по рангу судьи он стоит во главе всей судебной структуры Англии. Лорд-канцлер рекомендует короле новым судьям и назначает младших барристеров королевскими советниками, вводя их тем самым в высший круг адвокатуры.

Он же — спикер палаты лордов и председательствует на ее заседаниях, сидя на традиционном мешке с шерстью, символе его парламентской должности.

Он — главный юридический советник короны.

Он — член кабинета министров.

В парламенте он способствует принятию законов. В качестве советника и члена кабинета — способствует их выполнению. В качестве судьи он пресекает их нарушение.

Он — пленник величественных апартаментов в здании парламента, выходящих на Темзу. Не покидая их, он возглавляет сотни комиссий: по судебной реформе, по распределению общественных фондов, по юридическому образованию, по юридической помощи населению, по управлению больницами, колледжами, юридическими коллегиями и благотворительными обществами. Но это еще не все: лорд-канцлер обременен обязанностью присутствовать на множестве церемоний. За все это он получает жалование — примерно тридцать пять тысяч долларов в год. И тем не менее, будучи «королевской совестью», он является наследником целой великой эпохи. Благородство и достоинство — вот его девиз. Он — хранитель традиций.

Да, простой лондонец, видевший все это в тот день, вряд ли поверил бы в возможность каких-нибудь решительных перемен.

В 1945 году лордом-канцлером Англии был Сирил Рэмси, достигший вершины своей юридической карьеры. В октяб-

ре этого года, после торжественного богослужения в Вестминстерском аббатстве, лорд Рэмси поздравил с началом нового юридического года всех судей и барристеров, с которыми был связан давними личными и профессиональными отношениями.

К нему подошел королевский советник Энтони Гилрей. У Рэмси на столе лежало на подписи ходатайство о назначении Гилрея судьей Высшего суда правосудия. По его мнению, это была хорошая кандидатура. Гилрей был надежен, как фунт стерлингов. Десятью годами раньше, только став лордом-канцлером, Рэмси произвел младшего барристера Гилрея в королевские советники. Когда его теперешнее ходатайство будет автоматически удовлетворено, Гилрей, как и все судьи Высшего суда, будет возведен в рыцарское звание, принесет присягу и возглавит одно из подразделений Высшего суда — Суд Королевской Скамьи.

— Привет, Тони, — сказал Рэмси, протягивая ему руку. — Рад видеть тебя здесь после армии.

— И я рад, что снова здесь.

— Как все это на твой взгляд?

— Да как всегда. Англия никогда не меняется.

2

Январь 1966 года

Мистер Буллок, старший клерк фирмы «Хоббинс, Ньютон и Смидди», позвонил мистеру Радду, клерку королевского советника сэра Роберта Хайсмита, и они договорились, что сэр Хайсмит примет мистера Смидди и его клиента.

За прошедшие годы Роберт Хайсмит стал крупной фигурой, одним из лучших в Англии специалистов по делам о клевете, а за активную деятельность по защите политических заключенных он был возведен в рыцарское звание. Однако, несмотря на столь высокое положение, он работал в убогом кабинете с облезлыми обоями и не мог расстаться с ветхим диваном, вытертым ковром и никуда не годным газовым рожком для отопления, правда, Хайсмит держал в комнате и переносной электронагреватель. Единственным предметом роскоши здесь, как и в кабинетах большинства барристеров, был огромный отделанный кожей письмен-

ный стол в викторианском стиле. Впрочем, под окнами стоял новый «роллс-ройс» советника.

Сэр Роберт Хайсмит и сэр Адам Кельно пристально вгляделись друг в друга, припоминая свои встречи много лет назад. Сэр Роберт с тех пор поседел, стал еще грузнее, и волосы его уже не были взъерошены, как тогда. На столе перед ним лежал экземпляр «Холокоста».

— По-видимому, нет почти никаких сомнений: вас действительно оклеветали. На первый взгляд можно подумать, что никаких возможностей для защиты у них нет. Однако мы должны учитывать, что оскорбляющее вас место в книге представляет собой всего один абзац в труде из семисот страниц. Узнают ли читатели вас, титулованного британского гражданина, в персонаже, о котором говорится лишь вскользь как о враче в концлагере «Ядвига», даже без упоминания национальности этого доктора?

— Возможно, и нет, — ответил Адам, — но мой сын меня узнал, и еще один юноша, мой подопечный, — тоже.

— Когда речь идет о возмещении ущерба, большую роль играет весомость оспариваемого обвинения. Размер возмещения может оказаться чисто номинальным.

— Ущерб причинен вот здесь, — сказал Адам, ткнув себя пальцем в грудь.

— Я хочу сказать, что мы рискуем открыть ящик Пандоры. Если другая сторона решит принять бой, уверены ли мы, что выйдем из него без единого пятнышка? Можем ли мы считать, что наши руки совершенно чисты?

— Никто не может знать этого лучше, чем вы, — сказал Адам. — Я считаю, что эти слова намеренно вставлены в книгу как часть заговора, который будет преследовать меня до конца жизни. Но сейчас, по крайней мере, я имею возможность дать отпор, и не в пародии на суд, как в Польше, а перед лицом британского правосудия.

— Вам не кажется, что они вряд ли решатся на открытый бой? — спросил Ричард Смидди.

— Если мы предъявим им достаточно жесткие требования, они, вероятно, будут вынуждены защищаться. Все зависит от того, как оценивает причиненный ущерб сэр Адам.

— Как я оцениваю ущерб? Не считая ада, пережитого в лагере «Ядвига», я сидел в Брикстонской тюрьме и семнадцать лет провел в изгнании — в Сараваке, и все это — из-за

них. Я не сделал ничего плохого. Как, по-вашему, я должен оценить ущерб?

— Прекрасно, — сказал сэр Роберт. — Но я все же должен несколько умерить ваше возмущение с учетом реальной ситуации. Вы это понимаете?

— Да.

— Очень жаль, сэр Адам, что вам снова придется через все это пройти. Будем надеяться, что они проявят рассудительность.

В приемной Смидди попросил мистера Радда связаться с его клерком мистером Буллоком и решить вопрос о гонораре. Выйдя на улицу, Смидди и Кельно направились в сторону Стрэнда и остановились на переходе, дожидаясь, когда прервется поток черных такси и красных двухэтажных автобусов. На другой стороне улицы возвышался злобещий серый фасад Дома правосудия.

— Попомните мои слова, сэр Адам: до суда наше дело не дойдет.

*«Хоббинс, Ньютон и Смидди»,
адвокаты
Чансери-Лейн, 32
Лондон*

*Абрахаму Кейди,
издательству «Шоукросс пাবлишерз»,
типографии «Хамбл, Лтд.»*

Господа,

После нашего первого обращения к Вам мы получили указание нашего клиента, доктора медицины сэра Адама Кельно, запросить Вас о нижеследующем:

1. Намерены ли Вы принести свои извинения на заседании суда?

2. Каким образом Вы предполагаете возместить сэру Адаму Кельно понесенные им в связи с этим делом расходы?

3. Что Вы намерены предпринять для изъятия из всех книжных магазинов всех экземпляров «Холокоста» и для исключения упоминания о докторе Кельно из всех последующих изданий книги?

4. Поскольку обвинения против сэра Адама Кельно абсолютно лишены оснований, невозможно представить себе более

тяжкую клевету по адресу человека его профессии. Каким образом Вы намерены возместить существенный ущерб, нанесенный его доброму имени?

Поскольку наш клиент требует извинений в открытом заседании суда, необходимо вручить Вам повестку с вызовом в суд. Просим сообщить нам, какая адвокатская фирма будет Вас представлять.

*Искренне Ваши,
«Хоббинс, Ньютон и Смидди».*

3

В Созалито Абрахам Кейди перечитывал свои записи и рассылал запросы в архивы, исторические общества и частным лицам в Вене, Варшаве, Нью-Йорке, Мюнхене и Израиле. Имя Кельно, вскользь упомянутое в его огромной книге, ему почти ничего не говорило.

А в Лондоне маленький конференц-зал издательства «Шоукросс паблишерз» был превращен в нечто вроде штаба кампании.

Прежде всего, Шоукросс тщательно рассмотрел дело о высылке Кельно. Здесь его ждало первое важное открытие. Оказывается, доктор Марк Тесслар был еще жив и работал в Рэдклиффском медицинском центре в Оксфорде. Годы не ослабили и не притупили чутья Шоукросса. У него появилось ощущение, что обвинения Тесслара правдивы, и это побудило его расширить рамки расследования.

Большую часть своих издательских дел Шоукросс передал зятю Джеффри Додду и дочери Пэм. А их сына Сесила, который совсем недавно начал работать в издательстве, Шоукросс сделал своим личным помощником в расследовании.

Исходной точкой было обвинительное заключение по делу военного преступника штандартенфюрера СС доктора Адольфа Фосса, главного врача концлагеря «Ядвига». К сожалению, суд над Фоссом так и не состоялся: он покончил с собой в тюрьме. Однако гамбургская прокуратура располагала списком свидетелей, который насчитывал около двухсот человек.

Правда, и обвинительное заключение, и список свидетелей были уже почти двадцатилетней давности. Многие из тех, кто числился в списке, умерли, другие сменили место жительства или вообще исчезли бесследно. Тем не менее Шоукросс, не пропустив ни одного, разослал им письма на десяти языках. Целую стену конференц-зала занимали огромные схемы, на которых отмечалось, что сделано и на какие письма получены ответы.

Кое-какая информация в Лондон поступила. Но большая ее часть вызывала лишь разочарование. Никто не заявил, что может опознать Адама Кельно, и все категорически утверждали, что операции в бараке № 5 проводились в абсолютной тайне.

Запросы, направленные в Польшу, остались без ответа. Польское посольство в Лондоне держалось уклончиво. Шоукросс понял, что поляки пока не решили, какую позицию занять в этом деле. Бюрократы из посольств других стран Восточной Европы из осторожности отвечали на запросы отписками. В конце концов, Абрахам Кейди был известен как писатель-антикоммунист.

Прошло четыре месяца. Большинство линий расследования, нанесенных на схемы, закончились тупиками. Лишь несколько пунктиров, которые вели в Израиль, позволяли еще на что-то надеяться.

И тут Шоукросс получил тяжелый удар ниже пояса.

Арчибальд Чарлз 3-й, председатель правления типографской фирмы «Чарлз, Лтд.», попыхивал сигарой в своем роскошном, отделанном деревянными панелями кабинете в Сити, размышляя об этом неприятном деле.

Империя Чарлза состояла из четырех крупных типографий на Британских островах, лесных угодий для производства бумажной пульпы в Финляндии и целого конгломерата фирм-партнеров, разбросанных по всему континенту. Продукция Дэвида Шоукросса составляла в обороте фирмы всего лишь малые доли процента. Тем не менее Шоукросс занимал здесь особое место — точно так же, как этот выдающийся редактор и знаток литературы занимал особое место во всем издательском мире. Отец Арчибальда был близким приятелем Шоукросса, и Арчибальд не раз слышал от него, что именно таким должен быть настоящий издатель.

Хотя деловые отношения с Шоукроссом и не имели для династии Чарлзов большого значения, их личные связи не прервались и после того, как молодой Арчибальд возглавил фирму. Шоукросс всегда мог рассчитывать на то, что книга, которую он хочет выпустить поскорее, будет напечатана вне очереди.

— Мистер Шоукросс на проводе, — сказала секретарша Чарлза.

— А, Дэвид, привет, это Арчи.

— Как дела?

— Хорошо. Что, если я загляну к вам после обеда?

— Отлично.

Сойти с высот своего великолепного небоскреба в убогое помещение издательства Шоукросса означало для Чарлза проявить особое уважение к издателю. Арчибальд был в дорогом костюме и котелке — этого требовали его обязанности перед акционерами. Мимо тесных комнаток, где работали редакторы и секретари, его провели по коридору в «штаб». Он с интересом посмотрел на схемы, висевшие на стене. Они пестрели надписями красным карандашом: «Возможности поиска исчерпаны». Кое-где попадались синие звездочки, означавшие сколько-нибудь обнадеживающие результаты.

— Господи, что это у вас?

— Я ищу иголку в стоге сена. Вопреки всеобщему мнению, ее можно найти, если долго искать.

— А издавать книги вы больше не собираетесь?

— Этим занимаются Джефф и Пэм. У нас есть кое-какие планы на осень. Хотите чаю?

— Спасибо.

Когда принесли чай, Шоукросс закурил сигару.

— Я по поводу дела Кельно, — сказал Чарлз. — Как вы знаете, я поручил одному из моих лучших людей бросить остальные дела и заниматься только анализом всего, что вы мне прислали. Вы с Пирсоном уже несколько раз встречались.

— Да. Очень симпатичный человек.

— Мы передали дело нашим адвокатам и проконсультировались с Исраэлом Мейером — вы, вероятно, согласитесь, что это один из лучших нынешних барристеров. Кроме того, мы выбрали Мейера потому, что он еврей и должен симпатизировать вашей позиции. Во всяком случае, я созвал специальное заседание правления, чтобы принять решение.

— Но я не вижу, что тут решать, — сказал Шоукросс. — С каждым днем мы узнаем о Кельно что-то новое. Какое может быть решение, когда у нас нет выбора?

— Тогда наши с вами мнения, Дэвид, существенно различны. Мы выходим из этого дела.

— Что?!

— Мы дали указание нашему адвокату встретиться с людьми Смидди. Они согласны уладить дело, если мы заплатим около тысячи фунтов и принесем извинения в открытом судебном заседании. Рекомендую вам последовать нашему примеру.

— Арчи, я просто не знаю, что сказать. Неужели вы это серьезно?

— Совершенно серьезно.

— Но разве вы не понимаете, что, договорившись с нами поодиночке, они уничтожат Абрахама?

— Дорогой мой Дэвид, мы с вами стали невинными жертвами дурака-писателя, который не смог толком разобраться в фактах. Почему вы должны отвечать за то, что Кейди оклеветал уважаемого английского врача?

Дэвид с шумом оттолкнул стул, вышел из-за стола и подошел к схемам на стене.

— Посмотрите, Арчи. Это только за последние несколько дней. Вот показания человека, который был кастрирован.

— Послушайте, Дэвид, я не буду с вами спорить. Мы сделали то, что должны были сделать. И Пирсон, и наши адвокаты, и наш барристер, и члены моего правления изучили всю информацию и пришли к единодушному решению.

— И ваше личное мнение с ним совпадает, Арчи?

— Я возглавляю акционерную компанию.

— В таком случае на вас, Арчи, лежит долг перед обществом.

— Чепуха. Все акционеры одинаковы. Я молчал, когда вы превратили свое издательство в сыскное агентство. Я не стал указывать на вас пальцем и говорить, что именно вы втянули нас в эту историю. И я еще раз говорю вам — бросьте это дело.

Шоукросс рывком вынул сигару изо рта.

— Извиняться перед сукиным сыном, который отрезал яйца у здоровых людей? Ну нет, сэр! Вам надо бы читать кое-что из того, что печатают ваши типографии.

Арчибальд Чарлз открыл дверь.

— Приходите завтра с Лоррейн к нам обедать, а потом в театр.

Ответа не было.

— Да бросьте вы, Дэвид. Ведь мы с вами не допустим, чтобы это испортило наши отношения?

4

В последние несколько недель отношения между Шоукроссом и его зятем Джеффри Доддом стали заметно прохладнее. Пэм и Джеффри явно считали, что он тратит на Кельно слишком много времени. Шоукросс решил, что надо бы поправить дело, пригласив их в свой загородный дом у моря, в Рамсгете.

План новых публикаций на осень был довольно убогим, да и на весну ничего особо перспективного не предвиделось. Раньше в такие мертвые промежутки Шоукросс ухитрялся, проявив поистине сверхъестественное чутье, разыскать какую-нибудь темную лошадку, которая потом попадала в список бестселлеров. Однако теперь все его время уходило на громадную переписку, переводы писем и попытки достучаться до коммунистических посольств. На этот раз ежегодного чуда Шоукросса ожидать не приходилось.

Дело Кельно возникло в самый неподходящий для издателя момент. Он чувствовал, что стареет, и хотел бы все больше времени проводить в Рамсгете, занимаясь только редактированием и работой с новыми авторами. С остальными издательскими делами прекрасно справлялись Джефф и Пэм, а теперь, когда на семейную фирму пришел работать и их сын Сесил, за ее будущее можно было не беспокоиться.

Джефф и Шоукросс, как много раз за последние десять лет, прогуливались у подножья прибрежных меловых скал, обсуждая дела фирмы, заказы на бумагу, прием и увольнение сотрудников, контракты, графики, планы участия во Франкфуртской книжной ярмарке и замыслы новых книг.

Шоукросс ткнул тростью в песок:

— Я все еще не могу прийти в себя от этого удара со стороны Арчи.

— Может быть, это знамение, — сказал Джефф.

Дэвид озабоченно посмотрел на него. Он всегда считал, что хорошо знает Джеффри и может положиться на его безоговорочную преданность.

— Ну-ка, выкладывай, Джефф. Что у тебя на уме?

— У нас не было ни одной выигрышной книги после... ну да, после «Холокоста». За следующий роман Абрахам сядет только через год, еще год будет его писать, плюс шесть месяцев на то, чтобы мы его выпустили. Обычно, когда мы оказывались в таком положении, ты лез в карман и доставал что-нибудь подходящее.

Шоукросс что-то проворчал и швырнул окуроч сигары в воду.

— Я знаю, что ты собираешься сказать. Что надо найти себе крышу — слиться с какой-нибудь богатой фирмой. Ну и кому ты будешь продаваться? Производителю туалетной бумаги? Мыльному фабриканту? Или нефтяному магнату, который хочет видеть своего идиота-сына издателем?

— Но это позволило бы нам выпускать не десять книг в год, как сейчас, а тридцать, и залучить к себе какого-нибудь Миченера или Ирвинга Уоллеса.

— Я всегда надеялся, что наша фирма останется семейной, но вряд ли это реально, да?

— Дело в том, — сказал Джефф, — что никто не будет разговаривать с нами о слиянии, пока над нами висит это дело о клевете.

— Я не брошу Абрахама, если он сам не решит сдаться.

— Тогда я должен тебе кое-что сказать. Издательство «Ламберт-Филлипс» предложило мне пойти к ним в совет директоров.

— Какая наглость — переманивать моих людей!

— Я сам немного приложил к этому руку.

— А, вот что...

— Речь идет о должности главного редактора, членстве в правлении, пакете льготных акций. Зарплата — почти на тысячу больше, чем у меня сейчас. Откровенно говоря, я даже удивился.

— Удивляться нечему, ты хороший работник, Джефф. А как насчет Сесила?

— Он хочет туда вместе со мной.

Дэвид почувствовал, что земля закачалась у него под ногами. Уютный маленький мир, который он самозабвенно, с любовью создавал всю жизнь, внезапно развалился.

— Пэм, конечно, целиком «за»?

— Не совсем. Она за то, чтобы мы нашли партнера, но сохранили фирму Шоукроссов. Но для этого надо, чтобы ты принял решение в этой истории с Кельно. Я скажу тебе, почему затеял эти переговоры с «Ламберт-Филлипсом». Тут дело не только в деньгах. Просто у Дэвида Шоукросса слишком большой размер ноги, любому другому его сапоги окажутся не по мерке — великоваты. Конечно, я неплохой главный редактор, но, видит Бог, Дэвид, ты в одиночку вел такое дело, какого ни Сесилу, ни мне в наше время не потянуть.

Они подошли к дому.

— Спасибо за этот разговор, Джефф. Я подумаю.

Столбик пепла на сигаре Дэвида достиг десятисантиметровой длины. На животе у него лежала корректура, но он уже целый час смотрел в нее отсутствующим взглядом, не читая.

Лоррейн присела на край кровати, вынула у него изо рта сигару и дала ему таблетки.

— Пэм все рассказала мне сегодня, когда вы с Джеффом ходили гулять, — сказала она. — Как ты думаешь, что нам делать, дорогой?

— Трудно сказать. Но какое-то решение придется принять довольно скоро. На будущей неделе Абрахам собирается быть в Лондоне.

5

Самой любимой на свете комнатой для Абрахама Кейди была библиотека Дэвида Шоукросса с ее запахом мягкой кожи и множеством коричневых, зеленых и синих корешков невероятной коллекции первых изданий. В ней были представлены почти все выдающиеся писатели XX века. Эйб очень гордился тем, что его «Холокост» занимал здесь видное место — это была самая объемистая книга, выпущенная Шоукроссом.

Через минуту вошел адвокат Шоукросса Аллен Левин. Эйб знал, что он хороший юрист и верный союзник Шоукросса.

— Прежде чем мы перейдем к делу, — сказал Левин, — я хотел бы выяснить одно обстоятельство. Что вы сейчас можете сказать о том абзаце, который сочтен клеветой? Как он оказался в вашей книге?

Эйб улыбнулся.

— Когда я даю интервью, журналист потом печатает про меня три-четыре сотни слов, и в них всегда найдется дюжина ошибок. В этой книге я сделал всего одну ошибку на семьсот страниц. Готов признать, что ошибка грубая. Но та же информация о Кельно печаталась и раньше. Он числился в списке военных преступников. После всего, что я узнал, когда готовился писать эту книгу, и особенно когда читал материалы процессов над врачами — военными преступниками, любой на моем месте был бы готов поверить всему, что бы о них ни говорили. То, что я вычитал про Кельно, я нашел в источниках, которые на тот момент считались абсолютно надежными, и это вполне соответствовало другим фактам германских зверств. Впрочем, это, конечно, не оправдание.

— Абрахам — самый дотошный и точный из нынешних писателей, — сказал Шоукросс. — Такую ошибку мог сделать кто угодно.

— Было бы хорошо, если бы ее и сделал кто угодно, кроме него, — заметил Левин. — И желательно — в книге, выпущенной другим издательством.

Он открыл портфель, а Шоукросс распорядился принести всем виски.

— Вы поддерживаете постоянные контакты с мистером Шоукроссом и знаете, что наши результаты, полученные независимо друг от друга, в общем совпадают. Что касается ситуации в издательстве, то Джефф и Сесил намерены уйти, если не будет найден партнер, а это невозможно, пока дело не закрыто.

— Этого я не знал, — сказал Эйб.

— Мы должны ознакомить вас с финансовым положением фирмы «Шоукросс публишерз», чтобы вам стало понятно, как мы подходим к нашему решению.

— Прости, Эйб, что тебе приходится заниматься всей этой ерундой, — сказал Шоукросс. — Но дело слишком серьезное.

— Валяйте.

— Текущие и предполагаемые издания принесут определенную прибыль. Мистер Шоукросс, как вы, может быть, знаете, не елишком богат. Банки и типографии всегда с готовностью предоставляли ему кредит благодаря его выдающейся личной репутации. Реальные активы компании состоят из ее прошлых изданий и трех выдающихся серий. Но самый большой ее актив — это его личность. Что касается его собственного состояния, то его нельзя назвать огромным. И столь серьезный судебный иск неминуемо затронет и его.

Я еврей, мистер Кейди, — продолжал Левин. — Я принял во внимание все моральные аспекты ситуации. Мы потратили на это дело не один месяц, и теперь мы должны хладнокровно оценить риск, на который идем, и возможности, которыми располагаем. Мы имеем несколько туманных показаний людей, прооперированных в концлагере «Ядвига», но никто, кроме доктора Тесслара, не претендует на то, чтобы быть очевидцем. Я познакомил с показаниями Тесслара трех барристеров. Все они полагают, что он окажется весьма уязвимым свидетелем, особенно в руках такого мастера перекрестного допроса, как сэр Роберт Хайсмит. Затем остается вопрос о том, явится ли в Лондон кто-то из остальных свидетелей, а если явятся, то ценность их показаний будет сомнительна. В британском суде наши шансы крайне невелики... если не равны нулю.

Эйб молчал.

— Есть и другие факторы, — сказал Левин. — У Кельно прекрасная репутация. Издержки по ведению такого процесса огромны. Формально мистер Шоукросс не повинен в клевете в силу вашего с ним контракта. Однако, если он останется соответчиком и решение суда окажется не в вашу пользу, Кельно вцепится в Шоукросса в первую очередь — прежде всего, потому, что его деньги находятся в Англии. Любое существенное возмещение ущерба может поставить мистера Шоукросса в крайне трудное положение. В настоящий момент Ричард Сидди готов проявить умеренность. Дело против мистера Шоукросса может быть прекращено при условии добровольной выплаты им возмещения и изъятия из продажи тридцати тысяч экземпляров «Холокоста». Это недешево ему обойдется, но тогда он, по крайней мере, сможет подыскать себе партнера. Моя интуиция подсказывает, что доктору Кельно нужны не столько деньги, сколько

личная реабилитация, и в конце концов он пойдет с вами на разумное соглашение. Если же вы будете упорствовать и проиграете дело в Англии, то он не оставит в покое и два десятка зарубежных издателей, с которыми вы связаны существенными денежными обязательствами.

— Вы предлагаете мне пойти на соглашение?

— Да.

— Хорошо, — сказал Эйб. — Я хочу назначить вас своим адвокатом.

Левин с улыбкой кивнул.

— А теперь, когда вы мой адвокат, я вас увольняю, — заявил Эйб и вышел из комнаты.

6

«Мне не хватает моего мотоцикла. Мне не хватает ветра, который пронизывал бы меня насквозь на скорости сто миль в час. Мне не хватает моих детей. Бен — человек без нервов. Поэтому он такой хороший летчик. Бен придает мне спокойствие. А Ванесса — сама кротость. Даже израильская армия не ожесточила ее.

Я люблю Лондон. Даже теперь мне здесь тепло. Я наизусть знаю каждую улицу в Мэйфере.

В моей следующей жизни я буду англичанином. Нет, лучше хулиганистым поэтом-драматургом из Уэльса. Я зубами и когтями проложу себе путь в Лондон, а потом и в театры Вест-Энда. У меня будет веселая квартирка в Челси, и на весь город будут славиться мои сумасшедшие разгульные вечеринки, на которых я буду читать свои стихи и смогу перепить любого из гостей.

Вот такой у меня заказ на перевоплощение, Господи. Что же до этой жизни, то я — Абрахам Кейди, еврей-писатель. Посмотри на меня повнимательнее, Господи. Я слишком много пью. Я десять миллионов раз изменял жене. Я совершаю блуд с чужими женами. Господи, неужели ты всерьез считаешь, что я похож на брата Твоему сыну? А если нет, то какого же дьявола ты собираешься распять меня на кресте?

Почему меня?

Я не опозорил своей профессии. Ты видел контракт, от которого я отказался, чтобы написать эту чертову книгу? И

теперь, когда у меня есть сколько-то долларов в банке, разве справедливо будет меня разорить?

Господи, как я хотел бы, чтобы дети были здесь. Как я хотел бы быть валлийцем-поэтом».

— Ладно, — сказал Эйб. — Сдаюсь. Где я?

— В моей квартире, — ответила женщина.

— В Сохо или в Челси?

— Не угадали. На Беркли-сквер.

— Ого! Это звучит.

Эйб с трудом сел, надел глазную повязку и попытался сфокусировать здоровый глаз. Спальня была образцом роскоши и хорошего вкуса. А женщина... Лет сорок пять, миловидна, выхолена, хорошо сохранилась. Густые каштановые волосы, большие карие глаза.

— Между нами что-нибудь было? Не обижайтесь, но я ничего не помню, когда слишком много выпью.

— Ничего особенного вы не совершили.

— Где вы меня подобрали?

— В клубе «Бенгал». Вы там забились в угол, пьяный до потери сознания. В первый раз в жизни я видела человека, который сидит, смотрит на меня в упор и совершенно не соображает, что происходит. Я спросила моего спутника, кто этот смешной человек с одним налитым красным глазом, и он сказал, что это же знаменитый писатель Абрахам Кейди. Ну разве можно допустить, чтобы Абрахам Кейди и дальше сидел, не соображая, что происходит, и освещая все вокруг своим налитым красным глазом, словно светофор?

— Остроумно.

— На самом деле меня попросили позаботиться о вас наши общие друзья.

— Какие друзья? — подозрительно спросил Эйб.

— Наши друзья из дома два по Палас-Грин.

Услышав адрес посольства Израиля, Эйб посерьезнел. Во всех своих поездках он всегда знал, где найти кого-нибудь из «друзей», а «друзья» знали, как связаться с ним. Нередко связь устанавливалась и через посредников.

— Кто вы? — спросил Эйб.

— Сара Видман.

— Леди Сара Видман?

— Да.

— Вдова лорда Видмана из лондонского отделения «Друзей Еврейского университета», «Друзей Техиона», «Друзей Института имени Вейцмана»?

Она кивнула.

— Я бы хотел встретиться с вами еще, при более благоприятных обстоятельствах.

Ее ответная улыбка была дружелюбной и теплой.

— Что сейчас в состоянии принять ваш желудок?

— Апельсиновый сок. Литрами.

— В гостевой ванной вы найдете все, что вам понадобится.

— Все приготовлено для меня?

— Никогда не знаешь наперед — а вдруг подвернется попавший в беду писатель.

Эйб заставил себя встать. В гостевой ванной было все необходимое, особенно для любовника. Из дома можно с собой ничего не брать. Бритва, лосьон после бритья, новая зубная щетка, таблетки от изжоги, пудра, махровый халат, шлепанцы и дезодорант. Приняв душ, он окончательно пришел в себя.

Леди Видман отложила «Таймс», сняла очки на тонкой золотой цепочке и налила Эйбу апельсинового сока.

— Так что происходит, леди Видман?

— Можно просто Сара. У наших друзей создалось впечатление, что Кельно в концлагере «Ядвига» был замешан в кое-каких довольно скверных делишках. Они попросили меня разобраться. Я активистка еврейской общины.

— Дело в том, Сара, что у меня возникли проблемы.

— Да, я знаю. Вам что-нибудь говорит имя Джейкоба Александера?

— Я знаю только, что это видный лондонский адвокат-еврей.

— Он много занимается еврейскими делами. Есть большая заинтересованность в том, чтобы вы остались ответчиком в этом процессе.

— Почему? Евреям понадобился еще один мученик?

— Кажется, появились кое-какие интересные новые показания.

Контора фирмы «Александр, Бернштейн и Фридман» занимала три этажа одного из зданий Линкольнз-Инна. Швейцар в цилиндре знаками указал леди Видман место на

зарезервированной стоянке, где она поставила свой «бентли», и Эйб последовал за ней по лабиринту крохотных комнат, скрипучих полов, бесконечных пачек бумаг, книжных полок до потолка, укромных уголков и деревянных лестниц.

Секретарша Александра по имени Шейла Лэм, молодая дама в мини-юбке, появилась в дверях маленькой приемной, где стоял стол, заваленный старыми подшивками «Панча», и сказала:

— Прошу пройти со мной.

Джейкоб Александер встал из-за письменного стола — высокий худой человек с гривой седых волос, похожий на изображение библейского пророка. Он тепло поздоровался с Кейди и заговорил глубоким голосом опытного раввина.

— Мы много совещались по этому поводу, — сказал он. — Нечего и думать о том, чтобы принести Адаму Кельно извинения в судебном заседании. Это будет воспринято как извинение перед нацистами за то, что мы осуждаем лагерь уничтожения.

— Я прекрасно понимаю, о чем идет речь, — сказал Эйб. — Но я хорошо знаю, каковы наши шансы. — Он пересказал пессимистические прогнозы Левина и добавил, что Шоукросс, вероятно, выйдет из процесса.

— К сожалению, мистер Кейди, вы стали международным символом в глазах как евреев, так и неевреев. Человек, написавший «Холокост», обязан принять на себя ответственность, отказаться от которой он не имеет права.

— На какую поддержку я могу рассчитывать?

Александер пожал плечами.

— Я не смогу оплатить ведение дела.

— Мы тоже, — сказал Александер. — Но после того, как мы вступим в бой, вы, надеюсь, получите поддержку.

— А если решение будет принято не в нашу пользу?

— Всегда можно объявить себя банкротом.

— Я слишком часто слышу это слово. Мне кажется, вы чересчур многого требуете. Я сам не чувствую абсолютной уверенности в том, что Кельно виновен.

— А если я убежден, что он виновен?

Эйб растерялся. До сих пор он надеялся, что найдется какая-то лазейка, которая позволит ему избежать процесса, сохранив хоть какое-то чувство собственного достоинства.

Однако если ему предъявят неопровержимые доказательства, пути назад уже не будет.

Леди Видман и Александер испытующе смотрели на него. Неужели это тот человек, который написал «Холокост»? Неужели все его мужество — только на бумаге?

— Конечно, кто угодно готов стать героем, если это ему ничего не будет стоить, — сказал Эйб. — Я бы хотел посмотреть, чем вы располагаете.

Александр нажал на кнопку, и из динамика прозвучал голос Шейлы Лэм:

— Слушаю.

— Мистер Кейди и я вылетаем в Париж. Возьмите нам билеты на рейс около шести часов и забронируйте два одноместных номера в «Мерисе». Позвоните в Париж мистеру Эдельману, сообщите ему, когда мы прилетим, и попросите связаться с Питером Ван-Даммом и передать, что мы будем там сегодня вечером.

— Хорошо, сэр.

— Питер Ван-Дамм? — прошептал Эйб.

— Да, — ответил Александер. — Питер Ван-Дамм.

7

Питер Ван-Дамм тепло поздоровался с ними в холле своей роскошной квартиры на бульваре Мориса Барра. Кейди и Александра сопровождал Сэмюэль Эдельман — парижский представитель Международной федерации еврейских организаций.

— Это для меня большая честь, — сказал Эйб, пожимая руку прославленного на весь мир скрипача.

— Нет, это для меня честь, — ответил Ван-Дамм.

Горничная унесла их пальто и шляпы.

— Моя жена с детьми за городом. Проходите, проходите.

В огромной студии висела целая галерея фотографий — президенты и короли, снятые рядом с человеком, которого многие считали величайшим скрипачом на свете. Старинное французское пианино фирмы «Плейель» из орехового дерева было завалено грудami нот, рядом стоял пюпитр. Ван-Дамм продемонстрировал им две скрипки Амати с детской гордостью человека, откровенно наслаждающегося своей славой.

Все расселись на диване и стульях в оконной нише, выходящей на Булонский лес, перед столиком с коньяком и виски.

— Лехаим, — сказал Ван-Дамм.

— Лехаим, — отозвались они.

Ван-Дамм поставил свою рюмку на стол.

— Вероятно, я должен начать с самого начала. Когда немцы вошли в Голландию, мне было двадцать четыре года, я был женат, имел ребенка и был первым скрипачом Гаагского симфонического оркестра. В то время мое имя было Менно Донкер. Вы знаете, что мы были вынуждены скрываться. Летом сорок второго немцы начали устраивать облавы, а зимой и весной сорок третьего начались массовые депортации.

Ван-Дамм минуту помолчал, преодолевая боль, которую ему причиняли эти воспоминания.

— Меня депортировали зимой сорок второго в неотапливаемом вагоне для скота. Мой ребенок в пути замерз насмерть, а жену после прибытия в лагерь «Ядвига» и селекции отправили в газовую камеру.

Эйб закусил губу и стиснул зубы, чтобы сдержать слезы. Сколько бы таких историй он ни слышал, они всякий раз разрывали ему сердце.

— Вы все это прекрасно описали в вашем романе, — продолжал Ван-Дамм. — Меня направили на работу в медчасть. Адам Кельно был главным из врачей-заключенных, а меня назначили к нему чем-то вроде секретаря и санитаря. Я вел записи, заказывал медикаменты, мыл полы и так далее.

— Значит, вы так или иначе общались с Кельно ежедневно?

— Да. Летом сорок третьего ко мне обратился заключенный-чех по имени Эгон Сobotник. Он был членом подполья и просил меня помочь им в подделке свидетельств о смерти, в краже лекарств и прочих таких вещах. Я, конечно, согласился. Официальные обязанности Сobotника состояли в ведении протоколов операций, и от него я узнал об экспериментах, которые велись в пятом бараке. Мы с ним стали вести дневник пятого барака и по частям переправляли его из лагеря на свободу.

— Вы сами были в пятом бараке?

— Только когда меня оперировали. Кельно заподозрил, чем я занимаюсь, и меня перевели в третий барак, где содержали сырой материал для экспериментов. Сначала мне при-

шлось ухаживать за шестью молодыми голландцами, семенники которых подвергли длительному рентгеновскому облучению. Это была составная часть экспериментов по стерилизации евреев. Вы об этом писали. Мы помещались на втором этаже барака, а на первом были женщины. По-видимому, они облучали рентгеном и молодых женщин. Вечером десятого ноября сорок третьего года, — тут голос Ван-Дамма дрогнул, — нас, четырнадцать человек, забрали из третьего барака и привели в пятый. Восемь мужчин, шесть женщин. Меня оперировали первым. Видите ли, мистер Кейди, я евнух. Адам Кельно удалил мне оба семенника.

Эйб почувствовал, что его вот-вот стошнит. Он стремительно встал и повернулся спиной к остальным. Ван-Дамм покрутил в руках рюмку коньяка, понюхал его и отхлебнул глоток.

— Вы были в это время здоровы? — спросил Александер.

— Да.

— Присутствовал ли в операционной доктор Марк Тесслар?

— Как я уже сказал, меня оперировали первым, и тогда Тесслара там еще не было. Позже я узнал, что будущих жертв эксперимента охватила паника, и за ним послали, чтобы он их успокоил. Потом Тесслар vyhаживал мужчин. Если бы не он, я, вероятно, не выжил бы. А за девушками на первом этаже ухаживала женщина-врач, некая Мария Вискова. Кроме того, была еще одна француженка, тоже врач, но она приходила только время от времени и обычно к девушкам.

— Мы связались с ними обеими, — вставил Александер.

Голосом, лишенным всякого выражения, Ван-Дамм досказал свою историю до конца. После освобождения из лагеря он вернулся в Голландию, где узнал, что вся его семья уничтожена. Он перебрался в Париж, был в очень плохом состоянии, но его вылечили. Сначала он хотел учиться на раввина, но его очевидное увечье исключало такую возможность.

Менно Донкер находился на грани помешательства. В качестве психотерапии ему рекомендовали снова заняться музыкой. По совету своего постоянного, преданного ему врача он прошел курс лечения гормонами, придавшими ему некие мужские черты — зачатки бороды, более низкий голос. Под наблюдением врача он смог концерттировать. Следствием пережитой им глубокой трагедии стала редкая эмо-

циональность, отличавшая его манеру исполнения. В скором времени публика признала его гением. Чудом было уже само то, что евнух играет с такой страстью и энергией, какие свойственны лишь большим виртуозам.

После войны он познакомился с девушкой из семьи видных голландских евреев-ортодоксов. Они полюбили друг друга такой любовью, какую в нынешнее время почти невозможно встретить. Их союз был духовным и религиозным. Долгое время ему удавалось хранить свою тайну, но потом настал ужасный момент, когда пришлось рассказать ей все. Однако это ничего не изменило. После мучительной борьбы с собственной совестью он пошел к ее родителям, и они, будучи религиозными евреями, дали свое согласие на заключение тайного брака, зная, что он никогда не будет иметь физического завершения.

Про чету Ван-Даммов говорили, что на свете нет другой столь любящей и счастливой супружеской пары. Дважды они брали годичный отпуск и оба раза возвращались домой с приемным ребенком. И окружающие, и сами дети были убеждены, что Ван-Даммы — их настоящие родители.

Когда Ван-Дамм заканчивал свой рассказ, Александер и Эдельман не скрывали слез. Абрахам Кейди, вновь превратившийся в выдавшего вида журналиста, сидел с каменным лицом.

— А что стало с Сobotником, с теми дневниками, которые вы переправляли на свободу, с протоколами операций?

— Неизвестно. Когда лагерь освободили, Эгон Сobotник был еще жив, но потом он просто исчез.

— Мы перевернем небо и землю, чтобы его найти, — пообещал Александер.

— То, что вы нам только что рассказали, принесет новую трагедию и вам, и вашей жене, и вашим детям, — сказал Эйб. — Это может сильно повредить вашей карьере.

— Мне кажется, я представляю себе возможные последствия.

— И вы готовы рассказать все это в зале суда?

— Я еврей. Я знаю свой долг.

— Когда Кельно делал вам эту операцию, проявил ли он хоть сколько-нибудь деликатности и сочувствия?

— Он действовал со зверской жестокостью.

Абрахам Кейди был не из тех, кто всегда готов жертвовать собой ради других, но сейчас он понял, что иного вы-

хода у него нет. Ему стало стыдно, что он хотел выйти из процесса.

— Есть у вас еще вопросы? — спросил Александер.

— Нет, — прошептал Эйб. — Вопросов больше нет.

8

Вернувшись из Парижа, Эйб сразу же встретился с Шоукроссом и адвокатами. Разговор получился нелегкий. Они спорили не один час.

Даже наличие показаний Ван-Дамма не убедило Левина, что Шоукросс должен участвовать в процессе. В свою очередь, Джейкоб Александер доказывал, что Шоукросс немало заработал на «Холокосте» и других книгах Кейди и обязан принять на себя хотя бы часть ответственности.

Снова и снова то одни, то другие участники совещания уединялись, чтобы посоветоваться с глазу на глаз.

— Мы ведь почти договорились, — говорил Шоукросс Левину. — Эйб готов взять на себя выплату всего возмещения, к какому нас могут присудить. Не думаю, чтобы мы могли требовать от него большего.

— Он может даже заключить с вами такой контракт, но вдруг он откажется его выполнить? Опомнитесь, ведь у вас на столе лежит заявление Джеффа Додда об уходе.

Все вновь собрались в загроможденном бумагами конференц-зале. Шоукросс отказался от чая, который предложила Шейла Лэм. Незажженная сигара торчала у него изо рта. Он старался не встретиться взглядом с Эйбом.

— Мне настоятельно советуют отказаться от участия в процессе, — сказал он.

— А как же ваши проповеди о честности и благородстве? У вас они прекрасно получаются, — возразил Эйб с растущим возмущением.

Александер схватил его за руку.

— Извините нас, господа, — сказал он и вытащил Эйба в коридор, где они в этот день уже раз десять совещались. Эйб бессильно прислонился к стене.

— О Господи, — простонал он.

Александер крепко взял его рукой за плечо, и они несколько секунд стояли молча.

— Вы сделали все, что могли, — сказал Александер. — До сих пор я действовал в двух качествах — как еврей и как друг. Теперь я буду говорить с вами как брат. Если Шоу-кросс откажется, у нас нет никаких шансов.

— Я вспоминаю свою поездку в лагерь «Ядвига», — сказал Эйб. — Я видел комнату, где их оперировали. Я видел следы ногтей, которые они оставляли на бетонных стенах газовой камеры в последние секунды своей жизни. Какой тут, к дьяволу, может быть выбор? Мне все представляется, что это были Бен и Ванесса. Я просыпаюсь и слышу, как дочь кричит от боли на операционном столе. Куда я отсюда пойду, Александер? Стану бумажным героем? Мой мальчик защищает небо Израиля. Что я ему скажу? У меня, по крайней мере, больше возможностей выбирать, чем было у Питера Ван-Дамма. Я не буду извиняться перед Адамом Кельно.

Мистер Джозефсон, старший клерк фирмы «Александер, Бернстайн и Фридман» на протяжении почти двух десятилетий, сидел напротив своего мрачного патрона.

— Кейди намерен принять бой в одиночку, — сказал Александер.

— Рискованно, — отозвался старый опытный юрист.

— Да, риск есть. Я знаю, кого пригласить представлять нас в суде. Томаса Баннистера. Он стоял за выдачу Кельно двадцать лет назад.

Джозефсон покачал головой.

— Том Баннистер — лучшая в Англии голова, — согласился он. — Только как его уговорить? Он так глубоко ушел в политику, что за последние годы почти не выступал в суде. С другой стороны, это дело может его заинтересовать.

— Я тоже так подумал. Позвоните-ка старине Уилкоксу, — сказал Александер, имея в виду клерка Баннистера.

— Обещать его согласия я не могу.

— Ну, во всяком случае, попытайтесь.

У самой двери Джозефсон обернулся:

— Этот Абрахам Кейди действительно настолько ненормальный?

— Американцы в таких случаях говорят «отчаянный».

Уилкоккс, умудренный опытом клерк с сорокалетним стажем, начинал свою карьеру мальчишкой-рассыльным, а по-

том третьим помощником клерка для всяких подсобных работ. Адвокатом он стал чуть ли не в тот же день, когда молодой Томас Баннистер был произведен в младшие барристеры. Десятилетиями он поднимался по служебной лестнице вместе со своим патроном, помогая ему достичь непревзойденных высот адвокатского искусства, стать королевским советником, приобрести большое политическое влияние, попасть в кабинет министров. Теперь Баннистер был кандидатом в лидеры своей партии и, возможно, в премьер-министры Великобритании. Его имя все чаще звучало в печати. Уилкоккс же, получая комиссионные в размере 2,5 процентов от барристерских гонораров, был одним из самых состоятельных клерков в своем инне.

Когда Джозефсон пришел к Уилкокксу, оба стреляных воробья, согласно традиционному протоколу, начали с того, что принялись осторожно прошупывать почву.

— Ну, что там у вас новенького, мистер Джозефсон?

— Есть одно большое дело.

Хотя Уилкокксу сразу пришла в голову приятная мысль о причитающихся ему комиссионных, он сохранял полное хладнокровие.

— Мы представляем Абрахама Кейди, ответчика по иску Адама Кельно.

— Да, это лакомый кусочек, ничего не скажешь. Не думал, что он станет защищаться. И кого же из моих барристеров вы имеете в виду?

— Томаса Баннистера.

— Да что вы, это несерьезно.

— Крайне серьезно.

— Я могу предложить вам Девона. Самый блестящий младший барристер из всех, кого я повидал за последние двадцать лет.

— Нам нужен Баннистер. Барристер обязан взяться за любое дело, если ему за это заплатят.

— Подумайте хорошенько, — сказал Уилкоккс. — Я никогда не становился поперек дороги ни вашей конторе, ни другим адвокатам. Но это может сказаться на всей его карьере.

— Боюсь, что это я понимаю.

— Рюмочку на ночь, Том?

— С удовольствием.

Шофер открыл перед ними дверцу. Леди Видман вышла из машины первой, за ней последовал Томас Баннистер.

— Морган, дождитесь мистера Баннистера, отвезете его обратно в Темпл.

— Да нет, отпустите его. Я с удовольствием немного пройду и возьму такси. Сейчас мне редко представляется случай пройтись по Лондону.

— Ну, как желаете.

— Спокойной ночи, мэм, мистер Баннистер. Когда я буду вам нужен?

— Только в полдень. У меня примерка у Диора.

Она протянула Баннистеру рюмку коньяку. Он грелся у камина, по своей привычке шагая взад и вперед.

— Ваше здоровье.

— Ваше.

— Прелестный вечер, Сара. Не помню, когда я в последний раз получал такое удовольствие. Я свишня, что забываю о вас и вам приходится самой меня приглашать, но сейчас у меня очень много работы.

— Я прекрасно это понимаю, Том.

— Хорошо еще, что я не могу вам отказать.

— Еще бы вы попробовали.

Баннистер сел и вытянул ноги.

— Теперь, когда вы меня накормили и напоили, я хотел бы знать, о чем таком вы намерены меня попросить, в чем я не смогу вам отказать.

— Речь идет об иске сэра Адама Кельно к Абрахаму Кейди. Вы, конечно, знаете, почему меня это интересует. Кейди представляет Джейкоб Александер.

Баннистеру не удалось сохранить свою обычную невозмутимость.

— То-то я на днях заметил у себя в конторе Джозефсона.

— Да. До вас теперь не так просто добраться. По-моему, ваша партия собирается упаковать вас в пластик и держать в морозилке до самых выборов.

— Я уже с ними по этому поводу ругался. Какой же из меня получится премьер-министр, если я буду избегать острых вопросов?

— Так вы подумаете об этом?

— Конечно.

— Но имейте в виду одно, Том. Если вы возьметесь за это дело, на них будут давить изо всех сил.

Баннистер улыбнулся. Это случалось крайне редко, отчего каждая его улыбка приобретала особое значение.

— Вы, я вижу, принимаете это дело близко к сердцу. Скажите-ка, Сара, что за тип этот Абрахам Кейди?

— Манеры, как у грузчика, идеализм, как у наивного ребенка, голос, как у быка, пьет, как лошадь, и сентиментален, как теленок. Совершенно не джентльмен.

— Да, бывают такие писатели. Странная публика.

Кабинет Томаса Баннистера выглядел немного более щеголевато, чем у его коллег-барристеров — он был довольно богато и со вкусом обставлен, и только безобразные переносные электронагреватели на полу портили картину.

Баннистер и Кейди, оба — опытные бойцы, присматривались друг к другу, а Александр внимательно наблюдал за обоими.

— Ну хорошо, — сказал Томас Баннистер. — Значит, Кельно все это делал. И мы не допустим, чтобы это сошло ему с рук, так?

На лицах Кейди и Александра отразилось видимое облегчение.

— Мы все понимаем, какая огромная и трудная работа нам предстоит. В течение всего будущего года большая часть ее придется на вашу долю, Александр.

— Я не пожалею на это сил. Кроме того, мы не останемся без союзников.

— Господа, — сказал Эйб, — я убежден, что меня будут представлять самые лучшие силы, какие только есть. Я не собираюсь указывать вам, как вести дело. Но у меня есть одно условие. Ни при каких обстоятельствах Питер Ван-Дамм не должен давать показания в суде. Я знаю, что это осложняет нашу задачу, но уж лучше я проиграю дело. Это мое первое и единственное требование.

Александр и Баннистер переглянулись и погрузились в размышления. Благородство благородством, но это лишало

их самого сильного козыря. «Да, это дело принципа, — подумал Баннистер. — А мне нравится этот Кейди».

— Мы сделаем все, что сможем, — сказал он.

— Вы действительно должны завтра уехать? — спросила Эйба леди Видман.

— Я хочу повидаться с Беном в Израиле. А Ванесса вернется со мной. Я должен сесть за работу.

— Мне будет вас ужасно не хватать, — сказала она.

— Мне вас тоже.

— Можно я устрою маленькую сцену?

— Вы же женщина, это ваше право.

— Вы знаете, что я вас обожаю, но я чертовски горда и не собираюсь стать еще одним экспонатом вашей коллекции. Я знаю, что могла бы сделать такую глупость и в вас влюбиться, и ревновать, как обыкновенная самка, и устраивать вам истерики, и выкидывать всякие идиотские штуки, как делают те женщины, которых я презираю. Но я знаю, что мне с вами не справиться, и это меня ужасно злит.

— Мне это очень лестно слышать, — сказал он, взяв обе ее руки в свои. — Только у меня есть одна проблема, Сара. Я не способен отдать всю свою любовь одной женщине. Только детям. И я не способен ответить на любовь такой женщины, как вы. Я не могу себя ничем связывать, даже в игре. Мы с вами — два вождя, нам только индейцев не хватает.

— Эйб...

— Да?

— Я понадоблюсь вам, когда вы вернетесь и начнется процесс. Я согрею вас.

— О'кей.

Она обняла его.

— Да нет, я все вру. Я же с ума схожу по вас, мерзавец вы этакий.

Он мягко отстранил ее.

— В самый первый раз, когда я вас увидел, я понял, что в вас есть что-то особенное. Вы леди. Когда джентльмен составляет леди, он делает это так, чтобы не затронуть ее достоинство.

— Подготовьте мне счет. Я уезжаю в аэропорт примерно через час.

— Хорошо, мистер Кейди. Для нас была большая честь видеть вас в числе наших гостей. Ах да, сэр, кое-кто из прислуги принес с собой ваши книги. Вы не откажетесь их подписать, сэр?

— Конечно, нет. Пришлите книги ко мне в номер и приколите к каждой бумажку с фамилией ее владельца.

— Благодарю вас, мистер Кейди. Вас ждет в баре какой-то джентльмен.

Эйб медленно уселся напротив Шоукросса и заказал себе виски со льдом.

— Я передумал, — сказал Шоукросс.

— Почему? — спросил Эйб.

— Толком не знаю. У меня не выходит из головы Питер Ван-Дамм. В общем, Эйб, я считаю, что надо играть по правилам. Это единственный достойный путь. Я же англичанин, черт возьми!

— Лехаим.

— Твое здоровье. Передай Ванессе от меня большой привет. И когда вернешься в Созалито, как можно скорее садись за этот свой роман.

— Ладно, помолчите немного, пожалуйста.

Эйб задумался.

— Знаете, Шоукросс, вы — как раз то, что Господь Бог имел в виду, когда создавал книгоиздателей.

— Очень любезно с твоей стороны. Знаешь, я сказал Джеффу, Пэм и Сесил, что решил встать на твою сторону. Они забрали обратно свои заявления об уходе. Они меня поддерживают.

— Ничего удивительного. Они же приличные люди. Прежде чем все это кончится, еще многим придется показать, чего они стоят.

10

Февраль 1966 года

Доклад сэра Адама Кельно был внимательно выслушан и высоко оценен Королевским хирургическим колледжем в Эдинбурге. Не будучи вдохновенным оратором и не очень хорошо владея английским, он все-таки был видным авторитетом по проблемам недоедания, организации массового здравоохранения и сопротивляемости человека в экстре-

мальных условиях. По-прежнему работая в скромной поликлинике, обслуживавшей рабочие кварталы Саутворка, он тем не менее много печатался, делал доклады и читал лекции по своей специальности. Выступления в Эдинбурге всегда доставляли ему особое удовольствие, потому что их можно было совместить с отдыхом — поездкой туда и обратно на автомобиле.

Населенные места остались позади, за окнами потянулись дикие, пустынные низины. Анджела включила отопление и налила мужу немного чая из термоса. Адам мог с утра до вечера вести машину по неуютным просторам Шотландии, наслаждаясь передышкой после многих дней работы допоздна в Лондоне.

Он замедлил ход: впереди показались бедные деревенские дома, покрытые соломой. Главная улица была забита стадом черных коров, которых гнали на пастбище двое рослых шотландцев на лошадях. В машину проник запах навоза.

На секунду Адаму показалось, что он снова в Польше, в своей родной деревне. Она была не совсем такая — более плоская, более зеленая, более бедная. Но при виде этой деревни, крестьян и окружающего сельского пейзажа на него нахлынули воспоминания.

Третий всадник, цокая копытами, появился перед машиной, заставив Адама затормозить. Появились еще мальчишка лет двенадцати, тоже на лошади, и пара собак, которые помогали гнать коров, покусывая их за ноги.

«Вот это — я, а вон тот зверского вида человек на другой стороне улицы — мой отец. Бедный мальчишка... Что хорошего ждет его в таком месте? Что хорошего ждало меня? Да еще при таком отце, суровом, словно эти камни в пустынных полях.»

Пришпорь свою лошадь, парень! Пришпорь ее и галопом скачи прочь! Скачи в город, там твое спасение.

Я ненавижу тебя, отец!»

Адам включил первую передачу, и машина медленно двинулась вслед за стадом.

«Я забился в сено. Отец врывается на сеновал и орет: «Адам!» Он расшвыривает сено и рывком ставит меня на ноги. От него несет перегаром и чесноком. Одним ударом он сшибает меня с ног и колотит до тех пор, пока ему не приходится остановиться, чтобы отдышаться.»

Он сидит напротив за столом, обдавая меня своей вонью и пьяно раскачиваясь. Борщ с кусками мяса стекает по его слипшейся бороде, он заталкивает куски в рот, как животное. Он отрыгивает, облизывает пальцы и начинает жаловаться на то, что задолжал деревенскому еврею. Все в деревне должно этому еврею.

Он сгрэбает меня, трясет и смеется над моим испугом. Почему он не бьет мою мать и сестер? Почему только меня? Потому что моя мать любит меня больше всех, вот почему.

Через щель в стене, разделяющей наши комнаты, я вижу, как он стоит там совсем голый. У него огромный, безобразный, почти черный член, оплетенный венами. Член блестит — он только что вынул его из моей матери. Он чешет его и играет со своими громадными свисающими яйцами.

Я ненавижу его член и яйца! Моя мать вскрикивает, когда он делает с ней это. Лежа на ней, он кричит и хрюкает, как боров.

Если бы я мог, я бы взял камень и раздавил бы ему яйца. Или отрезал бы их ножом.

Я хочу спать, уютно прижавшись к матери. Как спал раньше, когда был маленький. У нее были большие теплые груди, я зарывался в них лицом и трогал их руками. Она не мешала мне, потому что я был еще маленький. Прибегая к ней, я прятался у нее под юбкой, а она поднимала меня и прижимала к груди.

А он находил меня и отнимал у нее, и тряс меня, и колотил. Я всегда был весь в синяках.

Я должен бежать в город, где он меня никогда не найдет.

На земле лежит снег. Я стою у могилы матери. Он убил ее — все равно что своими собственными руками.

Теперь он уже стар и не может меня бить. И его мерзкий член теперь больше не действует».

— Адам! Адам!

— А? Что?

— Адам!

— Что такое?

— Ты слишком быстро едешь. Почти сто шестьдесят!

— Ах, прости. Я замечтался.

Поликлиника была, как обычно, полна. Ничего страшного: из Оксфорда на несколько дней приехал Терренс Кэмпбелл. Осенью Терри пойдет на практику в больницу Гая. Будет просто замечательно иметь его всегда под рукой. Сего-

дня мальчик проработал в поликлинике весь день — делал уколы, брал анализы, помогал ставить диагноз. Он прирожденный врач.

Отпустив последних больных, они прошли в кабинет.

— Что ты про это скажешь? — спросил Адам, поднося к лампе рентгеновский снимок. Терри принялся его рассматривать.

— Затемнение. Вот здесь. Туберкулез?

— Я подозреваю рак.

Терри взглянул на конверт с именем больной.

— Бедная женщина, у нее пятеро детей.

— Рак не имеет совести, — сказал доктор Кельно.

— Я знаю, но что станет с детьми? Придется отдать их в приют?

— Я как раз хотел поговорить с тобой на эту тему. Это единственная область медицины, где ты слабоват. Чтобы стать хорошим врачом, надо накопить такой запас интеллектуальных сил, чтобы сохранять бесстрашие даже при виде мертвого друга. Врач, у которого больные вызывают эмоциональный отклик, долго не продержится.

Терри кивнул головой в знак того, что понял, но не сводил глаз со снимка.

— Хотя, с другой стороны, это, может быть, и не рак, а если и рак, то не смертельный. Но я хотел тебе еще кое-что показать.

Он открыл ящик стола и протянул Терри какую-то бумагу официального вида с приколотым к ней чеком на девятьсот фунтов.

— Что это?

— Извинение от типографии, которое будет зачитано на заседании суда. Больше того, адвокат Шоукросса вел с Ричардом Смидди переговоры о мирном соглашении. Насколько я понимаю, Кейди побывал в Лондоне и довольно поспешно уехал.

— Слава Богу, скоро все это кончится, — сказал Терри.

— Я рад, что вы помогли мне этого добиться. Ты и Стефан. Я не дам Кейди уйти. Я затаскаю его по судам во всех странах, где вышла его грязная книжонка. Особенно в Америке — они дорого за это заплатят.

— Доктор, — тихо сказал Терри, — когда вы взялись за это дело, у вас была благородная цель. А теперь это похоже скорее на жажду мести.

- Допустим, ну и что?
- Жажда мести ради мести — это само по себе зло.
- Можешь не цитировать мне своих оксфордских философов. Как по-твоему, чего заслуживает этот Кейди?
- Если он признает свою ошибку, вы должны будете проявить милосердие. А не стараться его затравить.
- Ровно столько же милосердия, сколько проявляли ко мне в «Ядвиге». И в Брикстонской тюрьме. И травить его я буду точно так же, как травили меня. Не больше и не меньше. Есть ведь и такой закон — око за око.
- Но как вы не понимаете — ведь если вы становитесь на такую позицию, вы ведете себя, как... ну, как нацисты.
- А я думал, ты обрадуешься, — сказал Адам, закрывая ящик стола.
- Я рад, но только не унижайте себя мезтью. И Стефан, я думаю, тоже не хотел бы этого.

Сэр Роберт Хайсмит один за другим обрезал побеги роз, оставляя только самые сильные, которые расцветут еще этим летом. Он очень любил хозяйничать в своем саду.

— Дорогой, чай готов, — слышался голос его жены Синтии.

Он стянул перчатки и направился в сторону оранжереи своего маленького поместья, которая двумя столетиями раньше была сторожкой у ворот королевского парка.

- Розы в этом году будут хороши, — сказал он.
- Роберт, чем ты так озабочен весь этот выходной? — спросила Синтия.
- Делом Кельно. Там происходит что-то непонятное.
- Ах, вот что? Я думала, уже почти все решено.
- И я так думал. Но старик Шоукросс, который, казалось, вот-вот согласится принести извинения, вдруг сделал разворот на сто восемьдесят градусов. Этот тип Кейди бывал в Лондоне и решил принять бой. И Шоукросс тоже. А самое удивительное — то, что дело взялся вести Том Баннистер.
- Том? Разве это для него не рискованно?
- Рискованно.
- Как по-твоему, сэр Адам все тебе рассказал?
- Вот об этом я и думаю, дорогая.

Иерусалим, апрель 1966 года

Доктор Лейберман услышал звонок в дверь своей квартиры на улице Давида Маркуса и открыл дверь.

— Я Шимшон Арони, — сказал человек, стоявший перед ним.

— Я так и думал, что вы меня разыщете, — отозвался доктор Лейберман.

Арони, знаменитый охотник за нацистами, прошел вслед за врачом в его кабинет. Несмотря на весьма почтенный возраст — шестьдесят восемь лет — суровый Арони был полон сил и энергии. Франц Лейберман выглядел, напротив, мягким и по-отечески добродушным.

— Я читал ваши заметки в газетах и журналах. Кого вы нашли?

— Моше Бар-Това из кибуца Айн-Гев. Он дал мне имена других. В общей сложности четырех мужчин и двух женщин, которых вы лечили эти годы. Вы знаете, что происходит сейчас в Лондоне. Я пришел к вам потому, что вы знакомы с этими людьми. Нам будет легче уговорить их дать показания, если нас поддержит их врач.

— Я не буду вас поддерживать. Они и без этого достаточно страдали.

— Страдали? Каждый еврей должен страдать. Всю свою жизнь страдать. Как насчет вас и членов вашей семьи, доктор Лейберман? Скольких из них вы потеряли?

— Мой дорогой Арони, чего вы хотите? Выставить их на обозрение, словно животных? Чтобы они публично рассказали о том, как их изуродовали? Особенно женщины — им-то никогда не вернуть здоровья. При тщательном лечении, окруженные заботой семьи, они еще способны вести некое подобие нормальной жизни. Но то, что произошло с ними, похоронено в темных закоулках их памяти. Если это снова выйдет наружу, им грозит травматический шок.

— Это все равно выйдет наружу. Мы никогда не допустим, чтобы об этом забыли. Мы будем швырять это в лицо всему миру при каждой возможности.

— Вы слишком долго охотились за военными преступниками и ожесточились. Мне кажется, вы стали профессиональным мстителем.

— А может быть, я просто лишился разума, когда мою жену и моих детей вырвали у меня из рук на селекции в Освенциме. Что должно быть сделано, то должно быть сделано. Мне переговорить с ними самому или вы мне можете?

Франц Лейберман знал, что Арони безжалостен. Он ни за что не отступится. Одного за другим, по одиночке, он их изматывает, устыдит, заставит дать показания. Если собрать их вместе, они, по крайней мере, помогут друг другу сохранить мужество.

*«Александр, Бернстайн и Фридман»
Адвокаты
Парк-сквер, 8
Линкольнз-Инн
Лондон*

30 апреля 1966 г.

Шалом, Александр!

Сообщаю о своих успехах. Я встретился с шестью жертвами — их данные и показания прилагаются. Я убедил их, что у них нет выбора и они обязаны приехать в Лондон. Франц Лейберман поедет с ними. Он будет их опекать и успокаивать.

Из разговоров с ними я узнал имена еще двух жертв. Одна из них — Ида Перец, урожденная Кардозо, живет в Триесте. Завтра я выезжаю к ней. Другой — Ханс Хассе, его адрес — Амстердам, Харлеммервег 126. Рекомендую сообщить эту информацию представительству МФЕО в Гааге.

По мере дальнейшего развития событий буду вас информировать.

*Ваш
Арони.*

Варшава — Закопане, Польша, май 1966 года

Натан Гольдмарк сильно постарел и плохо выглядел. После того, как его должность следователя тайной полиции по военным преступлениям перестала существовать, он сумел устроиться в руководстве еврейской секции Польской коммунистической партии.

Большинство евреев в Польше было уничтожено нацистами. Почти все, кто выжил, бежали из страны. Несколько тысяч — незначительное меньшинство — решили остаться: они либо были слишком стары, либо боялись начинать жизнь заново. А некоторые остались потому, что были убежденными коммунистами.

Писатели, подобные Абрахаму Кейди, считали, что лагеря уничтожения были невозможны ни в одной из цивилизованных западных стран, где то, что творили нацисты, вызывало у людей отвращение. Лагерь уничтожения не было ни в Норвегии, ни в Дании, ни в Голландии, ни во Франции, ни в Бельгии, хотя они и были оккупированы. Их не было ни в Финляндии, ни в Италии, хотя эти страны были даже союзниками Германии. Зато Польша, с ее вековыми традициями антисемитизма, стала удобным местом для создания Освенцима, Трешлинки и «Ядвиги».

Впоследствии, стремясь стереть это пятно со своей репутации, Польша сделала вид, что сохранила в стране еврейскую общину, чтобы продемонстрировать всему миру, как все изменилось при коммунизме. Остались нетронутыми несколько синагог, кое-какая еврейская пресса и национальный театр — показательные, жалкие остатки некогда огромной общины, насчитывавшей три с половиной миллиона человек. В полном соответствии с нацистским принципом — заставлять евреев собственными руками делать все, что с ними намечено сделать, — над ними была поставлена отдельная еврейская секция Компартии, призванная сохранять и контролировать остатки еврейского населения. Она тщетно пыталась насильно оживить театр и прессу с помощью коммунистических лозунгов.

Натан Гольдмарк, хитрый политик, все этические принципы которого сводились к стремлению выжить и рабской покорности, стал полезным орудием режима.

Поезд поднимался все выше в Карпаты, где последний зимний снег отступал к подножью ледников.

Гольдмарк ехал в Закопане, зимний курорт и крупнейший в Польше лечебный центр для больных туберкулезом, чтобы встретиться с доктором Марией Висковой, главным врачом санатория и представительницей редкой породы людей — еврейско-польской коммунистки, разочаровавшейся в своих идеалах. Провозглашенная национальной героиней,

она предпочла работать подальше от Варшавы и от всевозможных натанов гольдмарков, которых презирала.

Годы и сострадание к людям почти стерли лежавшую на ней печать пережитой страшной трагедии. Хотя и преждевременно поседевшая — ей было лишь немного за пятьдесят, — Мария Вискова сохранила былую красоту.

Она закрыла за собой дверь кабинета. За окном шел дождь с мокрым снегом — последним снегом уходящей весны. Натан Гольдмарк снял пальто и сел напротив нее, нервно грызя обкусанные ногти и то и дело поправляя воротничок, скрывавший сыпь на шее.

— Я приехал в Закопане, чтобы поговорить с вами о деле Кельно, — сказал он. — Нам стало известно, что с вами вступили в контакт представители Запада.

— Да, одна адвокатская фирма из Лондона.

— Вы знаете нашу точку зрения на международный сионизм.

— Гольдмарк, не тратьте на эту чепуху мое время и время моих больных.

— Позвольте, товарищ доктор. Я не просто так приехал в такую даль. Двадцать лет назад вы дали показания против Кельно. Центральный комитет считает, что сейчас эта ваша точка зрения неактуальна.

— Почему? Вы же так хотели добиться его выдачи Польше для суда. Вы сами и записали те мои показания. Почему ваша позиция изменилась? Ведь Кельно так и не понес ответственности за то, что совершил.

— Ситуация изменилась после того, как венгр Эли Янош не смог опознать Кельно на очной ставке в полиции.

— Вы, Гольдмарк, точно так же, как и я, прекрасно знаете, что эти операции кроме Кельно проводил еще и доктор Константы Лотаки. Скорее всего, Лотаки и кастрировал Яноша.

— Это только предположение. Кроме того, Лотаки прошел чистку и полностью реабилитирован как преданный коммунист.

— Это просто преступно, что Лотаки не отдали под суд. Что происходит, Гольдмарк? Виновные вдруг становятся невиновными. Пусть прошло двадцать лет, пусть даже сто — это не оправдывает их преступлений. И как насчет Марка Тесслара, который видел Кельно за работой?

— Центральный комитет считает, что на слова Тесслара полагаться нельзя.

— Почему? Потому что он сбежал на Запад? Разве от этого он стал лжецом?

— Товарищ доктор, я могу только передать вам рекомендации Центрального комитета. В те дни, когда мы добивались выдачи Адама Кельно, Великобритания пыталась дискредитировать законное коммунистическое правительство Польши. Сейчас мы хотим сотрудничать с Западом. Центральный комитет считает, что лучше не ворошить прежние обиды. В конце концов, Кельно возведен в рыцарское звание. Если Польша примет участие в процессе, это может быть воспринято Великобританией как оскорбление...

Ежась под возмущенным взглядом Марии Висковой, Гольдмарк снова принялся грызть ногти.

— Здесь есть еще одна сторона — Абрахам Кейди, сионистский провокатор и враг польского народа.

— А вы читали «Холокост», Гольдмарк?

— Я не буду отвечать на этот вопрос.

— Не бойтесь, я на вас не донесу.

— Эта книга полна клеветы, лжи, провокаций и сионистской пропаганды.

Снег на улице повалил еще гуще. Гольдмарк, всегда ставший не смотреть в глаза собеседнику, подошел к окну. Мужество Марии Висковой было общеизвестно. Но и ее преданность коммунизму не вызывала сомнений. Можно было бы ожидать, что ради блага партии она уступит и не будет ставить всех в неловкое положение. Как сможет он доложить в Варшаве, что она отказалась? У него мелькнула мысль, что хорошо бы подключить тайную полицию — уж та заставит ее молчать. Но тогда сионисты про это непременно пронюхают и устроят скандал на весь мир.

— Когда начнется процесс, я намерена поехать в Лондон, Гольдмарк. А что вы собираетесь делать?

— Этот вопрос будет решать Центральный комитет, — ответил он.

Париж — Рамбуйе, июнь 1966 года

Джейкоб Александер так и представлял себе дом доктора Сюзанн Пармантье, находившийся в нескольких километрах южнее Парижа, — старинный, ухоженный, не лишен-

ный изящества. Согбенный старый слуга ввел Александра и представителя МФЕО во Франции Самюэля Эдельмана в гостиную и отправился в сад, чтобы позвать мадам Пармантье.

Она была очень стара — сильно за семьдесят, — но в глазах ее играл галльский огонек. Они сидели в комнате, отделанной с большим вкусом, где на видном месте висели фотографии в серебряных рамках — ее покойный муж, дети, внуки.

— Когда из письма Марии Висковой я узнала, что она сообщила вам про меня, я сначала не знала, на что решиться. Вы сами видите, я уже совсем старая развалина и не слишком хорошо себя чувствую. Я не уверена, что смогу принести большую пользу, но Мария просила встретиться с вами.

— Нам хорошо известно все, что связано с вашим пребыванием в лагере «Ядвига», — сказал Александр, — и мы определенно убеждены, что ваши показания будут иметь большое значение.

Она пожала плечами.

— Чем занимается Кельно, я знала только с чужих слов. Я не могу под присягой утверждать, будто видела это сама.

— Но вы в хороших отношениях с Марком Тессларом.

— Мы как брат и сестра.

— Странно, он ни разу не упомянул вашего имени.

— Он просто выполнил мою просьбу. Пока я не получила письмо от Марии Висковой, я не видела нужды ворошить прошлое.

— Позвольте задать вам прямой вопрос, — сказал Александр.

— Постараюсь ответить на него без французской уклончивости.

— Возможно, исход процесса во многом определяют показания Тесслара. Как вы считаете, насколько на него можно положиться? Вы опытный психиатр, доктор Пармантье. Я хотел бы услышать ваше объективное мнение, независимое от вашей личной дружбы с ним.

— Если не прибегать к специальной терминологии, мистер Александр, то я могу сказать, что в тот ноябрьский день, когда он увидел, как оперирует доктор Кельно, с ним что-то случилось. Пережитая травма могла привести к тому, что его воспоминания стали несколько расплывчатыми.

— Что ж, это риск, на который нам придется пойти. А что вы скажете насчет заявлений Кельно, будто Тесслар до войны и позже, в концлагере, занимался абортами?

— Это выдумки Адама Кельно. Всякий, кто знает Марка Тесслара, скажет, что он гуманный человек. Он покинул Польшу, чтобы закончить медицинское образование в Швейцарии, только из-за антисемитизма. И Мария Вискова, и я готовы присягнуть, что он никогда не делал никаких абортов по приказу нацистов.

— Вы приедете в Лондон?

— Я много часов над этим размышляла. Я долго советовалась со своим пастором и молила Бога помочь мне принять решение. Как христианка я не вижу для себя иного пути. Я дам показания.

Искорка погасла в ее глазах — она была заметно утомлена. С трудом встав, она подошла к кусту чайных роз, срезала две и воткнула им обоим в петлицы.

— В Антверпене живет одна женщина, которую оперировали в тот день. После войны я несколько лет оказывала ей психиатрическую помощь. Это очень сильная личность. Шрамы на ее душе никогда не заживут, но она никогда не простит мне, если я не отвезу вас к ней.

12

Милли принесла утреннюю почту. Эйб перевернул конверты и улыбнулся: среди них было письмо от Ванессы. Его он отложил на потом.

Он распечатал письмо от своего французского издателя. Тот многословно изливался в жалобах на жизнь, но все же приложил чек на две тысячи долларов для покрытия издержек по процессу.

Теперь откликнулись уже все его издатели. Первым прислал пять тысяч долларов германский издатель — воинствующий антинацист, который был приговорен к смерти за участие в заговоре против Гитлера и спасся от виселицы только благодаря воздушному налету на Берлин, во время которого сумел сбежать из тюрьмы.

Все внесли свою лепту, кроме шведов. Чем мельче издатель, тем громче его вопли и стенания.

Наконец он добрался до письма Ванессы.

Кибуц Седе-Бокер
25 июля 1966 года

Дорогой папа,

Ты правильно прочел между строк: после того как ты зимой уехал из Израиля, мы с Йосси полюбили друг друга. Лето в пустыне было жарким и тяжким, но это не ослабило наших чувств.

Не знаю почему, но мне как-то грустно. Может быть, из-за того, что это означает конец какой-то части моей прежней жизни. Йосси предстоит еще год отслужить в армии, а потом четыре года учиться в университете. Это будет долгое и нелегкое время, и я не хочу обременять его нашей женитьбой.

Следующую фразу я пишу со страхом. Я не приеду в Америку. На границах дела идут все хуже, и мне не хочется уезжать из Израиля даже ненадолго. С одним исключением: я, конечно, буду с тобой в Лондоне во время процесса.

Я помню, как ты при мне писал «Холокост», и понимаю, как трудно будет тебе даваться этот новый, еще более сложный роман. У меня такое чувство, как будто я тебя подвела.

Бен просил меня написать и от его имени тоже, потому что он уехал на две недели на какие-то секретные маневры. Он настоящий израильский офицер, отрастил себе огромные усы и держится нахально и самоуверенно, как настоящий сабра. Никакой конкретной девушкой он всерьез не интересуется — скорее всеми вообще. В этом отношении он, пожалуй, пошел в отца. Он тоже попытается получить отпуск и приехать в Лондон, так что сообщи нам, когда будет назначен суд.

Йосси никогда еще не выезжал из Израиля. Надеюсь, что и он приедет с нами.

Папа, я надеюсь, что не очень тебя огорчила.

Твоя любящая дочь Ванесса.

3 августа 1966 года

Моя дорогая Винни,

Я бы соврал, если бы сказал, что совсем не огорчился, но я на тысячу процентов одобряю твое решение. Единственное, чего мы никогда не хотели, — это иметь дочь, чересчур привязанную к отцу. Сейчас я испытываю некоторые угрызения совести из-за того, что столько месяцев и лет был занят только

своей работой, но, по-моему, мы наверстали это за то короткое время, когда бывали вместе.

Чем ближе тот день, когда я должен буду сесть за книгу, тем больше я убеждаюсь, что знаю слишком мало. Я не так молод, чтобы знать всё. Только студенты настолько молоды, чтобы считать, будто знают ответ на любой вопрос, и от этого они так ужасно нетерпимы.

Меня забавляет мысль о том, что эти сегодняшние ярые борцы против истэблишмента завтра сами станут истэблишментом. Пройдет не так уж много лет, их пыл поостынет, и им придется взять все в свои руки. Несмотря на свои новомодные загибы, они так же будут влюбляться, жеңиться, заводить детей, растить их и мечтать о спокойной жизни. Через все это я уже прошел. Но что произойдет, когда они унаследуют истэблишмент? Будут ли они так же терпимы к битникам, пропойцам, бунтовщикам, драчунам-демонстрантам и Бог знает к кому еще, кто появится к тому времени? Мне кажется, им лучше бы начать с того, чтобы стать малость терпимее к нам, старым развалинам, потому что мы, возможно, сумеем их кое-чему научить.

Чего мне на самом деле хотелось бы больше всего — это чтобы у них появился герой, который не был бы антигероем. Чтобы у них было нечто, ради чего можно жить и за что бороться, помимо желания все уничтожить и сравнять с землей. Нечто такое, что нашли вы с Беном.

Суд, по-видимому, начнется только весной. Я не пропускаю ни одной передачи новостей и очень озабочен тем, что происходит там у вас с арабами, — похоже, что второго раунда не избежать. Что ж, это цена, которую мы платим за то, что мы евреи, — вы в Израиле, меня это ждет в Лондоне. Оставят ли они нас когда-нибудь в покое?

Передай всем привет. Скажи своему Йосси, что я велел ему как следует делать уроки.

Папа.

Мэри Бейтс натянула поверх колготок мини-юбку и застегнула молнии на высоких сапогах. Терренс Кэмпбелл лежал в кровати, приподнявшись на локте. Он любил смотреть, как Мэри одевается, особенно когда она, сидя пе-

ред зеркалом без лифчика, расчесывала свои длинные светлые волосы. «Дурацкая штука эти мини-юбки, — подумал он. — Девчонки в них ужасно мерзнут. Но раз уж они так хотят, чтобы я видел их задницы, я с удовольствием посмотрю».

Мэри подошла и присела на край кровати. Он подвинулся и приподнял одеяло, приглашая ее.

— Милый, я не могу, — сказала она.

— Ну, быстренько.

— Нахал. Вставай-ка, опоздаешь на первую лекцию.

— Только один разок.

Она откинула одеяло и легонько куснула его голую спину.

— Господи, холодно же! — вскричал Терри.

— Посмотри, как он у тебя съежился, бедненький.

— А ты его разбуди.

— Вечером.

Она соскочила с кровати прежде, чем он успел ее удержать, и подошла к крохотному умывальнику и плитке у противоположной стены. Квартира состояла всего лишь из одной комнатки и подобия ванной, но Мэри ухитрилась украсить ее всякими безделушками и искусными вышивками. А кроме того, это было их собственное жилье. После того как целый год во время приездов Терри из Оксфорда им приходилось любить друг друга только в машине, на диванах в чужих гостиных или в номерах дешевых отелей, теперь они могли наслаждаться уединением.

Терри, дрожа от холода, сел за стол. Мэри была никуда не годной поварихой. Хорошо бы ей подружиться с миссис Кельно — та научила бы ее готовить.

— Чертова дикость, — проворчал Терри. — В середине двадцатого века эта передовая западная страна могла бы обеспечить даже такую поганую квартиру горячей водой и центральным отоплением.

— Когда-нибудь у нас тоже это будет, — ответила она.

Когда человек молод и влюблен, это помогает переносить любые неудобства, а они вот уже больше года питали друг к другу самые горячие чувства.

— Прямо с лекций я поеду к Кельно, — сказал он. Это был еженедельный ритуал, которого он всегда ждал с нетерпением. Обед у Кельно служил прекрасным дополнением к их скудной диете. — Ты заедешь туда после работы?

— Сегодня не могу, Терри. Я вчера звонила сестре, мы договорились пойти в кино.

Терри надулся. Гренки были словно деревянные. Он переломил один пополам, намазал яичным желтком и с хрустом стал жевать.

— Ты уже две недели не была у Кельно, это будет третья.

— Терри, давай не будем сейчас заводить этот разговор. — Она вздохнула и взяла его за руку. — Милый, мы же тысячу раз все обсудили. Моя семья от меня отреклась. А сэру Адаму я не нравлюсь, и он не хочет, чтобы ты жил со мной.

— Ему придется, черт возьми, тебя уважать. Мэри, я написал про тебя отцу. Какого дьявола, они с матерью прижили двух детей прежде, чем поженились, и, видит Бог, любил друг друга. Давай-ка, позвони сестре и отмени ваше кино.

— У нас нет телефона.

— Позвони ей с работы.

— Терри, на самом деле сэру Адам боится, что я тебя на себе женю. Я простая продавщица и для тебя не гожусь.

— Чушь.

«Или не чушь?» — подумал Терри. Многие его друзья, студенты-медики из клиники Гая, жили так же — за счет их девушек. Когда он закончил оксфордский колледж и переехал в Лондон, они с Мэри решили, что не будут считаться со всякими ханжами и станут жить вместе. Родители девушек, конечно, предпочли бы замужество: брак — это респектабельно. Что за старомодные взгляды! Родители же студентов считали, что их сыновья достойны лучшего. В конце концов, что это за девушка, которая уходит из дома, чтобы жить со студентом в комнатенке без лифта? Жена их сына должна быть совсем не такой.

Девушки же, все до единой, сколько бы они ни провозглашали свою независимость, на самом деле очень хотели замуж. Отвергая традиции, они на самом деле мечтали им последовать.

Мэри больше всего на свете хотела выйти замуж за Теренса Кэмпбелла. И в этом не было ничего особенно нового.

Обед был поздний: сэру Адаму Кельно задержался на коктейле, устроенном в его честь. За последние шесть недель он побывал на шести таких обедах, ужинах и приемах. Поляков, давно живущих в Лондоне, его процесс словно пробу-

дил к жизни. Хотя они обосновались здесь навсегда, память о Польше не умерла. А дело о клевете затрагивало честь Польши. Среди сторонников Адама Кельно было и немало высокопоставленных англичан. Адам втихомолку наслаждался своей новой ролью героя.

— Я надеюсь, — сказала Анджела, — Мэри знает, что мы были бы рады ее здесь видеть?

— А вы позвоните ей и скажите это, — сказал Терри.

— И пусть заодно поучит ее готовить, — вставил Адам. — Ты стал тощий, как огородное пугало.

— Все студенты-медики всегда похожи на дистрофиков, — сказал Терри. — Разве вы не помните?

После обеда разговор перешел на более мирные темы. Адам читал лекции в клинике Гая и живо интересовался занятиями Терри. Правда, на первом курсе это были главным образом химия, физика и биология — ничего такого, что было бы по его части. О Мэри Бейтс Адам старался больше не заговаривать, но вместо этого принялся критиковать молодое поколение.

— Кому приходится вытаскивать их из всех этих историй с передозировкой ЛСД, кустарными абортами и венерическими болезнями? — спросил он. — Мне. У меня в поликлинике таких полно. Никаких моральных устоев.

— Мне пора домой.

— И Стефана я тоже не понимаю. Никого из вас я не понимаю.

14

Одна из важнейших фигур в британской судебной системе — судебные распорядители, нечто вроде помощников судей, до своего назначения десять лет или больше проработавшие барристерами. Судебные распорядители определяют ход и порядок судебного процесса и ведут всю подготовительную работу, избавляя суд от немалой части юридического крючкотворства, которым донимают его адвокаты в прочих частях света. Судебный распорядитель решает, сколько свидетелей можно будет пригласить, проводит их предварительный опрос, уточняет формулировки ходатайств и запрашивает необходимые документы. Его определения выносят-

ся быстро, точно соответствуют закону и редко отменяются судом.

Обычно судебные распорядители заседают в специальной камере, куда каждые несколько минут приглашают адвокатов тяжущихся сторон по очередному делу. Распорядитель просматривает их резюме.

— Ну и чего вы добиваетесь?

Адвокаты излагают свои требования. Нередко опытный распорядитель говорит:

— Есть вещи настолько очевидные, что никакого спора быть не может.

В таких случаях адвокаты тут же удаляются на совещание: они получили намек, что понапрасну тратят деньги клиента и время суда. Обычно все кончается мировым соглашением, и дело прекращается.

В таком важном деле, как процесс Кельно против Кейди, судебный распорядитель Бартоломью, из уважения к высококочтимым барристерам Томасу Баннистеру и сэру Роберту Хайсмицу, рассматривал дело в своем личном кабинете. Там и прошли первые предварительные слушания, где решался вопрос о вызове тех или иных свидетелей и представлении различных документов.

Зимой 1966/67 года многие формальности были отброшены. Кабинет и квартиру Томаса Баннистера постоянно осаждали посетители, связанные с его политической деятельностью, а контора Александра в Линкольнз-Инн представляла собой лабиринт каморок и закоулков, неспособный вместить огромный объем бумаг по делу Кельно, поступающих со всех концов света. Было решено, что их штабом, вопреки обычаю, станет знаменитая библиотека Шоукросса. Там они каждые несколько дней собирались, чтобы просматривать почту, обсуждать стратегию и принимать решения.

Первым таким решением должен был стать выбор младшего барристера. По традиции его выбирал адвокат, однако из уважения к Баннистеру все ждали, кого назовет он. Было названо имя Брендона О'Коннера — блестящего пламенного идеалиста. О'Коннер и Баннистер были представителями разных адвокатских стилей, однако младший барристер был невероятно трудоспособен, и правильность этого выбора уже очень скоро стала очевидной.

Клевета — одна из шести категорий гражданских дел, по которым каждая из сторон имеет право требовать рассмотрения его судом присяжных, хотя в гражданском судопроизводстве это крайне редкий случай. Быть или не быть суду присяжных — вокруг этого юристы ломали копыя еще на заре правосудия: присяжные могут оказаться чересчур умными или слишком тупыми, они способны в ходе судебных прений подпасть под влияние какой-нибудь одной из сторон. В данном случае было решено снова прислушаться к совету Баннистера, который заявил, что обвести вокруг пальца двенадцать англичан не удастся никому. Младший барристер ходатайствовал перед судебным распорядителем о рассмотрении дела судом присяжных, и ходатайство было автоматически удовлетворено.

Список потенциальных свидетелей продолжал расти. В руках Баннистера и О'Коннора даже слабости защиты могли стать ее сильными сторонами. Оставалось только одно уязвимое место — единственный очевидец, доктор Марк Тесслар, положиться на которого было рискованно. Большой вес могли иметь показания Питера Ван-Дамма, но запрет Кейди вызывать его в качестве свидетеля по-прежнему оставался в силе.

Обеспечить им победу мог бы Эгон Сobotник, медрегистратор концлагеря «Ядвига», — если он еще жив, если его удастся найти, если его можно будет уговорить дать показания. Если, если, если... Все попытки разыскать Сobotника окончились неудачей. Даже неутомимый охотник Арони, который теперь ничем, кроме этого дела, не занимался, не смог отыскать никаких его следов.

Резюме, подготовленное Джейкобом Александером для барристера, представляло собой обширный документ, содержащий показания свидетелей и все остальные материалы, относящиеся к делу.

Резюме начиналось с 1939 года, когда Польша подверглась нападению Германии, после чего возвращалось к скудным фактам предвоенной биографии Кельно, заканчивающейся его появлением в концлагере «Ядвига» в качестве заключенного-врача.

Дальше в резюме говорилось, что в разгар войны два нациста, штандартенфюрер СС доктор Адольф Фосс и штандартенфюрер СС доктор Отто Фленсберг, получили

от Гимmlера разрешение организовать в лагере «Ядвига» экспериментальный центр, где в качестве подопытных животных использовались бы люди. Главным направлением экспериментов Фосса были поиски способа массовой стерилизации евреев и тех, кого немцы считали «недостойными вести нормальную жизнь». Таких стерилизованных лиц предполагалось затем использовать в интересах Третьего рейха как рабочую силу, пополняя численность рабов путем контролируемого размножения. Все остальные подлежали уничтожению.

В резюме были приведены цитаты из примерно пятидесяти книг, а также материалы процессов над военными преступниками. Фосс еще до суда покончил с собой, а Фленсберг сбежал в одну из африканских стран, где занялся медицинской практикой. Суду были преданы несколько врачей и санитаров, в том числе ассистент Фленсберга. Половину из них повесили, остальных приговорили к тюремному заключению.

В резюме были названы три заключенных-врача, принимавших участие в экспериментах Фосса: Адам Кельно, Константы Лотаки и один еврей — Борис Дымшиц. Содержалось там и подробное описание экспериментов и всей медчасти лагеря, а также сведения о врачах, отказавшихся сотрудничать с немцами.

Когда все материалы были еще раз проверены, все аргументы взвешены и различные стратегии защиты обсуждены, в суд было подано ходатайство об оправдании ответчиков на том основании, что все написанное в «Холокосте», по существу, верно. В ходатайстве говорилось, что ответчики — автор и издатель — не настаивают на точности приведенной в книге цифры — пятнадцать тысяч экспериментальных операций без обезболивания. Они утверждают, что точное их число не имеет значения, поскольку во всяком случае экспериментов было проведено много и они проводились с большой жестокостью. Поэтому существенной клеветы по адресу истца в книге не содержится.

В начале апреля 1967 года Абрахам Кейди приехал в Лондон. Здесь его встретила Ванесса. Ее жених Йосси и Бен должны были тоже вскоре приехать из Израиля.

Саманта вышла замуж за землевладельца Реджи Брука, который хорошо разбирался в лошадях, сене и бухгалтерии. С годами ее неприязнь к Эйбу смягчилась. Узнав о его приезде, она предложила ему остановиться в ее квартире в Колчестер-Мьюз.

Канцелярия Высшего суда предписала шерифу Лондона вызвать семьдесят пять присяжных. Помощник шерифа отобрал случайным образом семьдесят пять человек из общего реестра присяжных, они были об этом извещены, и их список опубликован.

Отвод присяжного в Англии случается крайне редко; потому что для этого необходимо привести против него очевидные улики. Это экономит множество времени и избавляет от ненужных препирательств во время судебного заседания. Обычно состав присяжных одобряется списком.

В Израиле четверо напуганных на всю жизнь мужчин, две женщины и их врач все еще убеждали друг друга, что правильно сделали, согласившись ехать в Лондон.

В Варшаве доктор Мария Вискова получила выездную визу.

В Рамбуйе, в Брюсселе, в Триесте, в Созалито, в Амстердаме — везде бушевали сомнения, возвращались ночные кошмары. Скоро это начнется. Скоро придется снова все это пережить.

Хотя начало процесса приближалось, говорить о мировом соглашении никто не собирался. Дело, которое «никогда не дойдет до суда», было уже на его пороге, и ни одна из сторон не знала, что известно другой.

Сторонники Кейди по-прежнему были заняты широко-масштабными и лихорадочными поисками бесследно исчезнувшего Эгона Сobotника, медрегистратора концлагеря «Ядвиг».

В Оксфорде доктор Марк Тесслар оторвался от микроскопа и поправил очки. Рука его даже не дрогнула — на такое самообладание способен не всякий, кто только что увидел неопровержимое доказательство, что у него рак.

— Мне очень жаль, Марк, — сказал его коллега. — Я думаю, надо оперировать. И чем скорее, тем лучше.

Тесслар пожал плечами:

— У меня уже было два больших инфаркта, но от этого, наверное, мне не уйти. Оскар, я хочу, чтобы оперировал меня ты. Смертельно это или нет, но особых болей я пока не чувствую. Делай что хочешь, но я должен дотянуть до суда и суметь дать показания. А там мы решим, что делать дальше.

Часть четвертая СУД

1

16 апреля 1967 года

ВЫСОКИЙ СУД*
ОТДЕЛЕНИЕ: СУД КОРОЛЕВСКОЙ СКАМЬИ
ЗАЛ № 7

СУДЬЯ — м-р Гилрей

ДЕЛО: сэр Адам Кельно, д-р медицины,
против Абрахама Кейди и др.

Томас Баннистер и Брендон О'Коннер, уже в мантиях и париках, перешли Стрэнд, миновали оживленную кучку собравшихся журналистов и, войдя в Дом правосудия, поднялись по лестнице в совещательную комнату напротив зала № 7, где уже собрались Джейкоб Александер, мистер Джо-зефсон и Шейла Лэм.

Вслед за ними прошли в гардеробную сэр Роберт Хай-смит и его младший барристер Честер Дикс — в котелках и костюмах в тонкую полоску, неся под мышкой зонтики, а в руках — сумки с мантиями.

Сэр Адам Кельно, прибывший вместе с женой и Террен-сом Кэмпбеллом, торопливо вошел в здание. В руке он держал скомканную телеграмму от сына.

— Вон идут Кейди и Шоукросс.

— Мистер Кейди, не скажете ли вы несколько слов...

— Простите, ребята. Строгий запрет. Никаких коммента-риев.

— А что это за девушка?

— По-моему, дочка Кейди.

Появление Саманты и Реджи Брука не привлекло вни-мания.

* Суд первой инстанции по гражданским делам.

Начало заседания приближалось. Перед дверями зала № 7, в холодном каменном коридоре, шумела толпа судебных приставов, помощников адвокатов, репортеров и зрителей.

В судейской комнате судья Гилрей поправлял парик и горностаевый воротник своей пурпурной мантии. На его хищном лице уже застыло привычное выражение полного бесстрастия и скуки — такую маску он избрал для себя на время ведения процессов.

Обе входные двери за зелеными занавесками распахнулись, и зал начал заполняться. Прямо напротив входа, на возвышении, находилась Королевская Скамья, предназначенная для судьи, а ниже — простые деревянные скамьи для адвокатов и их помощников, барристеров, прессы, присяжных и зрителей.

Кейди и Шоукросс сели позади Брендона О'Коннера в первом ряду мест для публики. Дэвид толкнул Эйба в бок и кивком головы указал на дальний конец ряда, где сидели Анджела Кельно и Терренс Кэмпбелл.

Эйб улыбнулся Саманте и Ванессе, которые уселись сзади него вместе с Лоррейн Шоукросс, Джеффри, Пэм и Сеилом. Потом он посмотрел в сторону адвокатского стола, где с непроницаемо спокойным лицом сидел Адам Кельно. Эйб, которому на протяжении его журналистской и писательской карьеры довелось беседовать с тысячами людей, сразу понял, что это спокойствие напускное, как только Адам, обернувшись, стал искать глазами жену и сына.

И тут взгляды Кельно и Кейди встретились. В первые мгновения они смотрели друг на друга с нескрываемой враждебностью, потом — испытующе и вопросительно. Эйба по-прежнему одолевала злость, но на лице Кельно вдруг выразилась растерянность, словно он подумал: «А что мы здесь делаем?»

Появились присяжные — восемь мужчин и четыре женщины, ничем не примечательные на вид. Двенадцать заурядных англичан, каких можно в любой момент встретить на улице.

Барристеры зашептались с адвокатами, зашелестели бумаги.

— Прошу тишины!

Все поднялись с мест, когда из двери позади Королевской Скамьи вышел почтенный судья Энтони Гилрей.

Весь зал почтительно склонил головы, и он уселся в свое глубокое кожаное кресло с высокой спинкой.

Сэр Роберт Хайсмит энергично встал со своего места и завел непринужденный разговор с судьей, обмениваясь с ним замечаниями о том, сколько времени может продлиться процесс.

Томас Баннистер тоже встал. Типичный англичанин среднего роста и сложения, он излучал могучую энергию. Голос у него был тихий и казался монотонным, пока слушатель не улавливал в нем четкого ритма. Он согласился с тем, что процесс, вероятно, будет долгим.

Гилрей повернулся вместе с креслом к присяжным и выразил свое сочувствие, сказав, что им придется нелегко. Те промолчали.

— Я хотел бы спросить, нет ли среди вас кого-нибудь, у кого родственники погибли в концлагерях?

Баннистер и О'Коннер тут же вскочили. Баннистер обернулся через плечо и взглядом дал понять своему помощнику, что берет дело в свои руки.

— Если милорд намерен ввести такое ограничение для присяжных, то мы будем вынуждены просить о введении и других, противоположных ограничений — например, исключить из числа присяжных тех, кто питает особые симпатии к врачам, или к лицам, возведенным в рыцарское звание, или к бывшим польским националистам и так далее.

— Я только одно имел в виду, — ответил судья. — Я бы не хотел, чтобы кто-нибудь, кто потерял родственников в концлагерях, пережил лишние страдания, выслушивая то, что будет говориться на этом процессе.

— В таком случае я не имею возражений.

Ответом на вопрос судьи было молчание. Тогда присяжных привели к присяге.

Когда сэр Роберт Хайсмит раскрыл перед собой на трибуне свои заметки и выпрямился, подбоченившись, наступила тишина — слышно было только, как тикают часы на стене между книжными шкафами. Он долго молча смотрел на присяжных и несколько раз откашлялся. В английском суде барристер обязан стоять на трибуне, что ограничивает его подвижность и жестикуляцию. Не имея возможности передвигаться по залу суда, он должен полагаться только на свои ораторские способности и быстроту соображения.

— Милорд судья, господа присяжные! — начал Хайсмит. — Мы рассматриваем здесь иск о возмещении ущерба, причиненного клеветой. Клеветой, должен сказать, такой злостной, какая редко становится предметом рассмотрения английского суда. Нам с вами придется на время забыть о благоустроенном Лондоне тысяча девятьсот шестьдесят седьмого года, потому что речь пойдет о кошмаре нацистских концентрационных лагерей, которые представляли собой жуткий ад, созданный два десятка лет назад руками человека.

Он высоко поднял экземпляр «Холокоста», нарочито медленно раскрыл его на странице 167 и, сделав долгую паузу, обвел взглядом присяжных. Потом он отчетливо прочитал:

— «Из всех концлагерей самой дурной славой пользовался лагерь «Ядвига». Здесь штандартенфюрер СС доктор Адольф Фосс устроил экспериментальный центр для разработки методов массовой стерилизации, где в качестве подопытных животных использовались люди, а штандартенфюрер СС доктор Отто Фленсберг и его ассистент проводили и другие столь же чудовищные исследования на заключенных. В пресловутом бараке № 5, в секретном хирургическом отделении, доктор Кельно проделал пятнадцать тысяч или более экспериментальных операций без применения обезболивающих средств». Господа присяжные, позвольте мне повторить: «пятнадцать тысяч или более экспериментальных операций без применения обезболивающих средств».

Он со стуком захлопнул книгу, бросил ее на стол и воздел глаза к потолку.

— Что может быть ужаснее, позорнее и подлее, чем это обвинение?! — воскликнул он, приподнимаясь на носки и тыча кулаком в воздух, словно боксер. — Как можно сильнее оклеветать врача, чья репутация известна далеко за пределами его больницы? Я хотел бы повторить то, что написано в нашем исковом заявлении. И я прошу передать присяжным комплект его обоснований.

— У вас есть возражения, мистер Баннистер? — спросил судья.

— Что именно вы намерены передать присяжным?

— Обоснования иска, — ответил Хайсмит. — Согласованный комплект обоснований. Вот он.

Томас Баннистер взял у него папку и протянул сидевшему позади О'Коннеру, который перелистал лежащие в ней бумаги и прошептал ему несколько слов.

— Мы не возражаем, но с оговоркой. По этому делу уже было несколько предварительных слушаний, есть кое-какие дополнения, и могут возникнуть новые обстоятельства, имеющие отношение к делу.

Каждому из присяжных был вручен экземпляр обоснований. Хайсмит продолжал:

— В деле о клевете истец должен доказать три вещи. Первая — опубликовали ли ответчики эти слова? Этого они, впрочем, и не отрицают. Вторая — относятся ли эти слова к моему клиенту? И этого они не оспаривают. И наконец, являются ли эти слова клеветническими? Наша задача — доказать, что являются, если этого не признают сами ответчики. Собственно говоря, мое вступление на этом закончено, и я мог бы сказать ответчикам: пожалуйста, доказывайте, что вы правы. Однако я намерен сначала вызвать на трибуну сэра Адама Кельно, чтобы вы могли составить суждение об этом человеке и о том, насколько чудовишна возведенная против него клевета.

В голосе Хайсмита зазвучали иронические нотки.

— Конечно, ответчики будут утверждать, что пятнадцать тысяч — всего лишь приблизительная цифра и что мы не знаем, действительно ли он проводил все эти операции без обезболивания. Они скажут — может быть, несколько сотен или несколько десятков. Видите ли, на самом деле они этого не знают. Вы, конечно, примете во внимание, что сэр Адам Кельно не был немцем, не был нацистом, он был заключенным-поляком. Нашим союзником, который пережил невообразимые ужасы, которого спасло лишь то, что он был опытным врачом, и этот свой опыт он использовал для того, чтобы помогать товарищам по несчастью. Он был нашим союзником, благодаря мужеству которого выжили тысячи людей... Да, я не боюсь назвать цифру — тысячи людей он спас от болезней и смерти. Действительно, сэр Адам Кельно провел сам или помогал проводить около двадцати тысяч операций, но это были обычные, необходимые операции, и при этом он еще рисковал своей жизнью как член подполья.

Дальше сэр Роберт Хайсмит рассказал о приезде Кельно в Англию, о возведении его в рыцарское звание, о его выдающихся научных трудах.

— Этот человек обратился к нам, чтобы снять пятно со своего имени. Типография, напечатавшая эту книгу, — он схватил книгу и высоко поднял ее, — признала свою ошибку и нашла силы прислать извинения. Можно было бы ожидать, что и Абрахам Кейди вместе с Дэвидом Шоукроссом сделают то же самое, вместо того чтобы вынуждать нас встать на этот мучительный путь. Но они этого не сделали. Вы — британские присяжные, и вам предстоит решить, насколько серьезна клевета, возведенная против этого ни в чем не повинного человека.

2

— Вызывается сэр Адам Кельно.

Кельно встал из-за стола, где сидел со своим адвокатом, едва заметно улыбнулся Анджеле и Терри и поднялся на свидетельскую трибуну, стоявшую слева от судьи, непосредственно перед битком набитыми местами для прессы.

— На какой Библии вы хотели бы принять присягу?

— Я католик.

— Прошу принести католическую Библию.

Судья повернулся к Кельно:

— Я полагаю, вам предстоит довольно много времени провести на этой трибуне. Попрошу пристава принести вам стул.

— Благодарю вас, милорд.

Отвечая на вопросы сэра Роберта Хайсмита, Кельно сообщил, что закончил медицинский факультет, после начала войны вступил в ряды подполья, был арестован гестапо, осужден и летом 1940 года отправлен в концлагерь «Ядвига».

— Нас зарегистрировали, помыли, обрили с ног до головы и выдали полосатую одежду.

— Какие работы вы выполняли в первое время после прибытия в лагерь?

— Общие работы.

— Немцы знали, что вы врач?

— Может быть, знали, а может быть, и нет. Каждый день привозили тысячи заключенных, и им, возможно, было некогда разбираться в бумагах. Сначала я боялся сказать, что я врач, потому что немцы намеренно уничтожали образованных поляков-специалистов.

- Но потом вы изменили свое решение?
- Да. Я увидел, как люди страдают, и понял, что могу им помочь. Я не считал нужным дальше скрывать свою профессию.
- Вы сами стали жертвой условий, царивших в лагере, не правда ли?
- Я свалился с сыпным тифом и несколько месяцев был тяжело болен. Когда поправился, подал заявление о переводе в медчасть, и моя просьба была удовлетворена.
- Кроме тифа, что еще вам пришлось перенести?
- Личные унижения.
- Один, два раза?
- Десятки раз. Нас наказывали за все действительные или вымышленные проступки. Охранники гоняли нас — ходить шагом не разрешалось, только бегом. Обычным наказанием был бег на корточках на сотни метров, а тех, кто отставал, избивали. Кроме того, в лагере свирепствовала дизентерия, которой я тоже заболел. Тогда и объявил, что я врач. Немцы не могли справиться с эпидемией.
- А после того, как эпидемия прекратилась?
- Мне разрешили организовать операционную и принимать больных. Я лечил то, что попроще: фурункулы, абсцессы, небольшие раны.
- Все это происходило в конце сорокового года. Как бы вы охарактеризовали общее состояние медицинской службы в лагере?
- Как очень скверное. Нам всего не хватало, приходилось даже пользоваться бумажными бинтами.
- Работали ли с вами другие врачи из числа заключенных?
- Сначала — нет. У меня было только несколько помощников. Но скоро медчасть переполнили больные с гематомами.
- Объясните, пожалуйста.
- Это обширные кровоподтеки, особенно на ягодицах, сопровождаемые обильным внутритканевым кровотечением. Часто они оказывались инфицированными или гнойными. Иногда в них скапливалось до полулитра гноя. Такие больные не могли ни ходить, ни сидеть, ни лежать. Чтобы облегчить их страдания, я делал разрез и дренаж, после чего постепенно наступало заживление.
- Что было причиной этих гематом?

— Избиения, на которые не скупилась немцы.
— Доктор Кельно, проводили ли вы в этот начальный период ампутации?

— Да, главным образом удалял пальцы на руках и ногах, отмороженные или сломанные при избиении.

Хайсмит снял очки и подался вперед, в сторону свидетельской трибуны.

— Доктор Кельно, — произнес он громко, — вы когда-нибудь делали операции, не вызывавшиеся необходимостью?

— Никогда. Ни тогда, ни потом. Никогда.

— В это время, с конца сорокового по сорок второй год, как с вами обращались?

— Много раз избивали.

— И какие последствия имели эти избиения?

— Огромные кровоподтеки, иногда величиной с футбольный мяч. Мучительные боли. У меня поднималась температура, отекали ноги, воспалялись вены и образовывались тромбофлебитные узлы, которые были прооперированы только после войны.

— Когда ситуация в лагере «Ядвига» стала изменяться?

— В середине сорок первого, когда Германия напала на Россию. «Ядвига» была большим рабочим лагерем, где руками рабов производилась разная продукция, необходимая Германии для ведения войны. Они поняли, что зверское обращение с заключенными приводит к потере слишком многих рабочих дней, и решили наладить более или менее приличную медицинскую службу.

— Можете ли вы назвать конкретное событие, которое стало причиной этого?

— В середине зимы сорок первого наступили сильные холода, и нам пришлось иметь дело с тысячами случаев пневмонии, обморожения и шока от холода. Лечить больных нам было почти нечем — мы могли только давать им пить. Они лежали в бараках на полу, вплотную друг к другу, так что едва оставалось место для прохода, и умирали сотнями. Мертвые не могут работать, и немцы изменили свою политику.

— Интересно знать, доктор Кельно, вели немцы учет умерших?

— У немцев мания все учитывать. Во время эпидемии они каждый день по многу раз устраивали переключки, ко-

торые начинались в половине шестого утра. Оставшиеся в живых должны были выносить на перекличку трупы из барраков. Все были на строгом учете.

— Понятно, к этому мы еще вернемся. Значит, после эпидемии зимой сорок первого года вам разрешили наладить медицинскую службу?

— Более или менее. У нас почти ничего не было, поэтому по ночам, когда эсэсовцы уходили, мы отправлялись воровать. Позже кое-что появилось, но и этого было слишком мало. Тем не менее положение стало более сносным, когда ко мне прикомандировали других врачей. В бараке номер двадцать я смог устроить довольно приличную операционную. Германские врачи, лечившие заключенных, никуда не годились, и понемногу дело взяли в свои руки врачи из заключенных.

— И какую роль в этом играли вы?

— Два года я был главным хирургом, а в августе сорок третьего меня сделали номинальным начальником всей медчасти.

— Номинальным?

— Да, на самом деле у меня был начальник — эсэсовец доктор Адольф Фосс, и, кроме того, я был обязан выполнять приказы любого другого врача-эсэсовца.

— Вы часто виделись с Фоссом?

— Он проводил больше всего времени в бараках с первого по пятый. Я старался держаться от них подальше.

— Почему?

— Он проводил там эксперименты.

Следующий вопрос сэр Роберт задал медленно, особо многозначительным тоном:

— Регистрировались ли как-нибудь ваши операции и процедуры?

— По моему настоянию велась их аккуратная регистрация. Я считал это важным, чтобы потом не возникло никаких сомнений относительно моих действий.

— Как велась эта регистрация?

— В специальном журнале.

— В одной книге?

— Их набралось несколько.

— И в них регистрировалась каждая операция или процедура?

— Да.

— И вы ставили свою подпись?

— Да.

— Кто вел этот журнал?

— Один медрегистратор. Чех. Не помню, как его звали.

Эйб сунул Шоукроссу записку: «Хорошо бы встать и крикнуть: «Соботник» — интересно, вспомнит ли он тогда».

— Знаете ли вы, что стало с этими журналами?

— Представления не имею. Когда пришли русские, в лагере наступил хаос. Я бы очень хотел, чтобы эти журналы появились здесь, — они доказали бы мою невиновность.

Сэр Роберт молчал, словно пораженный громом. Судья медленно повернулся к Кельно.

— Сэр Адам, — сказал он, — вы говорите о доказательстве вашей невиновности. Но вы в этом деле истец, а не ответчик.

— Я хотел сказать... Они стерли бы пятно с моего имени.

— Продолжайте, сэр Роберт, — сказал судья.

Хайсмит вскочил и постарался как можно скорее смягчить впечатление, которое произвела оговорка Адама.

— Значит, все это время вы были заключенным и находились под надзором немцев.

— Да, заключенным. Были эсэсовцы-санитары, которые следили за каждым нашим шагом.

— А кроме надзора за вами были ли у этих санитаров, подчиненных доктору Фоссу, какие-нибудь другие обязанности?

— Они производили селекцию моих больных... отбирали жертв для газовых камер.

В зале суда наступила тишина — снова было слышно только тиканье часов. Англичане знали все это только понаслышке. А здесь у них на глазах сэр Адам Кельно, бледный, как мел, словно приоткрыл занавес, развернув перед ними эти страшные картины.

— Вы не хотели бы, чтобы мы объявили перерыв? — спросил его судья.

— Нет, — ответил Адам. — Не проходит и дня, чтобы я об этом не вспоминал.

Сэр Роберт вздохнул, взялся за лацканы своей мантии и так понизил голос, что присяжным приходилось напрягаться, чтобы его расслышать.

— Как происходила эта селекция?

— Иногда немец просто указывал пальцем на кого-нибудь, проходя по палате. На тех, кто на вид имел меньше всего шансов выжить.

— Сколько их отбирали?

— Это зависело от того, сколько к нам привозили на уничтожение из других лагерей. Когда газовые камеры оказывались недогруженными, остальных брали из больницы. По сто человек в день, иногда по двести или триста. Когда привезли несколько тысяч венгров, нас некоторое время вообще не трогали.

— Как далеко от вашей больницы находились газовые камеры?

— В пяти километрах. Их было видно от нас. И... и запах до нас доходил.

Абрахам Кейди живо вспомнил свое посещение лагеря «Ядвига» и невольно с жалостью взглянул на Адама Кельно. Господи, как же можно было там устоять и не сойти с ума?

— Что делали при селекции лично вы?

— Видите ли, когда они отбирали кого-нибудь, то писали у него на груди номер. Мы обнаружили, что эти номера легко смыть. Мы подменяли этих больных теми, кто умер за ночь. Поскольку немцы сами не имели дела с трупами, это некоторое время сходило нам с рук.

— Сколько людей вы смогли спасти таким путем?

— По десять — двадцать из каждой сотни.

— И как долго это продолжалось?

— Много месяцев.

— Можно сказать, что вы таким путем спасли несколько тысяч человек?

— Мы были слишком заняты спасением людей, чтобы их считать.

— Прибегали ли вы к другим способам обмана немцев?

— Когда они заподозрили, что мы отправляем в газовые камеры трупы, они стали составлять списки, и тогда мы стали подменять фамилии. Многие из тех, кто жив и сейчас, годами жили в лагере под чужими фамилиями. Кроме того, через подполье мы узнавали заранее, когда будет очередная селекция. Тогда я оставлял в больнице как можно меньше больных, а остальных отправлял на работу или прятал.

— Когда вы это делали, вы принимали во внимание национальность или религиозную принадлежность заключенных?

— Жизнь есть жизнь. Мы спасали тех, у кого, по нашему мнению, было больше всего шансов выжить.

Хайсмит сделал паузу, чтобы его следующие слова лучше дошли до слушателей, и спросил о чем-то своего помощника, а потом снова повернулся к трибуне.

— Доктор Кельно, вы когда-нибудь давали свою кровь для переливания?

— Да, много раз. Там были некоторые образованные люди, ученые, музыканты, писатели, которых мы твердо решили спасти, и иногда мы переливали им свою кровь.

— Расскажите, пожалуйста, суду, в каких условиях вы жили.

— Я жил в бараке, где размещались примерно шестьдесят мужчин.

— А на чем вы спали?

— На матрасе, набитом соломой пополам с бумагой. У нас было по простыне, подушке и одеялу.

— Где вы принимали пищу?

— В маленькой кухне в углу барака.

— Какие там были удобства?

— Один туалет, четыре умывальника и душ.

— Какую одежду вы носили?

— Из полосатой бумажной ткани.

— С опознавательными знаками?

— У всех заключенных над левым нагрудным карманом были нашиты треугольники. У меня — красный, это означало, что я политический заключенный. Кроме того, сверху на нем была нашита буква «П», означавшая, что я поляк.

— Кроме уничтожения заключенных в газовых камерах, убивали там еще кого-нибудь?

— Кроме эсэсовцев, за заключенными присматривали еще немцы-уголовники и немецкие коммунисты, которые часто проявляли такую же жестокость. Когда они хотели кого-нибудь уничтожить, то просто забивали человека до смерти, а потом вешали на его собственном поясе и регистрировали смерть как самоубийство. Эсэсовцы знали, что эти звери берут на себя часть их работы, и делали вид, что ничего не видят.

— Были ли еще случаи убийств, официальных или каких-нибудь других?

— Я уже говорил, что в бараках с первого по пятый находился экспериментальный центр. Между вторым и третьим бараками была бетонная стена. Когда газовые камеры оказывались перегружены, около нее расстреливали людей — десятками и сотнями.

— Использовались ли еще какие-нибудь способы убийства?

— Инъекция фенола в сердце. Это вызывает смерть в течение нескольких секунд.

— Вы видели это?

— Да.

— Вам когда-нибудь приказывали сделать такую инъекцию?

— Да. Эсэсовец доктор Зигмунд Рудольф, ассистент Фленсберга. Он велел мне сделать несколько больным инъекции глюкозы, но я уловил запах фенола и отказался. Больные забеспокоились, но эсэсовцы-охранники избили их и привязали к стульям, после чего он сам ввел им примерно по сто кубиков. Они умерли почти мгновенно.

— Были ли вы за это наказаны?

— Да. Зигмунд Рудольф назвал меня трусом и выбил мне зубы.

— Доктор Кельно, давайте вернемся к баракам с первого по пятый. Насколько я понимаю, установлено, что ими командовали штандартенфюрер Фосс и ассистент Зигмунд Рудольф. Расскажите, пожалуйста, милорду судье и господам присяжным, в каких отношениях с ними вы находились.

— С Фленсбергом я дела почти не имел. А Фосс занимался экспериментами по стерилизации. Одним из способов было облучение женских яичников и мужских семенников большими дозами рентгеновских лучей. С ним работал один врач-еврей, доктор Дымшиц. Вероятно, он слишком много знал, потому что его отправили в газовую камеру. Вскоре после этого Фосс вызвал меня и другого польского врача — Константы Лотаки и сообщил нам, что нас время от времени будут вызывать для проведения операций в пятом бараке.

Вот-вот перед слушателями должны были раскрыться страшные тайны пятого барака. Баннистер и О'Коннер поспешно записывали каждое слово Адама. Гилрей старался

сохранить внешнее бесстрашие, несмотря на обуревавшие его чувства.

— Продолжайте, пожалуйста, сэр Адам.

— Я спросил Фосса, какие это будут операции, и он сказал, что я должен буду удалять отмершие органы.

— Как вы на это реагировали?

— Лотаки и я были в большом беспокойстве. Фосс ясно дал понять, что, если мы не согласимся, нас ждет та же судьба, что и доктора Дымшица.

— То есть за отказ вас отправят в газовую камеру?

— Да.

— Вы уже ранее отказались делать инъекцию фенола. Приходила ли вам мысль отказаться и на этот раз?

— Это было совсем другое дело. Фосс сказал, что, если мы откажемся, операции будут делать эсэсовские санитары. Мы решили обсудить это со всеми другими врачами из заключенных. Мы собрались вместе и решили, что это означало бы верную смерть для всех пациентов Фосса и что Лотаки и я как врачи обязаны спасти этих людей.

— Вы сказали, что говорили со всеми без исключения врачами из заключенных?

— Со всеми, кроме доктора Марка Тесслара. Он ненавидел меня еще с тех пор, как мы были студентами в Варшаве. Позже, в лагере «Ядвига», он принимал участие в экспериментах Фосса.

— Минуточку, — прервал его Томас Баннистер, вставая.

Адам Кельно вскочил со стула, вцепился в трибуну и выкрикнул:

— Я не позволю заткнуть мне рот! Это из-за Тесслара и его лживых показаний мне пришлось уехать из Польши! Все это заговор коммунистов, которые будут преследовать меня до самой могилы!

— Совершенно очевидно, — хладнокровно произнес Томас Баннистер, — что эта ситуация дает основания для принесения протеста. Однако пока что я от этого воздержусь.

— Ну что ж, раз вы не приносите протест, то мне не надо принимать никакого решения, — сказал Гилрей. — Тем не менее мне кажется, что здесь несколько разыгрались эмоции и что сейчас самое время объявить перерыв до завтра.

Была почти полночь, когда Терри появился в квартире Кельно.

— Где ты был? — спросила Анджела.

— Гулял. Просто гулял.

— Ты что-нибудь ел?

— Я не голоден. Доктор Кельно еще не спит?

— Нет, он в кабинете.

Адам Кельно сидел за столом неподвижно, словно восковая фигура. Он не слышал стука в дверь и не видел, как вошел юноша.

— Доктор...

Адам медленно поднял глаза, а потом отвернулся.

— Доктор, я сейчас просто бродил по улицам. То есть я думал обо всем, что сегодня слышал, и пытался это понять. По-моему, никто из нас не представлял себе реально, что это было за место. Читать про это — совсем другое дело. Я просто не знал.

— Нелегко тебе это переварить, Терри? А ведь то, что ты слышал сегодня, — наверное, еще самая безобидная часть.

— О Господи! — Терри опустил на стул и закрыл лицо руками. — Если бы я знал... Мне так стыдно за себя!

— Еще бы не стыдно. Может быть, тебе действительно слишком тяжело это слышать? Может быть, тебе лучше больше не приходить в суд?

— Не надо, прошу вас. Я чувствую себя последним подонком. Это просто удивительно — как человек вроде меня, который получил от жизни все, может быть так поглощен своими проблемами, своими делами, как он может быть таким эгоистом и не видеть, что чувствуют и как страдают другие.

— Все молодые люди эгоисты, — сказал Адам. — Правда, ваше поколение еще больше, чем все другие.

— Доктор, вы сможете меня когда-нибудь простить?

— Простить? Ну, ведь это не ты привел немцев в Польшу.

— Я искуплю свою вину.

— Занимайся как следует и стань хорошим врачом. Это все, чего хочет твой отец. И никакого другого искупления мне не надо.

— Сегодня после суда у меня был долгий разговор с Мэри. Мы обо всем договорились. Я хотел бы, пока идет суд, жить здесь.

— Конечно. Я буду рад. А Мэри?

— Не знаю. Если она будет здесь, это внесет лишнее напряжение. А дальше — посмотрим.

Вошла Анджела.

— Идите-ка оба, вам надо чего-нибудь поесть.

Терренс открыл перед Адамом дверь, а когда тот проходил мимо, бросился к нему в объятия и заплакал, как не плакал с детства.

Самолет леди Сары Видман приземлился в аэропорту Хитроу в два часа ночи. Сонный таможенник, зевнув, окинул взглядом десять мест багажа и сделал знак проходить.

Ее шофер Морган помогал носильщику нагрузить вещи на тележку, когда появился Джейкоб Александер и чмокнул леди Сару в щеку.

— Джейкоб, вам незачем было приезжать сюда в такую рань.

— Как вы долетели?

— Обыкновенно.

«Бентли» отъехал от аэропорта. За ним следовало такси с вещами, которые не поместились в багажнике. Они миновали туннель, по развязке выехали на автостраду и помчались в сторону Лондона.

— Как идет дело?

— Ну, первый раунд выиграл, конечно, сэр Роберт. Вы успешно съездили?

— Да. Про Сobotника что-нибудь слышно?

— Никаких следов. И Арони говорит, что особенно надеяться не на что.

— Тогда Эйбу просто придется разрешить Питеру Ван-Дамму дать показания.

— Нет, тут уговорить его не удастся. Я приехал сегодня встречать вас, Сара, потому что должен выговориться. Меня беспокоит Марк Тесслар. Мы побывали у него в Оксфорде, чтобы взять дополнительные показания, и поняли, что он очень болен. Только недавно он оправился после тяжелого сердечного приступа. Во всяком случае, мы решили рискнуть и сделать ставку на этого Лотаки — на того, кто делал некоторые операции вместе с Кельно. Он в Польше, в

Люблине, работает хирургом в больнице. Теперь он безупречный коммунист, и никакого дела против него не возбуждалось. Мы исходим из того, что, если он поможет нам в Лондоне, это может помочь ему в Польше, и поэтому он, возможно, даст показания.

— С другой стороны, он может решить дать показания в пользу Кельно — так ему будет легче остаться незапятнанным.

— Мы понимаем, что это риск, но нам приходится делать кое-какие отчаянные ходы.

Машина остановилась на Беркли-сквер.

— Джейкоб, завтра я буду не в состоянии показаться в суде. Будьте любезны, передайте Эйбу, что я позвоню ему после заседания.

— Сара...

— Да?

— Почему вы не хотите, чтобы я сказал ему, сколько денег вы собрали и сколько пожертвовали сами?

— Понимаете, он столько взял на себя. Пусть чувствует, что за ним стоят невидимые друзья, разбросанные по всему миру. Кроме того, он терпеть не может, когда евреи собирают на что-нибудь пожертвования.

4

— Прежде чем я продолжу свои вопросы, милорд, сэр Адам хотел бы сделать заявление.

— Милорд, я хочу принести извинения за то, что не сдержался вчера, — дрожащим голосом произнес Адам.

— Это иногда случается, — сказал судья Гилрей. — Я уверен, мистер Сидди и сэр Роберт разъяснили вам, что подобные вещи в британском суде недопустимы. При всем уважении к нашим американским друзьям мы не позволим превратить заседание английского суда в цирк, как у них. Суд принимает ваше извинение и предупреждает, что в случае повторения к вам будут приняты самые строгие меры.

— Благодарю вас, милорд.

— Вы можете продолжать, сэр Роберт.

Сэр Роберт несколько раз приподнялся на носках и потер руки, разогреваясь.

— Сэр Адам, вчера перед перерывом вы показали следующее. После того как штандартенфюрер Фосс сообщил вам и доктору Лотаки, что вы должны будете удалять отмершие органы, вы переговорили со всеми другими врачами из заключенных, кроме доктора Тесслара. Так?

— Да.

— Скажите точно, к какому мнению вы пришли? Что решили?

— Мы знали, что доктора Дымшица отправили в газовую камеру, и имели все основания считать, что Фосс не шутит, обещая отправить и нас туда же. Мы знали от него, что пациентов будут оперировать неумелые санитары-эсэсовцы, а это неминуемо будет означать увечья. Мы решили спасти как можно больше людей и в то же время попытаться уговорить Фосса сократить масштабы экспериментов.

— Так. И после этого вас и доктора Лотаки время от времени вызывали в пятый барак для удаления отмерших семенников и яичников?

— Да.

— Сколько раз примерно это происходило?

— Раз восемь — десять. Во всяком случае, не больше дюжины. Я не знаю насчет доктора Лотаки — вероятно, столько же.

— Вы также ассистировали ему?

— Иногда.

— По сколько примерно операций проводилось во время каждого из этих вызовов в пятый барак?

— Ну, по одной-две.

— Но не по десятку?

— Нет, конечно, нет.

— И не по сотне?

— Нет.

— Удалось вам добиться прекращения этих экспериментов?

— Не вполне, однако мы постоянно давали понять, что мы против них, так что Фосс проводил лишь столько экспериментов, сколько ему нужно было, чтобы оправдать перед Берлином существование своего центра.

— Появлялся ли доктор Тесслар в пятом бараке в то время, когда вы проводили операции?

— Нет, никогда.

— Ни единого раза? Он никогда не видел, как вы оперируете?

— Марк Тесслар никогда не видел, как я оперирую.

— Так, ни единого раза, — перебирая лежавшие перед ним бумаги, повторил Хайсмит как будто про себя, чтобы это лучше дошло до сознания присяжных.

— Значит, с полного одобрения ваших коллег вы проделали максимум два десятка этих необходимых операций в числе двадцати тысяч других.

— Да. Мы только удаляли органы, убитые рентгеновским облучением. Если бы мы их не удаляли, то были опасения, что это приведет к развитию опухоли или рака. В каждом случае по моему настоянию операция регистрировалась в журнале.

— К несчастью, этот журнал утрачен навсегда, — сказал сэр Роберт. — Поэтому не будем о нем вспоминать. Расскажите, пожалуйста, милорду судье и господам присяжным, каким образом проводились эти операции.

— Видите ли, жертвы находились в тяжелом эмоциональном состоянии, поэтому я старался обращаться с ними особенно заботливо и объяснял, что операция делается для их же блага, чтобы спасти им жизнь. Я применял все свои медицинские познания и опыт и пользовался самыми лучшими обезболивающими средствами, какие были в моем распоряжении.

— Да, теперь об этих обезболивающих средствах. Вы, конечно, знаете, что в порочащем вас утверждении ответчика говорится, будто вы не пользовались обезболивающими средствами.

— Это абсолютный вымысел.

— Вы можете рассказать, какими обезболивающими средствами вы пользовались и каким образом?

— Да. Для операций на нижней части тела я предпочитал ингаляционному наркозу инъекции в спинной мозг.

— Вы придерживались такого же мнения и в Варшаве, в Лондоне и в Сараваке?

— Да, безусловно. Такая инъекция эффективнее расслабляет мышцы и обычно вызывает меньшее кровотечение.

— Вы поручали кому-нибудь делать эти инъекции перед вашими операциями в лагере «Ядвига»?

— Я делал их сам, потому что квалифицированного персонала не хватало. Сначала я давал предварительный укол морфия для обезболивания места инъекции, а потом инъекцию в спинной мозг.

— Причиняет ли это пациенту сильную боль?

— Нет, когда это делает специалист, больной ощущает только укол.

— Где вы вводили обезболивающие средства?

— В операционной.

— А как насчет послеоперационного ухода?

— Я сказал Фоссу, что должен пролечивать этих пациентов до полного выздоровления, и он согласился.

— И вы продолжали их посещать.

— Да, каждый день.

— Вы не помните, случались ли какие-нибудь осложнения?

— Только обычное послеоперационное состояние плюс скверные жизненные условия лагеря. В данном случае дело обстояло несколько хуже из-за психологической травмы, связанной с утратой половых желез, но они были так счастливы, что остались в живых, что тепло меня встречали и были в хорошем настроении.

— И все они выжили, не так ли?

— Из-за этих немногих необходимых операций никто не умер.

— Благодаря вашему мастерству и послеоперационному уходу?

Томас Баннистер медленно поднялся с места.

— Вам не кажется, сэр Роберт, что вы задаете наводящие вопросы?

— Приношу извинения моему высокоученому другу. Позвольте мне сформулировать вопрос иначе. Делали ли вы что-нибудь особенное для этих двух десятков пациентов?

— Я приносил им лишние порции еды.

— Теперь, доктор Кельно, давайте на некоторое время обратимся к другой теме. Вы были членом подполья?

— Да, я был членом националистического подполья, не коммунистического. Я польский националист.

— Там было два подполья?

— Да. Националисты организовались, как только мы попали в лагерь «Ядвига». Мы устраивали побеги. Мы поддерживали контакты с националистическим подпольем в Вар-

шаве и во всей Польше. Мы работали на ключевых постах — в больнице, на радиозаводе, в канцелярии, где могли добывать лишние пайки и лекарства. Мы делали собственные радиоприемники.

— Сотрудничали ли вы с коммунистическим подпольем?

— Мы знали, что коммунисты намерены после войны захватить Польшу, и много раз они выдавали наших эсэсовцам. С ними надо было вести себя очень осторожно. Тесслар принадлежал к коммунистическому подполью.

— Чего еще сумело добиться ваше подполье?

— Мы улучшали условия жизни, доставали дополнительные пайки и лекарства. Двадцать тысяч заключенных работали на заводах вне лагеря, и подполье, действовавшее на свободе, передавало им разные вещи, которые они проносили в лагерь. Таким способом мы получили вакцину, с помощью которой прекратили новую эпидемию тифа.

— Как по-вашему, это позволило спасти много жизней?

— Да.

— Тысячи?

— Не могу сказать.

— Кстати, сэр Адам, вы сказали, что у вас было радио для связи с внешним миром. Где его прятали?

— В моей операционной в двадцатом бараке.

— Хм-м-м... — Хайсмит немного подумал. — Сколько времени продолжался ваш рабочий день в лагере «Ядвига»?

— Двадцать четыре часа в день, семь дней в неделю. После обычного приема больных, часы которого устанавливали эсэсовцы, мы работали в операционной и в палатах. Мне удавалось спать только урывками, по нескольку часов.

Абрахам наблюдал за присяжными, перед которыми сэр Роберт и Адам разворачивали картины героизма, мужества и самопожертвования. Он взглянул на О'Коннера, который был целиком погружен в свои бумаги, потом на Баннистера, совершенно спокойного и не сводившего глаз с Кельно. Внизу периодически сменялись стенографы, ведущие запись процесса. Два репортера «Таймса», оба — барристеры, занимали специальную ложу в зале суда, отдельно от переполненных мест для прессы, куда прибывали все новые и новые иностранные журналисты.

— Ранее мы выяснили, что вы сами вводили обезболивающие средства в операционной, — повторил сэр Роберт, чтобы напомнить об этом присяжным. — А теперь скажите,

испытывали ли вы некоторую гордость от того, что проводили операции быстро?

— Нет. В лагере постоянно приходилось так много оперировать, что я привык работать быстро, но не так быстро, чтобы это могло представлять опасность для пациента.

— Вы мыли руки перед каждой операцией?

— Конечно.

— И следили за тем, чтобы пациенты были как следует вымыты?

— Господи, конечно же.

— Каким образом производилось удаление яичников по приказу Фосса?

— Ну, после того, как начинала действовать инъекция в спинной мозг, пациентку снимали с каталки и привязывали к операционному столу.

— Привязывали? Насильно?

— Для ее собственной безопасности.

— И сегодня, в Лондоне, вы бы тоже привязали пациентку при проведении такой операции?

— Конечно. Это стандартный прием.

— Продолжайте, пожалуйста.

— Ну, потом надо было наклонить операционный стол.

— Насколько? На тридцать градусов?

— Пожалуй, нет. Когда делается полостная операция на нижней части тела, то стол наклоняют, чтобы внутренности сами по себе сдвинулись и освободили место для работы хирурга. Дальше я делал разрез брюшной стенки, с помощью зажима приподнимал матку, вводил другой зажим между маткой и яичником и удалял яичник.

— Что вы делали с удаленным яичником?

— Ну, держать его в руке я не мог. Обычно клал его в тазик или в какой-нибудь другой сосуд, который держал ассистент. Когда яичник удален, остается ножка, или культя. Ее зашивают, чтобы предотвратить кровотечение.

— Эта ножка, или культя, всегда зашивается?

— Да, всегда.

— Сколько времени продолжается такая операция?

— В обычных условиях пятнадцать — двадцать минут.

— И все это делается стерильными инструментами?

— Разумеется.

— И вы работали в резиновых перчатках?

— Я предпочитаю надевать поверх резиновых стерильные матерчатые перчатки, чтобы пальцы не скользили. Тут каждый хирург решает, как ему удобнее.

— Скажите, пожалуйста, милорду судье и господам присяжным, может ли пациентка, находящаяся в полусознании и не чувствующая боли, следить за ходом операции?

— Нет. Место разреза отгораживают стерильной простыней, так что она ничего не может видеть.

— А зачем это делается?

— Чтобы пациентка не могла кашлянуть или сплюнуть в открытую операционную рану.

— Значит, пациентка ничего не видит и не чувствует. Испытывает ли она большие страдания?

— Видите ли, сэр Роберт, пребывание на операционном столе никому не доставляет удовольствия, однако это никак нельзя назвать «большими страданиями».

— И даже когда эти операции проводились в условиях концлагеря «Ядвиг», вы можете сказать, что соблюдались обычные правила хирургии?

— Там это было во многих отношениях гораздо труднее, но это была обычная хирургия.

После перерыва на обед сэр Адам Кельно, отвечая на вопросы сэра Роберта Хайсмита, рассказал о том, как еще студентом-медиком в Варшаве познакомился с Марком Тессларом. Они снова встретились в лагере «Ядвиг»; где Тесслар, по словам Кельно, оперировал эсэсовских проституток и впоследствии сотрудничал с немцами в их экспериментах.

— Лечил ли доктор Тесслар своих пациентов в общей медчасти?

— Он жил в третьем бараке, в отдельном помещении.

— Вы сказали — в отдельном помещении. Не так, как вы — в бараке, где размещалось еще шестьдесят человек?

— В третьем бараке держали многих жертв экспериментов. Вероятно, Тесслар лечил их, не знаю. Я избегал его, а когда приходилось встречаться, старался, чтобы эти встречи были как можно короче.

— Вы когда-нибудь хвастали ему, что сделали тысячи экспериментальных операций без обезболивания?

— Нет. Но я горжусь своей работой и мог сказать, что сделал в лагере тысячи операций.

— Нормальных операций.

— Да, нормальных. Но он искажил мои слова. Я предостерегал Тесслара по поводу его деятельности в лагере и сказал, что ему придется отвечать за свои преступления. Это было все равно что подписать себе самому смертный приговор: когда я вернулся в Варшаву, он был уже там и, чтобы скрыть свои преступления, стал обвинять меня, в результате чего мне пришлось бежать.

— Сэр Адам, — прервал его судья, — позвольте дать вам совет. Постарайтесь лишь отвечать на вопросы сэра Роберта, не сообщая по своей инициативе никакой дополнительной информации.

— Хорошо, милорд.

— Сколько времени вы оставались в лагере «Ядвига»?

— До начала сорок четвертого года.

— Расскажите милорду судье и господам присяжным, при каких обстоятельствах вы покинули концлагерь.

— Фосс уехал из лагеря в Росток, чтобы стать владельцем частной клиники для жен высших офицеров германского военно-морского флота, и взял меня с собой.

— В качестве заключенного?

— В качестве заключенного. Меня оформили как «собаку Фосса».

— Сколько времени вы провели в Ростоке?

— До января сорок пятого, когда Фосс эвакуировался в глубь Германии. Меня он с собой не взял. Среди немцев царила паника. Я остался там, чтобы лечить множество рабов и заключенных, которые теперь оказались на свободе. В апреле пришла Красная Армия. Сначала многих из нас задержали из-за отсутствия документов, но потом меня выпустили, и я добрался до Варшавы. Я приехал туда в пасхальное воскресенье и сразу же узнал, что против меня выдвинуты обвинения. Националистическое подполье тогда еще существовало, и меня снабдили фальшивыми документами, по которым я устроился работать на расчистку развалин. Как только я смог, я бежал в Италию, чтобы присоединиться к армии Свободной Польши.

— Что произошло после этого?

— Было расследование, и меня признали невиновным. Я переехал в Англию и стал работать в польском госпитале в Танбридж-Уэллсе. Там я оставался до сорок шестого года.

— А что случилось тогда?

— Я был арестован и помещен в Брикстонскую тюрьму. Польские коммунисты добивались моей выдачи.

— И сколько времени вы провели в тюрьме?

Тонем своего вопроса сэр Роберт дал понять, как он возмущен таким обращением британского правительства с его клиентом.

— Два года.

— И что произошло после этих двух лет, последовавших за почти пятью годами в лагере «Ядвига»?

— Британское правительство принесло мне извинения, и я вступил в Колониальную службу. В сорок девятом году я переехал на Борнео, в Саравак, и прожил там пятнадцать лет.

— В каких условиях вы жили в Сараваке?

— В самых первобытных.

— А почему вы избрали именно это место?

— Из страха.

— Значит, получается, что вы провели двадцать два года своей жизни либо в качестве заключенного, либо в изгнании за преступления, которых не совершали.

— Правильно.

— До какой должности вы продвинулись в Колониальной службе?

— Я был главным врачом округа. От более высоких назначений я отказался из-за моих исследований по улучшению питания и условий жизни туземцев.

— Вы писали научные работы на эту тему?

— Да.

— Как они были приняты?

— В конечном счете я был возведен в рыцарское звание.

— Хм-м-м-м... да. — Сэр Роберт бросил почти вызывающий взгляд в сторону присяжных. — После чего вы вернулись в Англию.

— Да.

— Вот что мне любопытно, сэр Адам. Почему теперь, когда вы титулованный британский гражданин, вы решили работать в таком захолустье, как Саутуорк?

— Я не могу съесть больше двух куриц в день. Я занимаюсь медициной не ради денег или положения в обществе. В моей поликлинике я могу оказать помощь максимальному числу людей, в ней нуждающихся.

— Сэр Адам, страдали ли вы раньше и страдаете ли сейчас от заболеваний, связанных с вашим пребыванием в лагере, Брикстонской тюрьме и на Сараваке?

— Да. Я лишился почти всех зубов, которые выбили мне гестаповцы и эсэсовцы. Я страдаю от варикозного расширения вен, гипертонии и нарушенного из-за рецидивов дизентерии пищеварения. У меня синдром тревоги, бессонница и больное сердце.

— Сколько вам лет?

— Шестьдесят два.

— Больше вопросов нет, — сказал сэр Роберт Хайсмит.

5

Саманта толкнула задом дверь и пятясь вошла в квартиру на Колчестер-Мьюз: обе руки у нее были заняты пакетами с продуктами. Остальное нес за ней вежливый таксист.

Эйб лежал на диване, рядом были разбросаны по полу газеты с кричащими заголовками: «Ивнинг ньюс» — «ГЕРОЙ ИЛИ ЧУДОВИЩЕ?», «Геральд» — «ДИЛЕММА ВРАЧА ИЗ КОНЦЛАГЕРЯ», «Дэйли уоркер» — «ВРАЧ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ ДАЕТ ПОКАЗАНИЯ», «Таймс» — «СЭР АДАМ КЕЛЬНО ПРОДОЛЖАЕТ», «Мэйл» — «У МЕНЯ НЕ БЫЛО ВЫБОРА»...

Эйб, зевая, встал.

— Заплати за такси, Эйб, — сказала Саманта.

— На счетчике три шиллинга, сэр.

Эйб протянул ему десятку и сказал, что сдачи не надо. Он любил лондонских таксистов — они всегда вежливы. А таксист любил американцев — они всегда дают хорошие чаевые.

— Что это у нас — Рождество?

— Просто никакой еды в доме не было, а я же тебя знаю, ты скорее умрешь от голода, чем пойдешь в магазин. Бен приехал?

— Да. Пошел прогуляться — должно быть, где-нибудь на улице гоняется за девками.

Саманта поставила пакеты на кухонный стол и начала доставать продукты.

— А что же папаша с ним не пошел?

— Я уже стар, Саманта. Мне за молодежью не угнаться.

— Ну да, как же. Эйб, этот молодой человек Ванессы поехал в Линстед-Холл. Не понимаю, что она в нем нашла. Упрям и всегда готов спорить до умопомрачения.

— Обыкновенный израильский сабра. Почти все они ужасно агрессивны, но это только из чувства самосохранения — они слишком долго жили, прижатые к морю.

— Эйб, сегодня после суда я слышала всякие разговоры... Люди говорят...

— Все в недоумении?

— Да.

— Действительно, у этой истории две стороны.

— Налить тебе виски?

— Было бы неплохо.

— Ужасно, просто ужасно, — сказала она, выковыривая из ванночки кубик льда. — У многих Кельно вызывает симпатию.

— Знаю.

— Ты сможешь все это выдержать?

— А для чего я сюда приехал — чтобы нанести визит королеве?

Зазвонил телефон. Саманта взяла трубку.

— Это тебя. Какая-то женщина.

— Слушаю.

— Привет, дорогой мой, — услышал он голос Сары Видман.

— Привет, рад тебя слышать. Александер сказал, что ты прилетела вчера вечером, очень поздно.

— Прости, что не была в суде с самого начала, но меня разрывают на части нью-йоркские театры. Впрочем, сезон очень неудачный. Когда мы увидимся?

— Например, сегодня.

— Мы можем пойти в какой-нибудь маленький ресторанчик в Челси или поужинать у меня.

— Мне бы лучше оставаться на телефоне.

— Хорошо. Тогда я куплю чего-нибудь по дороге и сама приготовлю ужин.

— Вот не знал, что ты умеешь готовить.

— Ты много чего еще не знаешь. Где-нибудь около половины восьмого?

— Годится.

Эйб положил трубку. Саманта подала ему виски, не скрывая своего неудовольствия:

— Кто это?
— Одна знакомая. Наша сторонница.
— И близко знакомая?
— Леди Сара Видман. Очень важная фигура в еврейской общине.

— Кто не слышал про леди Сару и ее благотворительность. Ты собираешься тут с ней переспать?

Он решил принять эту дурацкую игру.

— Здесь слишком тесно, да еще Бен в соседней комнате. Уж если трахаться, то там, где можно вопить, визжать и бегать с голой задницей.

Саманта побагровела и закусила губу.

— Да что ты, Саманта, ведь мы уж сколько лет как разведены. Неужели до сих пор ревнуешь?

— Да нет, просто глупость сказала. Я подумала... Эйб, другого такого, как ты, я не знала. Ведь Бена мы зачали как раз здесь. Я всегда вспоминаю об этом, когда приезжаю из Линстед-Холла. А ты когда-нибудь меня вспоминаешь?

— Сказать правду?

— Не знаю, хочу я услышать правду или нет.

— Если говорить правду, то да. Мы ведь двадцать лет прожили вместе.

— Я очень волновалась, когда узнала, что ты приезжаешь в Лондон, и надолго. Когда мы с Реджи предложили тебе эту квартиру, я уже знала, что буду приезжать в Лондон и просить тебя со мной переспать.

— Господи, Саманта, это же невозможно.

— Да неужели? Мы ведь такие старые друзья. Что в этом плохого?

— А Реджи?

— Он все равно будет меня подозревать и никогда не поверит, что ничего не было. Он такой милый, молчаливый, сдержанный. Если мы сами ему не расскажем, он никогда не заговорит об этом первый.

— Я теперь не сплю с чужими женами.

— Правда? И давно?

— С тех пор, как понял, что от того старика наверху не спрячешься. Рано или поздно за все придется расплатиться. Саманта, прошу тебя, не ставь меня в такое положение, чтобы пришлось тебе отказать.

Он протянул ей платок, и она вытерла слезы.

— Конечно, ты прав, — сказала она. — Откровенно говоря, не знаю, кто мне нравится больше — прежний Эйб или новый.

Леди Сара, в брюках и норковой шубе, приехала на своем «бентли». Шофер нес за ней сумку с едой.

Поварихой она оказалась первоклассной.

Эйб вдруг почувствовал, что ужасно устал. Он положил голову к ней на колени, и она стала нежными, опытными пальцами массировать ему затылок и виски, а потом прилегла рядом с ним. Она уже приближалась к той черте, за которой женщина перестает быть привлекательной, но прекрасно знала, как наилучшим образом распорядиться тем, чем еще располагала. Эйб решил, что эту черту она еще не перешла.

— Господи, как я устал.

— До конца недели еще не так устанешь. Давай на выходные съездим в Париж.

— Не могу. Из Израиля приедут свидетели. Я должен быть на месте.

— Но Париж!

— Вполне возможно, что я и не устою, — проворчал он.

— Не волнуйся так, дорогой. Все пойдет как надо, дай только Томасу Баннистеру взяться за дело.

— Странно, у меня из головы не выходит Кельно. Бедняга, сколько он пережил...

— Это не оправдывает того, что он делал.

— Знаю. Только вот все время спрашиваю себя: а я, попав в эту «Ядвигу», — смог бы я вести себя иначе?

Анджелу разбудили странные звуки. Из ванной доносился хрип, словно кто-то задыхается. Дверь ванной была открыта, и там горел свет. Анджела бросилась туда и увидела, что Адам стоит на коленях перед унитазом. Его рвало. Когда приступ рвоты прошел, она помогла ему подняться на ноги, и он, с трудом переводя дух, прислонился к стене. Она вымыла унитаз, уложила Адама в постель и положила на его холодный и влажный лоб мокрое полотенце. Потом дала ему лекарство и держала его за руку, пока спазмы не прекратились. Из ванной пахло дезинфекцией.

— Я боюсь Баннистера, — сказал Адам. — Он два дня сидит там и не сводит с меня глаз.

— Но*это же английский суд. Он не сможет тебя запугать. Сэр Роберт будет следить за каждым его шагом.

— Да, наверное, ты права.

— Ш-ш-ш-ш... Ш-ш-ш-ш... Ш-ш-ш-ш...

6

Входя в уже хорошо знакомый ему зал суда, Эйб на секунду оказался рядом с Анджелой Кельно и Терренсом Кэмпбеллом. Они обменялись неприязненными взглядами.

— Прошу извинить, — сказал Эйб и протиснулся дальше, где сидели Сара Видман и Шоукросс.

— Они прибудут самолетом из Тель-Авива после выходов, — сказал Шоукросс. — Но Александер сказал, что нам не надо ехать их встречать. Мы увидимся с ними в середине недели.

Баннистер с очень усталым на вид Бренденом О'Коннером вошли в зал вслед за Александером и Шейлой Лэм в ту самую минуту, когда появились присяжные. Две женщины из их числа и один мужчина несли с собой подушки — долго сидеть на жестких деревянных скамьях было не слишком удобно.

— Прошу тишины! — провозгласил судебный пристав.

При входе Гилрея все встали и поклонились.

Судья начал с того, что сделал предварительное объявление. Сэру Адаму Кельно, сказал он, несколько раз звонили и угрожали. Он предупредил, что это недопустимо, и предложил Томасу Баннистеру задавать вопросы.

Пока Баннистер вставал, Адам Кельно успел занять место на свидетельской трибуне, усесться и положить руки на перила. Он чувствовал, что транквилизатор, к счастью, уже начинает действовать.

— Доктор Кельно, — начал Баннистер, в отличие от Хайсмита очень тихим голосом. В зале тоже стало очень тихо. — Я понимаю, что английский — не ваш родной язык. Пожалуйста, просите меня повторить или сформулировать иначе любой вопрос, который покажется вам непонятным.

Адам кивнул и медленно отпил глоток воды из стакана — горло у него пересохло.

— Что означает медицинский термин «казус эксплоративус»?

— Как правило, это операция, которая проводится с целью установления диагноза — например, чтобы выяснить размеры раковой опухоли.

— Этот термин можно применить к удалению семенника или яичника?

— Да.

— Правильно ли было бы к этому добавить, что подобная операция могла быть проведена после рентгеновского облучения половой железы?

— Да.

— Например, как часть экспериментов Фосса?

— Нет, — резко ответил Адам. — Я не занимался экспериментами.

— Вы кастрировали людей?

— Кастрируют здорового человека. Я никого не кастрировал.

— Но разве эти люди не были здоровыми перед тем, как их насильственно облучили?

— Не я их облучал.

— Полагается ли перед операцией заручиться согласием пациента?

— Только не в концлагере.

— Выносились ли в Германии судебные приговоры, требующие кастрировать гомосексуалистов или других нежелательных лиц?

— Я таких случаев не припоминаю.

Честер Дикс передал Хайсмицу записку: «Он действует наугад — пытается хоть что-нибудь нащупать». Хайсмит кивнул Кельно, давая ему понять, что все идет нормально. Адама немного успокоил тихий голос Баннистера и его как будто бесцельные вопросы.

— Но если бы такой случай произошел, вы бы безусловно потребовали ознакомить вас с приговором?

— Я не могу рассуждать о том, чего не было.

— Но вы бы отказались оперировать здорового человека?

— Я никогда этого не делал.

— Доктор Кельно, смог ли кто-нибудь еще из заключенных-врачей покинуть концлагерь «Ядвига», чтобы работать в частной германской больнице?

— Доктор Константы Лотаки.

— Он также проводил операции в пятом бараке в связи с экспериментами Фосса?

— Он делал то, что ему приказывали.

— Ему приказывали удалять семенники и яичники?

— Да.

— Он делал это и он также покинул лагерь «Ядвига», чтобы работать в частной германской больнице?

На лице Адама Кельно отразились первые признаки беспокойства: он понял, что иметь дело с Баннистером будет не так просто. «Я должен быть начеку, — подумал он. — Надо будет как следует подумать, прежде чем отвечать».

— Далее. Когда вы прибыли в Ростов, где работали в частной клинике, вы уже не ходили в тюремной одежде?

— Вряд ли высокопоставленным германским морским офицерам понравилось бы, если бы их жен лечил человек из концлагеря в полосатой робе. Да, мне выдали гражданский костюм.

— Вероятно, они бы вообще не хотели, чтобы их лечил заключенный.

— Не знаю, чего они хотели и чего не хотели. Я все еще был заключенным.

— Но несколько особым заключенным, с особыми привилегиями. Я веду дело к тому, что вы сотрудничали с Фоссом, чтобы выкрутиться.

— Что-что?

— Повторите, пожалуйста, мистер Баннистер, — вмешался судья. — Он не понял, что вы сказали.

— Хорошо, милорд. Вначале вы занимались физической работой и подвергались избиениям и унижениям?

— Да.

— Потом вы стали чем-то вроде санитаров?

— Да.

— Потом врачом, лечившим заключенных?

— Да.

— Потом вам поручили руководить обширной медчастью?

— Более или менее. Под контролем немцев.

— И в конце концов вы стали врачом, который лечил жен германских офицеров?

— Да.

— Я хочу высказать предположение, что вы и доктор Лотаки, единственные врачи из заключенных, которые смогли

покинуть лагерь «Ядвига», были освобождены в награду за сотрудничество со штандартенфюрером СС доктором Адольфом Фоссом.

— Нет!

Некоторое время Баннистер стоял неподвижно, теребя свою мантию. Потом он спросил еще тише:

— Кому нужны были эти операции?

— Фоссу.

— Вы прекрасно знали, что он экспериментирует со стерилизацией.

— Да.

— Со стерилизацией рентгеновским облучением.

— Да.

— А разве удаление семенника или яичника не было, в сущности, вторым этапом такого эксперимента?

— Не понимаю.

— Я попробую объяснить. Давайте проследим все шаг за шагом. Все эти люди были евреями?

— По-моему, да. Были и цыгане, но большей частью евреи.

— Молодые евреи?

— Молодые.

— Когда именно их переводили в пятый барак на операцию?

— Ну, их держали в третьем бараке как материал для экспериментов. В пятом бараке их облучали и отправляли на месяц обратно в третий, а потом снова возвращали в пятый на операцию.

— Вы не пропускаете ни одного этапа?

— Больше ничего не припомню.

— Я хочу сказать, что перед облучением их приводили в пятый барак и засовывали в задний проход деревянную палку, чтобы вызвать извержение семени, проанализировать его и выяснить, не импотенты ли они.

— Я про это ничего не знал.

— Их брили перед операцией?

— Да, их готовили, как обычно.

— Они выражали протест?

— Конечно, им это не нравилось. Я говорил с ними и убеждал их, что это необходимо для спасения их жизни.

— Насколько я помню, в ваших показаниях говорилось, что вы удаляли только отмершие семенники и яичники?

- Да.
- Откуда вы знали, что они отмерли?
- Об этом было легко судить по огромным радиационным ожогам.
- И в ваших показаниях говорилось, что вы опасались развития рака в результате облучения.
- Да.
- Поэтому вы оперировали их, будучи твердо убеждены, что делаете это ради их блага.
- Да.
- Вы никогда не говорили кому-нибудь из них: «Если я не отрежу их тебе, немцы оторвут их мне»?
- Я категорически отрицаю эту ложь.
- Вы никогда так не говорили?
- Нет, никогда.
- В ваших показаниях говорится, что иногда вы ассистировали доктору Лотаки.
- Да, раз десять.
- Вы никогда не слышали, чтобы он это говорил?
- Нет.
- Вы сказали, что предпочитаете спинномозговое обезболивание.
- В данных условиях и для данного типа операций.
- И в ваших показаниях говорится, что предварительно вы делали укол морфия.
- Да.
- Но ведь инъекция в спинной мозг довольно болезненна даже после укола морфия?
- Нет, если ее делает опытный хирург.
- А зачем тогда нужен предварительный укол морфия?
- Чтобы вызвать чувство покоя и полубессознательное состояние.
- И все это вы делали в операционной?
- Да.
- Несмотря на то что операционное поле было отгорожено от глаз пациента простыней, он, вероятно, мог что-то видеть в рефлекторе лампы, которая находилась над ним?
- В рефлекторе отражение сильно искажается.
- Значит, вы не видели необходимости давать пациентам общий наркоз?

— Мне приходилось каждый день делать столько самых разных операций, что я был вынужден использовать самый быстрый и безопасный метод.

— В каком состоянии находились эти пациенты во время операции?

— Они были сонные и в полусознании.

— Я хочу высказать предположение, доктор Кельно, что они бодрствовали и были в полном сознании, потому что никакого укола морфия не получали.

— Но я же сказал, что делал им укол морфия.

— Верно. Теперь скажите, присутствовал ли на этих операциях Фосс?

— Да.

— И он рассказывал вам, чем занимается? Вы знали, что он экспериментирует с методами стерилизации здоровых, полноценных людей?

— Я это знал.

— И конечно, он проводил эти эксперименты потому, что в то время никто не знал в точности, можно ли с помощью рентгеновских лучей провести стерилизацию?

Кельно вцепился в перила трибуны и молчал: ловушка, расставленная Баннистером, была очевидной. Он бросил быстрый взгляд на своих адвокатов, но те сидели неподвижно.

— Ну так как же? — все так же тихо произнес Баннистер.

— Как врач и хирург я кое-что знал о вредном действии рентгеновского облучения.

— Я высказываю предположение, что на самом деле никто ничего об этом не знал. Я высказываю предположение, что никаких исследований в этом направлении ранее не проводилось.

— Возможно, Фосс консультировался с каким-нибудь радиологом.

— Я полагаю, что нет. Я полагаю, что и сейчас ни один радиолог не может сказать, какая доза облучения может стерилизовать полноценного человека, потому что никаких исследований в этой области не проводилось.

— Любой медик знает, что облучение вредно.

— А если это было известно, то зачем Фосс проводил свои эксперименты?

— Спросите об этом Фосса.

— Его нет в живых, но вы, доктор Кельно, с ним тесно общались, когда он это делал. Я полагаю, что Фосс хотел выяснить, какая доза облучения необходима для стерилизации здорового человека, потому что он этого не знал и никто этого не знал. И я полагаю, что он говорил вам, зачем это делается, и что вы тоже не знали, какая нужна доза. Теперь движемся дальше. Доктор Кельно, что делали потом с удаленными семенниками?

— Не знаю.

— Их не забирали в лабораторию, чтобы выяснить, сохранилась потенция или нет?

— Возможно.

— Вот поэтому я и полагаю, что удаление облученных семенников было вторым этапом эксперимента.

— Нет.

— Но когда этих людей подвергали облучению, на этом эксперимент еще не заканчивался, верно?

— Я оперировал ради спасения их жизни.

— Из опасения рака? А кто проводил облучение?

— Немец-санитар по фамилии Креммер.

— Он был достаточно квалифицирован?

— Нет, недостаточно, поэтому я и опасался рака.

— Понятно, недостаточно квалифицирован. Его потом повесили за то, что он делал, ведь так?

— Я протестую! — воскликнул сэр Роберт, вскочив с места.

— Протест принят.

— Так что стало с Креммером? — настаивал на своем Баннистер.

— Я протестую, милорд! Мой высокоученый друг явно пытается инкриминировать сэру Адаму сознательное соучастие. Но он не был нацистом и не взялся за эту работу добровольно.

— Суть моего вопроса, милорд, имеет прямое отношение к делу. Я полагаю, что эти операции были неотъемлемой частью экспериментов и сами были экспериментальными. Другие участники экспериментов были за это повешены, а что касается доктора Кельно, то я полагаю, что он мог не делать этих операций и делал их только для того, чтобы заслужить освобождение из лагеря.

Гилрей задумался.

— Ну, теперь мы уже все равно знаем, что шарфюрер СС Креммер был повешен. Я прошу присяжных отнестись к этой информации с крайней осторожностью. Вы можете продолжать, мистер Баннистер.

Сэр Роберт медленно, нехотя уселся на место.

— Далее. Вы видели у себя в операционной этих людей — человек двадцать или больше — и наблюдали результаты облучения.

— Да.

— И вы сказали, что шарфюрер Креммер был недостаточно квалифицирован и вы опасались вредных последствий рентгеновского облучения. Вы это говорили?

— Да.

— А теперь, доктор Кельно, давайте предположим, что не шарфюрер Креммер проводил облучение, а самый квалифицированный радиолог. Представляло бы тогда облучение опасность для второго семенника или яичника?

— Я не понимаю.

— Хорошо, давайте разберемся. Мужские семенники расположены рядом, они разделены расстоянием в доли сантиметра, верно?

— Да.

— А расстояние между яичниками у женщины составляет от двенадцати до восемнадцати сантиметров?

— Да.

— Если один семенник подвергается облучению крайне высокой дозой рентгеновских лучей, выполняемому полуквалифицированным техническим работником, то, вероятно, второй семенник тоже окажется поврежденным. Вы говорили, что видели тяжелые ожоги, которые вызывали у вас опасения.

— Да.

— Так вот, если вы опасались рака, то почему вы не удаляли оба семенника? Разве это не было бы в интересах пациента?

— Не знаю. Это Фосс говорил мне, что надо делать.

— Я полагаю, доктор Кельно, что мысль о якобы существовавшей опасности рака пришла вам в голову только тогда, когда вы находились в Брикстонской тюрьме, ожидая выдачи Польше.

— Это неправда.

— Я полагаю, что вы нимало не заботились о благе пациентов, иначе вы бы не оставляли пораженного раком семенника или яичника. Я полагаю, что все это вы выдумали впоследствии.

— Нет.

— Тогда почему вы не удаляли всего, что было повреждено облучением?

— Потому что Фосс стоял у меня за спиной.

— Фосс не говорил неоднократно вам и доктору Лотаки, что, если вы будете делать для него эти операции, он заберет вас из лагеря?

— Конечно, нет.

— Я полагаю, что оперировать человека с тяжелым радиационным ожогом опасно и не следует. Что вы на это скажете?

— В Лондоне — может быть, но не в концлагере.

— И даже без морфия?

— Я же сказал, что делал укол морфия.

— Когда вы впервые познакомились с доктором Марком Тессларом? — спросил Баннистер, резко меняя тему.

При упоминании этой фамилии Кельно покраснел, по спине у него забегали мурашки, а ладони стали влажными. Внизу в очередной раз сменились стенографы. На стене тикали часы.

— Мне кажется, сейчас самое подходящее время объявить перерыв, — сказал судья.

Адам Кельно покинул свидетельскую трибуну с первым пятном на своей репутации. Теперь ему было ясно, что с Томасом Баннистером шутки плохи.

7

Все понемногу входило в привычную колею. Сэр Адам Кельно успевал съездить на другой берег Темзы и пообедать дома, а его адвокат спешил в частный клуб, где его ждал накрытый столик. Эйб и Шоукросс направлялись в маленький отдельный кабинет на втором этаже таверны «Три бочки» в переулке возле Чансери-Лейн. Меню здесь было типичным для лондонского паба: холодное мясо в разных видах, салат и яйца по-шотландски — смесь яиц, мясного фарша и хлебных крошек. После того как они на-

учили бармена готовить сухой холодный мартини, здесь стало совсем не так уж плохо. В общем зале внизу толпились у стойки молодые адвокаты, судебные секретари, студенты и бизнесмены. Все они знали, что наверху обедает Абрахам Кейди, но как истинные британцы старались его не беспокоить.

И так все шло изо дня в день. Судебное заседание открывалось в десять тридцать утра и шло до часа, когда судья объявлял перерыв на обед, а потом продолжалось с двух до четырех тридцати.

После первой схватки с Баннистером Адам Кельно понимал, что, несмотря на все намеки и инсинуации, тот заработал не так уж много очков. Его сторонники тоже полагали, что большого ущерба он не понес.

— Итак, доктор Кельно, — начал Баннистер после перерыва немного выразительнее, чем вначале, когда его голос звучал просто монотонно, хотя в его словах и можно было уловить определенный ритм и тонкие нюансы, — перед перерывом вы говорили, что познакомились с доктором Тессларом еще в студенческие годы.

— Да.

— Каково было население Польши перед войной?

— Больше тридцати миллионов.

— И сколько из них было евреев?

— Примерно три с половиной миллиона.

— Некоторые из них были потомственными жителями Польши, их предки жили здесь столетиями?

— Да.

— Существовал ли в Варшавском университете студенческий союз для студентов-медиков?

— Да.

— И из-за антисемитских взглядов польского офицерства, аристократии, интеллигенции и высших классов евреи в этот союз на допускались?

— У евреев был свой союз.

— Вероятно, потому, что их не допускали в этот?

— Возможно.

— Действительно ли студентов-евреев сажали отдельно в задних рядах аудиторий и иными способами изолировали от остальных студентов и от поляков вообще? И действительно ли студенческий союз устраивал «дни без евреев», орга-

низывывал погромы еврейских магазинов и иными способами занимался их преследованием?

— Не я создавал эти условия.

— Но Польша их создала. Поляки были антисемитами по своей природе, по своей сущности и по своему поведению, не так ли?

— В Польше существовал антисемитизм.

— И вы в студенческие годы принимали активное участие в таких действиях?

— Я должен был вступить в союз. Я не несу ответственности за его действия.

— Полагаю, вы проявляли крайнюю активность. Далее, после оккупации Польши Германией вы, конечно, узнали про гетто, созданные в Варшаве и по всей Польше?

— Я уже был заключенным в концлагере «Ядвиг», но я про это слышал.

Хайсмит с облегчением вздохнул и передал Ричарду Смиди записку: «Эта линия допроса ничего ему не даст. Он, кажется, расстрелял все свои патроны».

— Концлагерь «Ядвиг», — продолжал Баннистер, — вполне можно охарактеризовать как неопикуемый ад.

— Хуже всякого ада.

— И по всей Польше подвергались истязаниям и погибали миллионы людей. Вы знали это, потому что многое видели своими глазами, а кроме того, получали информацию через подполье.

— Да, мы знали, что происходит.

— Сколько лагерей принудительного труда находилось поблизости от «Ядвиги»?

— Примерно пятьдесят, там было до полумиллиона рабов, которые работали на военных, химических и других заводах.

— В качестве рабочей силы использовались преимущественно евреи?

— Да.

— Из всех оккупированных стран Европы?

— Да.

«Господи, куда это он клонит? — подумал Кельно. — Хочет вызвать ко мне сочувствие?»

— Вы знали, что новоприбывшие проходят селекцию и всех, кто старше сорока лет, а также всех детей отправляют прямо в газовые камеры лагеря «Ядвиг»?

- Да.
- Это были тысячи? Миллионы?
- Я слышал много разных цифр. Говорили, что в газовых камерах «Ядвиги» погибли два миллиона человек.
- А другим делали татуировку и нашивали им на одежду разные значки, чтобы разделить их на категории?
- Мы все были заключенные. Я не понимаю, о каких категориях вы говорите.
- Хорошо, что это были за значки?
- Были значки для евреев, цыган, немцев-уголовников, коммунистов, участников Сопротивления. Было сколько-то русских военнопленных. Я уже упоминал о своем значке, который указывал на национальность.
- Вы помните еще одну разновидность значков, которые носили капо?
- Да.
- Расскажите, пожалуйста, милорду судье и господам присяжным, кто такие капо.
- Это заключенные, которые надзирали за другими заключенными.
- Они были очень жестоки?
- Да.
- И за сотрудничество с эсэсовцами они получали большие привилегии?
- Да... но были даже еврей-капо.
- Вероятно, в сравнении с численностью евреев среди заключенных их среди капо было крайне мало?
- Да.
- Большинство капо были поляки, верно?
- Адам запнулся, борясь с искушением ответить отрицательно. Баннистер подвел к этому издали, но теперь все стало ясно.
- Да.
- В главном лагере «Ядвиги» было сначала около двадцати тысяч заключенных, которые построили сам лагерь и обслуживали газовые камеры и крематорий. Позже число заключенных выросло до сорока тысяч.
- Я готов принять ваши цифры.
- А прибывающие евреи привозили с собой немногие оставшиеся у них ценности — золотые кольца, бриллианты и так далее, которые прятали в своем скудном багаже.
- Да.

— И перед тем, как этих несчастных голыми отправляли в газовые камеры, их систематически грабили. Вы это знали?

— Да, это было ужасно.

— И вы знали, что их волосы шли на матрацы для Германии и на прицелы для подводных лодок, а у трупов вырывали золотые зубы и, прежде чем трупы сжечь, им распарывали животы, чтобы посмотреть, нет ли там чего-нибудь ценного. Вы это знали?

— Да.

Эйбу стало не по себе, он закрыл лицо руками и подумал: «Скорее бы кончился этот допрос». Терренс сидел белый, как мел, публика в зале, потрясенная, замерла, хотя подобные истории все слышали и раньше.

— Вначале в лагерях были германские врачи, но позже заключенные взяли лечение на себя. Сколько медицинского персонала было у вас?

— В общей сложности пятьсот человек. Из них шестьдесят — семьдесят врачей.

— Сколько среди них было евреев?

— Десяток, может быть, дюжина.

— Но они занимали низшие должности: санитаров, уборщиков и так далее?

— Если они были квалифицированными врачами, я использовал их в качестве врачей.

— Но немцы их так не использовали, верно?

— Да.

— И их число было совершенно непропорционально численности евреев среди заключенных?

— Я использовал квалифицированных врачей в качестве врачей.

— Вы не ответили на мой вопрос, доктор Кельно.

— Да, врачей-евреев было непропорционально мало.

— И вам известно еще кое-что из того, чем занимались Фосс и Фленсберг. Эксперименты с целью вызвать рак шейки матки, стерилизация путем введения едких жидкостей в фаллопиевы трубы, эксперименты по определению момента, когда у жертвы происходит психический срыв.

— Я точно не знаю, я приходил в пятый барак только для того, чтобы оперировать, а в третьем только посещал своих пациентов.

— Хорошо. Вы обсуждали эту тему с врачом-француженкой — доктором Сюзанной Пармантье?

— Не припомню такой.

— Француженка, протестантка, врач из заключенных. Психиатр.

— Милорд, — прервал его сэр Роберт Хайсмит. В голосе его звучал сарказм. — Мы все прекрасно представляем себе, что творилось в лагере «Ядвига». Мой высокоученый друг явно пытается возложить на сэра Адама вину за газовые камеры и другие зверства нацистов. Я не вижу, какое отношение это имеет к делу.

— Да, к чему вы клоните, мистер Баннистер? — спросил судья.

— Я полагаю, что даже в ужасных условиях концлагеря «Ядвига» существовали разные ранги заключенных и что одни из них считали себя привилегированными по сравнению с другими. Там существовала определенная кастовая система, и привилегии предоставлялись тем, кто работал на немцев.

— Понимаю, — сказал судья.

Хайсмит сел на место недовольный.

— Далее, — продолжал Баннистер. — У меня в руках копия документа, подготовленного вашим адвокатом, сэр Адам, — это ваша исковая жалоба. У меня есть еще несколько точных копий, которые я хотел бы передать милорду судье и господам присяжным.

Хайсмит просмотрел документ, кивнул, и помощник Баннистера раздал копии судье, присяжным и сэру Адаму.

— Вы утверждаете там, что были сотрудником штандартенфюрера СС доктора Адольфа Фосса и штандартенфюрера СС доктора Отто Фленсберга.

— Под словом «сотрудник» я имел в виду...

— Да, что именно вы имели в виду?

— Вы искажаете смысл совершенно обычного слова. Они были врачами, и я...

— И вы считали себя их сотрудником. Вы, конечно, очень внимательно читали эту исковую жалобу. Ваши адвокаты обсуждали ее с вами строчку за строчкой.

— Это просто оговорка, ошибка.

— Но вы знали, чем они занимаются, вы подтвердили это в своих показаниях, и вы знали, что после войны они

были осуждены, и все же вы пишете в своей исковой жалобе, что были их сотрудником.

Баннистер взял в руки еще один документ. Адам с надеждой взглянул на часы — не идет ли дело к перерыву: ему нужно было собраться с мыслями.

Помолчав немного, Баннистер заговорил:

— Вот у меня отрывок из обвинительного заключения по делу Фосса. Согласится ли мой высокоученый коллега считать его точной копией?

Хайсмит взглянул на документ и пожал плечами.

— Мы уклонились далеко в сторону, — сказал он. — Это еще одна попытка доказать связь, якобы существовавшую между заключенным и нацистским военным преступником.

— Позвольте, позвольте, — возразил Баннистер и обернулся к О'Коннеру, который поспешно рылся в бумагах, лежащих перед ним на столе. Он вытащил одну и передал Баннистеру. — Вот ваше письменное показание, данное под присягой, доктор Кельно. Абзацы первый и второй в нем — список документов, имеющих отношение к данному делу. У вас в руках экземпляр — это ваша подпись под ним стоит, доктор Кельно?

— Я вас не понимаю.

— Тогда давайте разберемся. Когда вы возбудили этот иск, вы сами представили в его поддержку некоторые документы. Среди них и обвинительное заключение по делу Фосса. Это была ваша инициатива.

— Поскольку мои адвокаты сочли это необходимым...

— Когда вы представили этот документ в поддержку вашего иска, вы не сомневались в его подлинности, не так ли?

— Наверное, нет.

— В таком случае я зачитаю присяжным часть обвинительного заключения по делу Фосса.

Судья взглянул на Хайсмита, который просматривал обвинительное заключение.

— Возражений нет, — произнес тот сквозь зубы.

— «Штаб-квартира фюрера, август 1942 года, секретно, единственный экземпляр. 7 июля 1942 года в концлагере «Ядвиг» состоялось совещание по вопросу стерилизации еврейской расы, в котором участвовали доктор Адольф Фосс, доктор Отто Фленсберг и рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер. Было решено провести на здоровых, обладающих

полной потенцией евреям и еврейкам ряд экспериментов». А вот, доктор Кельно, второй документ в вашем списке — письмо Фосса Гиммлеру, где он пишет, что для получения убедительных результатов должен провести эксперименты с облучением по меньшей мере на тысяче человек. Доктор Кельно, вы сказали, что вместе с доктором Лотаки около двадцати раз делали подобные операции или ассистировали при них. А какая судьба постигла остальных упомянутых в письме Фосса — по меньшей мере девятьсот восемьдесят человек?

— Я не знаю.

— С какой целью эти документы были представлены в качестве доказательств?

— Только чтобы показать, что я был жертвой. Все это делали немцы, а не я.

— Я полагаю, что в действительности было сделано еще много сотен таких операций, о которых вы не упоминаете.

— Может быть, их делал тот еврей Дымшиц, за что и был отправлен в газовую камеру. А может быть, Тесслар.

— Когда вы возбуждали иск, вы знали, что нам придется выбирать, кому поверить на слово — вам или доктору Тесслару, потому что операционный журнал утрачен.

— Я должен решительно возразить, — заявил сэр Роберт. — Нельзя ссылаться на журнал, которого не существует. Мистер Баннистер задал сэру Адаму вопрос, сколько операций сделал он, и сэр Адам на него ответил.

— Мистер Баннистер, — сказал судья, — я хотел бы обратить ваше внимание на то, что иногда в ваших вопросах звучит ваш собственный комментарий и ваши оценки.

— Прошу извинить, милорд. Далее, для немцев было важно и то, насколько быстро можно осуществить программу массовой стерилизации. Не может ли быть так, что эти операции были проведены в присутствии доктора Фосса, чтобы продемонстрировать, с какой скоростью их можно делать?

— Я оперировал не настолько быстро, чтобы причинить вред пациенту.

— А не гордились ли вы тем, что можете так быстро удалять семенники евреям, и не хотели ли продемонстрировать это Фоссу?

— Милорд, я, конечно же, возражаю, — снова вмешался сэр Роберт. — Мой клиент уже раньше сказал, что операции проводились без лишней спешки.

— Я вынужден еще раз сделать вам замечание, мистер Баннистер, — сказал Гилрей. Он повернулся к присяжным, и впервые за все время процесса его голос стал властным. — Это попытка дискредитировать доктора Кельно с помощью намеков. Когда придет время, я подробно разъясню вам, что относится к делу, а что нет.

Баннистер, однако, и бровью не шевельнул.

— Вы помните доктора Шандора?

— Был такой еврей-коммунист.

— Нет, на самом деле доктор Шандор — католик и в коммунистической партии не состоял. Он был одним из врачей, которые у вас работали. Вы помните его?

— Смутно.

— И не припоминаете ли вы разговора с ним, когда вы сказали: «Сегодня я сделал яичницу из двадцати пар еврейских яиц»?

— Я никогда этого не говорил. Шандор был членом коммунистического подполья и мог наговорить на меня все, что угодно.

— Я думаю, сейчас как раз удобный момент, чтобы объяснить милорду судье и господам присяжным, какие это два подполья существовали в лагере «Ядвига». То подполье, членом которого были вы, вы назвали националистическим, не так ли?

— Да.

— Кто в него входил?

— Люди из всех оккупированных стран Европы, которые были против немцев.

— Я утверждаю, что это неправда. Я утверждаю, что девяносто пять процентов вашего подполья состояло из поляков и что руководящие посты в нем занимали исключительно бывшие польские офицеры. Так это было или не так?

— Не помню.

— Вы не припомните какого-нибудь чеха, или голландца, или югослава, который занимал бы сколько-нибудь важный пост в вашем националистическом подполье?

— Нет.

— Но вы безусловно можете припомнить польских офицеров.

— Некоторых.

— Да, некоторые из них находятся сейчас в этом зале в качестве зрителей и будущих свидетелей. Я утверждаю, доктор Кельно, что это националистическое подполье состояло из тех же самых польских офицеров, которые до войны занимались активной антисемитской деятельностью и потом оказались в концлагере «Ядвиг».

Кельно не отвечал.

— Вы сказали, что было еще и коммунистическое подполье. Это не то же самое, что интернациональное подполье?

— Да, оно состояло из коммунистов и евреев.

— А также некоммунистов и неевреев, которых было в пятьдесят раз больше, чем польских офицеров, и которые представляли в руководстве этого подполья все оккупированные страны в равной пропорции. Так это было?

— Там задавали тон евреи и коммунисты.

— Теперь скажите, может ли скорость проведения операции быть одной из причин послеоперационных кровотечений? — спросил Баннистер, в очередной раз круто меняя тему.

Кельно выпил глоток воды и вытер лоб.

— Если хирург достаточно квалифицирован, быстрое проведение операции часто уменьшает опасность шока.

— Давайте вернемся к середине сорок третьего года, когда в лагерь «Ядвиг» прибыл доктор Марк Тесслар. Вы были уже не чернорабочим, подвергавшимся избиениям, а врачом, наделенным немалой властью.

— Под контролем немцев.

— Однако решения вы принимали самостоятельно. Например, решения о том, кого следует положить в больницу.

— Я постоянно испытывал моральное давление.

— Но к тому времени, когда появился доктор Тесслар, у вас установились хорошие отношения с немцами. Вы пользовались их доверием.

— В какой-то степени да.

— А какие взаимоотношения были у вас с доктором Тессларом?

— Я узнал, что Тесслар — коммунист. Фосс привез его из другого концлагеря. Выводы каждый может сделать сам. При встречах с ним я вел себя вежливо, но старался держаться от него подальше.

— Я утверждаю, что вы многократно разговаривали с Тессларом, потому что на самом деле ничуть его не опасались, а он предпринимал отчаянные попытки добыть пищу и лекарства для послеоперационных больных, которых лечил. Я утверждаю, что вы в этих разговорах упоминали о двадцати тысячах операций, сделанных вами с необычайной скоростью.

— Вы можете утверждать что угодно, пока вам не надоест, — огрызнулся Адам.

— Я и намерен это делать. Так вот, доктор Тесслар рассказал, что однажды в ноябре сорок третьего года вы сделали за день четырнадцать операций. Восемь мужчин, из них семеро голландцев, были либо полностью кастрированы, либо у них было удалено по одному семеннику. У шести женщин вы тогда же удалили яичники. В пятом бараке началась такая паника, что эсэсовцы послали медрегистратора Эгона Сobotника за доктором Тессларом, чтобы он успокаивал заключенных, пока вы не закончите операций.

— Это наглая ложь. Доктор Тесслар никогда не появлялся в пятом бараке, когда я оперировал.

— И еще доктор Тесслар заявил, что вы не делали ни спинномозгового обезболивания, ни предварительного укола морфия.

— Это ложь.

— Так. Теперь поговорим о тех операциях по удалению яичников, о которых упоминает доктор Тесслар. Забудем на минуту, что он сказал, и будем говорить о нормальном ходе таких операций. Сначала вы делаете разрез брюшной стенки, верно?

— Да, после того, как пациентку вымыли и я сделал ей укол морфия и обезболивание.

— Даже тем, у кого были тяжелые радиационные ожоги?

— У меня не было выбора.

— Далее вы берете зажим, приподнимаете матку, ставите другой зажим между яичником и фаллопиевой трубой, а потом отрезаете яичник и бросаете его в тазик.

— Более или менее так.

— Я полагаю, доктор Кельно, что при этом вы не зашивали должным образом яичники, матку и вены.

— Это неправда.

— Остающуюся культю называют также ножкой, верно?

— Да.

— Разве не полагается закрывать эту ножку лоскутом перитонеума?

— Вы хороший юрист, мистер Баннистер, но мало что понимаете в хирургии.

По залу прокатился смешок, на который Баннистер не обратил ни малейшего внимания.

— Тогда объясните мне, пожалуйста.

— Там поблизости нет никакого перитонеума, которым можно было бы закрыть культю. Единственный способ — сшить ее перекрестным швом с тазовой связкой. Таким способом можно предотвратить воспаление, образование спаек и излишнее кровотечение.

— И вы всегда это делали?

— Естественно.

— Доктор Тесслар напоминает, что во время шести операций по удалению яичников, на которых он присутствовал, вы этого не делали.

— Это чушь. Тесслар никогда на операциях не присутствовал. А даже если бы он и был в операционной, то не мог видеть, как я работаю, разве что у него рентгеновское зрение. При том, что рядом со мной стоят помощники, тут же находятся Фосс и другие немцы, а изголовье пациентки, где, как утверждает Тесслар, сидел он, отгорожено простыней, он ничего не мог видеть.

— А если бы он сидел сбоку, а простыни не было?

— Все это только гипотезы.

— Значит, вы утверждаете, что доктор Тесслар не предупреждал вас об опасности кровотечения или развития перитонита?

— Нет.

— И доктор Тесслар не упрекал вас, что вы не моете рук перед следующей операцией?

— Нет.

— И что вы продолжаете работать теми же инструментами без стерилизации?

— Я квалифицированный хирург и горжусь этим, мистер Баннистер. Я отвергаю ваши намеки.

— Вы вели какие-нибудь записи, из которых было бы видно, какой семенник и какой яичник — левый или правый — следует удалить?

— Нет.

— Но разве не бывает таких случаев, когда хирург ампутирует, например, не тот палец, не посмотрев в свои записи?

— Это был концлагерь «Ядвига», а не лондонская больница.

— А как вы узнавали, что надо удалить?

— В операционной был санитар Креммер, который проводил облучение. Он говорил мне, левый или правый.

— Креммер? Шарфюрер Креммер? Тот самый полуквалифицированный радиолог — это он вам говорил?

— Он же их облучал.

— А если доктор Тесслар при этом не присутствовал, значит, он не мог вас упрашивать не делать операции при таких тяжелых радиационных ожогах или хотя бы давать общий наркоз?

— Я еще раз повторяю — я делал укол морфия и спинномозговое обезболивание, и делал это сам. Я оперировал быстро, чтобы избежать пневмонии, остановки сердца и Бог знает чего еще. Сколько раз мне еще это повторять?

— До тех пор, пока все не станет совершенно ясно.

Баннистер сделал паузу и посмотрел на Кельно, прикидывая, насколько тот утомлен: существует предел, за которым у свидетеля происходит нервный срыв, а это может склонить судью и присяжных к сочувствию. Да и часы на стене показывали, что пора переходить к решающему моменту допроса.

— Значит, все сказанное Марком Тессларом — выдумки?

— Все это ложь.

— Что мужчины и женщины отчаянно кричали от страшной боли?

— Ложь.

— Что вы грубо обращались с больными, лежащими на операционном столе?

— Меня не в чем упрекнуть как хирурга.

— А как по-вашему, почему доктор Тесслар возвел на вас столько лжи?

— Из-за наших прежних стычек.

— Вы сказали, что однажды, когда вы занимались врачебной практикой в Варшаве, вы направили кого-то из членов вашей семьи к Тесслару на аборт без ведома самого Тесслара. Теперь я прошу вас сказать, кому из членов вашей семьи он сделал аборт.

Кельно беспомощно огляделся. «Держи себя в руках, — сказал он себе. — Главное — держи себя в руках».

— Я отказываюсь отвечать.

— Я утверждаю, что никаких абортон доктор Тесслар не делал. Я утверждаю, что он был вынужден покинуть Польшу, чтобы закончить свое медицинское образование, из-за антисемитской деятельности вашего студенческого союза. Я утверждаю, что в концлагере «Ядвиг» доктор Тесслар никогда не делал абортов и не участвовал в экспериментах эсэсовцев.

— Тесслар оболгал меня, чтобы спасти свою шкуру! — выкрикнул Кельно. — Когда я вернулся в Варшаву, он работал у коммунистов в тайной полиции и имел приказ преследовать меня, потому что я польский националист, скорбящий о потере любимой родины. Эти выдумки были признаны ложью восемнадцать лет назад, когда британское правительство отказалось меня выдать.

— Я утверждаю, — сказал Баннистер подчеркнуто спокойно, — что, вернувшись в Польшу и узнав, что Тесслар и еще несколько врачей остались в живых, вы бежали из страны и впоследствии выдумали все эти обвинения против него.

— Нет.

— И вы никогда не били пациентку, лежащую на операционном столе, и не называли ее жидовкой?

— Нет. Все это Тесслар выдумал.

— На самом деле, — произнес Баннистер, — к показаниям Тесслара это не имеет никакого отношения. Это говорит женщина, которую вы били, — она жива и сейчас находится на пути в Лондон.

8

Субботний вечер Эйб и леди Сара провели под Парижем, в гостях у французского издателя, а в воскресенье обедали у Питера Ван-Дамма с мадам Эрикой Ван-Дамм и двумя их детьми, студентами Сорбонны.

После обеда дочь, тихая и молчаливая, ушла к себе, а сын отправился на какое-то свидание, предварительно пообещав приехать в Лондон, чтобы познакомиться с Бенем и Ванессой.

— Процесс идет пока не слишком хорошо, — сказал Питер.

— Похоже, что на присяжных все это не производит особого впечатления. Нам сообщили из Польши, что доктор Лотаки не хочет давать показания в нашу пользу и никаких следов Эгона Сobotника до сих пор не нашли.

— Времени у нас мало, — сказал Питер. Он кивнул жене, и та тут же предложила леди Саре осмотреть квартиру.

Мужчины остались наедине.

— Абрахам, я все рассказал детям.

— Я догадался. Наверное, это было очень трудно.

— Как ни странно, но так трудно, как я думал. Даже когда отдаешь детям всю свою любовь и мудрость, все равно боишься, что в решающий момент они об этом забудут. Так вот, они не забыли. Они много плакали — особенно из жалости к матери. Антон сказал, что ему стыдно — если бы он знал раньше, он бы мог лучше помогать мне в трудные минуты. А Эрика объяснила им, что наши отношения — нечто гораздо большее, чем просто физическая любовь.

Эйб некоторое время размышлял, потом сказал:

— Я знаю, что у вас на уме. Даже не думайте о том, чтобы дать показания.

— Я читал ваши книги, Кейди. Что касается нас, то мы способны достигать таких высот духа, какие обычным супружеским парам недоступны. А теперь наши чувства разделяют и дети.

— Я не могу этого допустить. О чем, в конце концов, идет речь на процессе? В числе прочего — и о том, что никогда нельзя терять человеческое достоинство.

Когда Эйб и леди Сара вернулись в гостиницу, в вестибюле их ждал Антон Ван-Дамм. Леди Сара вошла в лифт, а Эйб и Антон прошли в бар.

— Я знаю, зачем вы здесь, — сказал Эйб.

— Это день и ночь не выходит у отца из головы. Если процесс будет проигран и вам придется откупаться от Кельно, отец будет страдать больше, чем на свидетельской трибуне.

— Антон, когда я ввязался в это дело, я думал о мести. Так вот, теперь я отношусь к этому иначе. Адам Кельно как отдельно взятый человек не имеет никакого значения. Важно то, что некоторые люди делают с другими людьми. Поэтому

мы, евреи, должны твердить об этом снова и снова. Мы должны бороться с теми, кто лишает нас права на жизнь, — бороться до тех пор, пока нам не позволят жить в мире.

— Вы надеетесь победить на небесах, мистер Кейди. Я хотел бы победы на земле.

Эйб улыбнулся и взъерошил юноше волосы.

— У меня сын и дочь примерно вашего возраста. Мне еще ни разу не удавалось их переспорить.

— Внимание, внимание! — послышалось из громкоговорителей в аэропорту Хитроу. — Совершил посадку рейс компании «Эль-Аль» из Тель-Авива.

Когда открылась дверь таможенного контроля, Шейла Лэм, опередив Джейкоба Александера, первой подошла к стоявшей в растерянности кучке пассажиров. Доктор Лейберман представился ей и представил двух женщин и четверых мужчин — свидетелей из Израиля.

— Как хорошо, что вы прилетели, — сказала Шейла, обнимая всех по очереди. Джейкоб Александер был поражен: девушка, которая работала у него уже пять лет и которую он привык воспринимать, как некую-то абстрактную фигуру, вдруг взяла на себя все заботы о прибывших и всячески старалась, чтобы они почувствовали себя увереннее. До сих пор они были всего лишь порядковыми номерами в списке, но теперь перед ними стояли живые люди — изувеченные жертвы концлагеря «Ядвига». Шейла вручила каждому по букетику цветов и повела к ожидавшим их автомобилям.

— Абрахам Кейди не смог приехать вас встречать и просил передать свои извинения, — сказал Александер. — Его все знают в лицо, и, если бы он был здесь, это привлекло бы к вам внимание. Тем не менее он очень хотел бы с вами познакомиться и приглашает вас сегодня с ним пообедать.

Через несколько минут все прибывшие, уже несколько успокоившись, расселись по машинам.

— Если они не слишком устали, — сказала Шейла доктору Лейберману, — то я думаю, что сейчас было бы неплохо немного покатать их по Лондону — показать город.

После того как Кельно закончил свои показания, выступил в качестве свидетеля известный анестезиолог доктор Гарольд Боланд, который подтвердил, что спинномозговое обезболивание — простой и проверенный метод. Опытный

врач, он сотни раз делал такое обезболивание как с предварительным уколом морфия, так и без него.

Брендон О'Коннер задал ему всего лишь несколько вопросов:

— Значит, спинномозговая блокада при правильном применении представляет собой сравнительно простую процедуру?

— Да, в руках такого опытного врача, как сэр Адам.

— Но при том условии, — уточнил О'Коннер, — что на это полностью согласен пациент. А представьте себе, доктор Боланд, что пациент против его воли ограничен в движениях, что он кричит, бьется, кусается, пытаясь высвободиться. Не может ли при таких обстоятельствах спинномозговая блокада оказаться весьма болезненной?

— Мне никогда не приходилось делать операцию при таких обстоятельствах.

— Если, например, игла соскользнет в результате резких движений пациента?

— Тогда это может быть болезненно.

Начался парад свидетелей. Первый из них, старейшина польской общины в Лондоне граф Черны рассказал историю успешной борьбы сэра Адама против выдачи его Польше. За ним последовали бывший полковник Гайнов, который вел первоначальное расследование по делу Кельно в Италии, потом доктор Август Новак, работавший главным хирургом польского госпиталя в Танбридж-Уэллсе, потом три польских офицера, бывшие заключенные концлагеря «Ядвиг» и члены националистического подполья, и еще четверо бывших заключенных, которых доктор Кельно спас в концлагере, проявив исключительное мастерство.

И этим свидетелям О'Коннер задавал лишь по несколько вопросов.

— Вы еврей? — спрашивал он.

Ответом было неизменное «нет».

— Когда доктор Кельно удалял вам аппендикс, была ваша голова отгорожена простыней?

— Я ничего не помню. Меня усыпили.

— Это было не спинномозговое обезболивание?

— Нет, меня усыпили.

Из Бадли-Солтертона приехал Дж.Дж.Мак-Алистер. Он говорил с трудом, так как недавно перенес удар, но его рас-

сказ о годах, проведенных Кельно в Сараваке, произвел большое впечатление, тем более что как бывший колониальный чиновник он прекрасно владел юридическим жаргоном.

Затем на свидетельскую трибуну был вызван еще один бывший заключенный.

— Сэр Роберт, для какой цели вызван этот ваш следующий свидетель? — спросил судья.

— Для той же самой цели, милорд.

— Насколько я понимаю, — сказал Гилрей, — вы хотите убедить присяжных, что доктор Кельно — добрый человек. Но никто не утверждает, что он не был добр — к определенной части пациентов.

— Я не хочу показаться чрезмерно настойчивым, милорд, но у меня есть еще два свидетеля, вызванных для этой же цели.

— Видите ли, — стоял на своем судья, — никто не отрицает, что доктор Кельно был внимателен и заботлив, когда это касалось поляков. Здесь утверждают, что с евреями дело обстояло совсем иначе.

— Милорд, должен сказать, что у меня есть свидетель, только что прибывший из-за границы, и я готов пойти на то, чтобы он был последним, если милорд закончит сегодняшнее заседание пораньше.

— Ну, я думаю, против этого присяжные вряд ли будут возражать.

Кейди, Шоукросс и их адвокаты выскочили в коридор и поспешили в совещательную комнату. Через минуту пришел Джозефсон с известием, которое потрясло всех: из Варшавы прибыл Константы Лотаки и готов дать показания в пользу доктора Кельно.

— Мы постараемся сделать все возможное, — сказал Баннистер.

9

Весть о том, что в Лондон прибыл Константы Лотаки, который будет давать показания в пользу Кельно, распространилась с быстротой лесного пожара. Для Кейди это был тяжелый удар.

— Я прошу пройти на трибуну нашего последнего свидетеля — доктора Константы Лотаки.

Помощник адвоката помог ему подняться на несколько ступенек, ведущих к трибуне, а поляк-переводчик встал рядом. Присяжные с особым интересом разглядывали ново-прибывшего, а на местах для прессы пришлось поставить несколько лишних столов. Переводчика привели к присяге.

Баннистер встал с места.

— Милорд, поскольку этот свидетель будет давать показания через переводчика, а у нас есть свой польский переводчик, я хотел бы попросить переводчика, представленного моим высокоученым другом, произносить по-польски все вопросы громко и отчетливо, чтобы мы имели возможность возражать против формулировок перевода, если это окажется необходимо.

— Вы понимаете, что он сказал? — спросил судья.

Переводчик кивнул.

— Спросите, пожалуйста, доктора Лотаки, к какой религии он принадлежит и каким образом хотел бы принести присягу?

Последовали короткие переговоры.

— Он не принадлежит ни к какой религии. Он коммунист.

— Очень хорошо, — сказал Гилрей. — Мы разрешаем свидетелю выступать без присяги.

Лотаки, грузный человек с одутловатым лицом, говорил тихо, словно находился в трансе. Он сообщил свое имя и адрес в Люблине, где работал главным хирургом в государственной больнице. Он рассказал, что в 1942 году был арестован гестапо по ложному обвинению и только потом узнал, что немцы прибегали к такому способу, чтобы принуждать врачей к службе в концлагерях. Когда он прибыл в концлагерь «Ядвиг», его направили в медчасть доктора Кельно. Это была их первая встреча. Он работал вместе с Кельно, но имел свою операционную, свою аптеку и свои палаты.

— Была ли медицинская служба организована доктором Кельно надлежащим образом?

— В тамошних условиях никто не мог бы сделать большего.

— И он хорошо обращался со своими пациентами и проявлял к ним личную доброту?

— Исключительную.

— Проводил ли он дискриминацию по отношению к пациентам-евреям?

— Я этого никогда не замечал.

— Когда вы впервые встретились с эсэсовцем доктором Адольфом Фоссом?

— В первый же день.

— Вы помните, как Фосс вызвал вас к себе и сказал, что вы будете делать операции в пятом бараке?

— Я этого никогда не забуду.

— Расскажите, пожалуйста, об этом милорду судье и господам присяжным.

— Про эксперименты Фосса всем известно. Меня он вызвал летом сорок третьего года, после того как отправили в газовую камеру доктора Дымшица. До тех пор операции для него делал Дымшиц.

— Вас вызвали вместе с доктором Кельно?

— Нет, по отдельности.

— Продолжайте, пожалуйста.

— Фосс сказал мне, что мы должны удалять семенники и яичники у лиц, с которыми он экспериментирует. Я сказал, что не хочу в этом участвовать, и он сказал, что тогда оперировать их будет санитар-эсэсовец, а со мной будет то же, что с Дымшицем.

— Что вы предприняли после этого разговора с Фоссом?

— В отчаянии я обратился к доктору Кельно, который был моим начальником. Мы решили созвать совещание всех врачей, кроме доктора Тесслара, и совещание пришло к выводу, что мы должны делать эти операции в интересах пациентов.

— Так вы и поступали?

— Да.

— Много ли таких операций вы сделали?

— Я думаю, пятнадцать — двадцать.

— Делались ли эти операции с соблюдением всех правил?

— Даже тщательнее, чем обычно.

— И вы имели возможность наблюдать за тем, как оперировал доктор Кельно, а иногда он ассистировал вам. Был хоть один, повторяю, хоть один случай плохого обращения с пациентами?

— Нет, никогда.

— Никогда?

- Никогда.
- Доктор Лотаки, каково ваше профессиональное мнение — возникает ли опасность для пациента, если у него не удален орган, подвергнутый рентгеновскому облучению?
- Я не радиолог, я не имею по этому поводу никакого мнения. Я думал только о том, что иначе этих пациентов будут оперировать менее квалифицированные люди.
- Какое обезболивание вы применяли в этих случаях?
- Спинномозговую блокаду ларокаином после предварительной инъекции морфия для успокоения пациента.
- Не можете ли вы сказать нам, кто еще находился в операционной?
- Хирургический персонал, кто-то при инструментах. Доктор Кельно и я ассистировали друг другу, и всегда присутствовали Фосс и еще один-два немца.
- Вы когда-нибудь встречались с доктором Тессларом?
- Да, несколько раз.
- Каково было общее мнение о нем?
- В концлагере про всех ходили разные слухи. Я держался от этого подальше. Я врач.
- Значит, вы не были членом подполья — ни так называемого интернационального, ни националистического?
- Нет.
- И вы не питали никакого зла против доктора Тесслара, а он против вас?
- Никакого.
- Присутствовал ли когда-нибудь доктор Тесслар при операциях в пятом бараке, которые вы делали или на которых ассистировали?
- Нет, никогда.
- Делались ли когда-нибудь эти операции с чрезмерной поспешностью или небрежно?
- Нет. Они делались по обычным правилам и почти не причиняли боли пациентам.
- Далее. В сорок четвертом году вы были переведены из концлагеря «Ядвиг», это верно?
- Доктор Фленсберг забрал меня в частную клинику под Мюнхеном. Он поручил мне делать там операции.
- Вам за это платили?
- Все гонорары забирал себе Фленсберг.
- Но жилось вам лучше, чем в лагере «Ядвиг»?
- Хуже, чем в лагере, быть не может.

— Вас одевали, прилично кормили, разрешали свободно передвигаться?

— Еда и одежда были лучше, но мы находились под постоянной охраной.

— И в конце войны вы вернулись в Польшу?

— С тех пор я живу и работаю там.

— В концлагере «Ядвига» вы и доктор Кельно выполняли примерно одну и ту же работу для доктора Фосса. Вы знали, что доктора Кельно хотели судить как военного преступника?

— Да, слышал.

— Но вы не были членом националистического подполья и поэтому против вас не выдвигалось никаких обвинений?

— Я не делал ничего плохого.

— Доктор Лотаки, каковы сейчас ваши политические убеждения?

— После всего, что я видел в лагере «Ядвига», я стал убежденным антифашистом. Я считаю, что самый лучший способ противостоять фашизму — это быть в рядах коммунистической партии.

— Больше вопросов не имею.

Томас Баннистер тщательно оправил свою мантию и намеренно долго молча разглядывал Лотаки. Эйб передал О'Коннеру записку: «Что, наше дело плохо?» — «Да», — гласила ответная записка.

— Согласны ли вы с тем, доктор Лотаки, что до прихода Гитлера Германия была одной из самых цивилизованных и культурных стран во всем мире?

— Каких — стерилизованных?

По залу прокатился смешок.

— Я не потерплю никаких насмешек над свидетелем в зале суда, — заявил Гилрей. — Знаете ли, мистер Баннистер, что касается этой вашей линии допроса... Впрочем, ничего, продолжайте. Разъясните, пожалуйста, вопрос, господин переводчик.

— Я согласен, что до прихода Гитлера Германия была цивилизованной страной.

— И если бы кто-нибудь сказал вам, что совершит эта цивилизованная страна на протяжении ближайшего десятилетия, вы бы отказались этому поверить?

— Да.

— Массовые убийства, эксперименты на людях, насильственное удаление половых органов с целью стерилизации... До прихода Гитлера вы ничему этому не поверили бы?

— Нет.

— И вы бы сказали, что ни один врач, принесший клятву Гиппократу, не принял бы участия в этих экспериментах?

— Я хочу вмешаться, — сказал Гилрей. — Один из предметов данного процесса — это проведение различия между добровольными и вынужденными действиями в моральном контексте.

— Милорд, — Томас Баннистер впервые повысил голос, — когда я говорю «принял участие», я имею в виду любого хирурга, который удалял половые органы. Я хочу сказать, что доктор Лотаки знал, чем занимается Фосс и почему он получил приказ отрезать семенники и вырезать яичники.

— Я делал это по принуждению.

— Позвольте мне сделать небольшое разъяснение, — сказал Гилрей. — Мы находимся в Королевском Доме правосудия и рассматриваем дело в соответствии с британским общим правом. Не намерены ли вы, мистер Баннистер, убедить присяжных в том, что даже если операция была произведена по принуждению, утверждения ответчика все равно нельзя считать клеветой?

— Именно таково мое намерение, милорд, — отрезал Баннистер. — Ни один врач, заключенный он или нет, не имеет права делать такие операции!

Зал ахнул.

— Ах вот как? Ну, понятно.

— Итак, доктор Лотаки, — продолжал Баннистер, — вы действительно поверили, что Фосс поручит делать эти операции неумелому эсэсовцу?

— У меня не было оснований сомневаться.

— Фосс обращался к Гиммлеру за разрешением на свои эксперименты. Если бы эти семенники и яичники не были удалены с соблюдением всех правил, они не имели бы никакой ценности для эксперимента. Как же можно было поверить в эту чепуху про эсэсовца-санитара?

— Но Фосс был ненормальный, — с горячностью возразил Лотаки. — И все это было сплошное сумасшествие.

— Да ведь он просто блефовал. Он обязан был представлять доклады в Берлин, и ему нужны были квалифицированные хирурги.

— Так он отправил бы меня в газовую камеру, как Дымшица, и нашел бы другого хирурга.

— Доктор Лотаки, будьте так добры, опишите милорду судье и господам присяжным доктора Дымшица.

— Это был еврей, старше нас, лет семидесяти.

— И жизнь в концлагере состарила его еще больше?

— Да.

— Как он выглядел?

— Глубоким стариком.

— Дряхлым и беспомощным?

— Я... я... не могу сказать.

— Он был больше не в состоянии работать хирургом и не представлял никакой ценности для немцев?

— Я... я не знаю... Он слишком много знал.

— Но вы и Кельно знали то же самое и все же не были отправлены в газовую камеру. Вместо этого вы оказались в частных клиниках. Я утверждаю, что доктор Дымшиц был отправлен в газовую камеру потому, что был стар и бесплезен. Я утверждаю, что именно в этом, и ни в чем другом, состояла истинная причина. Далее, доктор Кельно заявил, что был жертвой коммунистического заговора. Вы коммунист. Что вы по этому поводу можете сказать?

— Я приехал в Лондон, чтобы говорить правду, — выкрикнул Лотаки. — Почему вы думаете, что коммунист не может говорить правду или давать показания в пользу некоммуниста?

— Вы слыхали про Бертольда Рихтера, высокопоставленного восточногерманского коммуниста?

— Да.

— Вам известно, что он и сотни других нацистов, которые работали в концлагерях, теперь служат коммунистическому режиму?

— Минуточку, — прервал его Гилрей и повернулся к присяжным. — Я не сомневаюсь в справедливости этих слов мистера Баннистера, однако это не означает, что они что-то доказывают.

— Я утверждаю, милорд, что у коммунистов есть очень удобный способ реабилитировать бывших нацистов и эсэсовцев, которые им нужны. Каким бы черным ни было их прошлое, об этом прошлом забывают, если они приносят себя на алтарь коммунизма и могут быть полезны режиму.

— Но вы же не хотите сказать, что доктор Лотаки нацист?

— Я хочу сказать, что у доктора Лотаки исключительные способности к выживанию и ему удалось выкрутиться даже не один раз, а дважды. Доктор Лотаки, вы сказали, что обратились к Кельно как к своему начальнику и говорили с ним об этих операциях. Что бы вы сделали, если бы доктор Кельно отказался их делать?.

— Я бы... я бы тоже отказался.

— Больше вопросов не имею.

10

Эйб сидел в темной комнате. Перед домом остановилась машина, открылась и закрылась входная дверь.

— Пап?

Бен нашарил выключатель и зажег свет. Отец полулежал в кресле напротив двери, вытянув ноги, и на груди у него стоял полный стакан виски.

— Пап, ты напился?

— Нет.

— Выпил?

— Нет.

— Все уже почти час как собрались у Шоукросса и ждут тебя. Миссис Шоукросс приготовила угощение, там играет пианист, которого они пригласили... в общем, леди Видман послала меня сюда за тобой.

Эйб отставил стакан, поднялся на ноги и некоторое время стоял опустив голову. Бен не в первый раз видел отца в таком состоянии. В Израиле он часто заходил к нему в спальню, служившую и рабочим кабинетом. После того как отец целый день писал, он был совершенно измучен, иногда плакал из жалости к какому-нибудь персонажу книги, иногда бывал таким усталым, что не мог даже зашнуровать туфли. Так же он выглядел и сейчас, только еще хуже.

— Я не могу их видеть, — сказал Эйб.

— Ты должен, пап. Стоит тебе их увидеть, и ты забудешь, что они были изувечены. Это веселые люди, они смеются и прекрасно держатся, и все очень хотят видеть тебя. Еще один мужчина приехал сегодня утром из Голландии и две женщины — из Бельгии и Триеста. Теперь все налицо.

— За каким дьяволом я им нужен? Хотят посмотреть на того, кто вытащил их в Лондон и собирается выставить на всеобщее обозрение, как уродов в цирке?

— Ты знаешь, зачем они здесь. И не забывай, что ты для них герой.

— Какой там, к дьяволу, герой.

— Ты герой и для Ванессы с Йосси, и для меня тоже.

— Ну да, как же.

— Ты думаешь, мы не понимаем, ради чего ты все это делаешь?

— Еще бы, ведь мы оказали всем вам чертовскую услугу. Принимайте дар от нашего поколения вашему. Концлагеря, газовые камеры, растоптанное человеческое достоинство. Принимайте дар, ребята, и вступайте в нашу цивилизованную компанию.

— А как насчет дара мужества?

— Мужества? Ты хочешь сказать — страха, что не переживешь этого, а потом — мучительных попыток примириться со своей судьбой? Это не мужество.

— Они приехали в Лондон не потому, что они трусы. Ну, пойдем. Я надену тебе туфли.

Бен опустил на колени и завязал отцу шнурки. Эйб протянул руку и погладил его по голове.

— Что у вас за дурацкие ВВС, где разрешают отращивать такие усы? Сбрил бы ты их к черту.

Как только они вошли в квартиру, Эйб понял, как это хорошо, что Бен вытащил его сюда. Шейла Лэм тут же подвела его к шести мужчинам и четырем женщинам, которые стали теперь ее подопечными. Рядом с ним были Бен и Ванесса, которые помогали ему кое-как объясняться на иврите, и Йосси, который не сводил глаз с его дочери. Присутствие троих молодых израильтян вселяло во всех некое мужество. Никто не пожимал никому рук — все обнимались, целовались и чувствовали себя братьями и сестрами.

Дэвид Шоукросс преподнес каждому по комплекту книг Абрахама Кейди с его автографами. Настроение у всех было, как у солдат перед боем. Эйб, снова ставший самим собой, болтал с доктором Лейберманом и отпускал шутки по поводу своего единственного глаза, что сближало их еще больше.

Через некоторое время Эйб и Лейберман отошли в сторону.

— Ко мне обратился ваш адвокат, — сказал Лейберман. — Он думает, что, поскольку почти все они будут давать показания на иврите, мне лучше выступить в качестве переводчика.

— А как же насчет ваших показаний в качестве врача? — спросил Эйб.

— Они полагают, и я с этим согласен, что показания врача произведут большее действие, если будут исходить от англичанина.

— Сначала англичане не проявили большой охоты, — сказал Эйб. — Вы знаете, как не любят врачи давать показания друг против друга. Но в конце концов все же нашлось несколько добрых людей.

Вечер получился неожиданно приятный, но под конец всеми овладела внезапная усталость, и прежняя непринужденность исчезла. Все сидели, выжидающе поглядывая на Абрахама Кейди.

— Я еще не настолько пьян, чтобы говорить речь, — заявил он.

И тут они, словно сговорившись, одновременно поднялись с мест и встали перед ним, глядя на своего не-героя, который стоял опустив голову. Он поднял глаза и обвел взглядом всех: Дэвида Шоукросса с потухшей сигарой, леди Сару, похожую на святую, кроткую Ванессу, все еще остававшуюся англичанкой, Бена и Йосси, молодых львов Израиля. И жертв...

— Завтра в суде мы начнем изложение нашей позиции, — сказал он, ощутив новый прилив сил. — Я знаю, и вы знаете, какое ужасное испытание вам предстоит. Но мы здесь потому, что не хотим позволить миру забыть, что они с нами сделали. Когда вы будете стоять на свидетельской трибуне, пусть каждый из вас помнит про пирамиды из костей и пепла еврейского народа. И когда вы будете говорить, помните, что вы говорите от лица тех шести миллионов, которые больше никогда ничего не скажут... Помните это.

Все по одному подошли к нему, пожали ему руку, поцеловали в щеку и вышли из комнаты. Рядом с ним остались только Бен и Ванесса.

— Господи, — сказал Эйб, — дай им силы!

— Вы можете продолжать, мистер Баннистер.

Томас Баннистер повернулся к восьми мужчинам и четырем женщинам, выполнявшим свои обязанности присяжных без всяких видимых эмоций. Кое-кто из них все еще был в выходном костюме. И почти все принесли с собой подушки для сидения.

Баннистер листал свои заметки, ожидая, когда в зале наступит тишина.

— Я уверен, господа присяжные заметили, что у этого дела две стороны. Многое из того, что вам говорил мой выскоученый друг сэра Роберт Хайсмит, — чистая правда. Мы не отрицаем, что ответчиками являются автор и издатель книги, и что этот абзац содержит порочащую информацию, и что персонаж, о котором идет в нем речь, — доктор Адам Кельно, истец.

Места для прессы были уже так переполнены, что пришлось усаживать репортеров и в первом ряду балкона. Энтони Гилрей, постоянно делавший заметки, уже исписал множество карандашей.

— Все юридические тонкости разъяснит вам милорд судья. Но в действительности тут есть только два вопроса. Мы в ходе своей защиты утверждаем, что по существу этот абзац верен, а истец утверждает, во-первых, что этот абзац неверен по существу и, во-вторых, что поэтому он имеет право на очень солидное возмещение. Наша же позиция состоит в следующем. Ввиду того, что совершил доктор Кельно, его репутации этот абзац в действительности не мог нанести ущерба, и даже если в нем содержится диффамация, то возмещение, которого заслуживает доктор Кельно, не должно превышать стоимости самой мелкой монеты, которая существует в этой стране, — полпенни.

Ответ на вопрос, есть диффамация или ее нет, зависит не от того, что имел в виду автор, а от того, как поняли его читатели. Мы полагаем, что большинство их никогда не слыхало про доктора Кельно и, уж во всяком случае, не отождествляло его с тем доктором Кельно, который практикует в Саутуорке. Но некоторые, безусловно, знали, что речь идет о том же самом докторе Кельно. Что означало это для них?

Я согласен с моим высокоученым другом, что доктор Кельно был заключенным и жил в неопишемом аду, созданном немцами. Здесь, в веселой, уютной Англии, нам очень легко критиковать действия людей в таких условиях. Но когда вы будете принимать решение по этому делу, то должны обязательно подумать о том, как действовали бы вы сами в подобных обстоятельствах.

Концлагерь «Ядвига» — как могло такое вообще случиться? Какие страны можно считать самыми цивилизованными, передовыми и культурными в мире? Не будет проявлением неуважения к Соединенным Штатам или к нашему Британскому Содружеству Наций, если я скажу, что цветом нашей цивилизации и высшим достижением человечества были христианские страны Западной Европы? И если бы вы спросили, возможно ли, чтобы через несколько лет граждане одной из этих стран стали миллионами посылать стариков голыми в газовые камеры, каждый ответил бы: «Нет, это невозможно. Германский кайзер и весь его милитаризм остались в прошлом. В Германии обычное западное демократическое правительство. Мы не можем себе представить, ради чего кто-нибудь захотел бы это делать. Ведь это вызвало бы к нему отвращение всего мира. Если бы они делали это в мирное время, им тут же объявили бы войну те, кто хотел бы это прекратить. И даже в военное время — чего они могли бы добиться такими действиями?»

Томас Баннистер поправил мантию, и в его голосе зазвучали тонкие баховские контрапункты.

— «Человека невозможно заставить это делать, — сказали бы вы. — Германская армия состоит из людей, пришедших из контор, с заводов и фабрик. У них есть свои дети. Никто не заставит людей, у которых есть дети, загонять других детей в газовые камеры...» И если бы помимо всего этого кто-нибудь предположил, что людей могут использовать в роли подопытных животных, что у них будут на их собственных глазах удалять половые органы в ходе экспериментов по массовой стерилизации, опять-таки мы бы с вами сказали — не правда ли? — что это невозможно. Больше того, мы бы с вами сказали: «Это должны были бы делать врачи, а таких врачей, которые согласились бы это делать, никогда не найти».

Так вот, мы бы с вами ошиблись. Потому что все это происходило — все! И нашелся врач, польский врач-антисе-

мит, который это делал. Из показаний видно, что он занимал руководящий пост и пользовался авторитетом. Вы слышали, как доктор Лотаки сказал, что если бы доктор Кельно отказался, то отказался бы и он.

Мы бы ошиблись, думая, что это не может произойти, потому что существует целое мировоззрение, которое подерживает и оправдывает то, что происходило. Это чудовищное мировоззрение — антисемитизм. Те из нас, кто не принадлежит ни к какой религии, ставят на первое место разум, но все мы, верующие и неверующие, имеем некое представление о добре и зле. Однако стоит только вам позволить себе допустить, что какая-то группа людей из-за их расы, или цвета кожи, или религии на самом деле не может считаться людьми, — как вы получаете оправдание любым мучениям, которым их подвергнете. Эта уловка оказывается особенно кстати вождю нации, которому нужен козел отпущения, кто-то, на кого можно свалить вину, когда что-либо идет не так. И тогда вы можете взвинтить народ до истерики, убедить его, что это не люди, а просто животные, — ведь животных мы убиваем точно так же, как убивали заключенных в концлагере «Ядвига». И газовые камеры были логическим завершением этого пути.

Все сидевшие в зале слушали, как завороженные.

— Мы бы ошиблись, — гремел Баннистер, — потому что, если бы кто-то приказал британским войскам загонять в газовые камеры детей и стариков, не сделавших ничего плохого, кроме того, что они были детьми своих родителей, — то можете ли вы себе представить, чтобы британские войска не подняли бы тут же мятеж против тех, кто отдал такой приказ? Нет, конечно, нашлись некоторые немцы — солдаты, офицеры, священники, врачи и простые граждане, которые отказывались выполнять такие приказы и говорили: «Я не стану это делать, потому что не хочу жить, имея это на своей совести: Я не буду толкать их в газовую камеру, а потом говорить, что выполнял приказ, и оправдываться тем, что иначе это все равно сделал бы кто-нибудь другой, что я не могу этого остановить, а другой толкал бы их в газовую камеру еще более жестоко, поэтому в их же интересах, чтобы я толкал их туда не так грубо». Но все дело было в том, что таких людей оказалось слишком мало.

Так вот, читатели могут воспринимать этот абзац в этой книге по-разному, и тут возможны три различных подхода.

Возьмем, например, лагерного охранника-эсэсовца, которого после войны повесили. Этот эсэсовец-охранник сказал бы в свою защиту: «Позвольте, но я был призван в армию и попал в СС, а потом в концлагерь, не зная, что происходит». Конечно, он очень скоро узнал, что происходит, и будь он британским солдатом, он поднял бы мятеж. Я не говорю, что этих эсэсовцев-охранников после войны следовало отпустить на свободу, но если мы поставим себя на их место, на место призванных в гитлеровскую армию, то согласимся, что виселица — это было, пожалуй, немного слишком.

Теперь второй подход. Должны были найтись люди, которые пошли бы на риск серьезного наказания или даже смерти, отказавшись выполнять подобные приказы, потому что это наш долг перед будущими поколениями. Мы должны сказать нашим потомкам: если это случится снова, вы не сможете оправдаться тем, что боялись наказания, потому что рано или поздно для человека наступает такой момент, когда сама его жизнь теряет смысл, если она предполагает необходимость калечить или убивать других.

И наконец, третий подход состоит в том, что это был вообще не немец, а наш союзник, в чьи руки была отдана власть над жизнью других наших союзников.

Мы знаем, разумеется, что врачам из заключенных тоже грозило наказание. Но мы узнали также, не правда ли, что заключенные работали в медчасти и что одного из них, доктора Адама Кельно, немцы особенно ценили, да и сам он считал себя их сотрудником. Никто не сможет нас убедить, что германский медик стал бы рубить сук, на котором сидит, уничтожив самого полезного своего помощника. И мы знаем, что приказ перевести этого самого ценного врача в частную клинику исходил от самого Гимmlера.

Защита утверждает, таким образом, что по существу этот абзац верен и что истец заслуживает лишь того, чтобы ему с презрением присудили возмещение ущерба размером в полпенни, ибо если бы в этом абзаце говорилось, что такой-то совершил двадцать убийств, а на самом деле он совершил только два, то велик ли был бы реальный ущерб для репутации такого убийцы?

В этом абзаце ошибочно утверждается, что было проведено более пятнадцати тысяч хирургических эксперимен-

тов. Ошибкой было и утверждение, что это делалось без обезболивания. Мы признаем это.

Вам тем не менее предстоит решить, какого рода операции делались в концлагере «Ядвига», как они производились над евреями и какова цена репутации доктора Кельно.

12

Самые близкие и тесные отношения с жертвами концлагеря «Ядвига» сложились у Шейлы Лэм, и Баннистер долго расспрашивал ее, чтобы решить, в каком порядке вызывать их для дачи показаний в суде. Первой должна быть женщина, чтобы придать мужества мужчинам; кроме того, она должна внушать доверие, держаться твердо, не теряться и сохранить присутствие духа, оказавшись на свидетельской трибуне. По мнению Шейлы, лучше всего для этого подходила Йолан Шорет, хотя она и была из всех самой тихой.

Йолан Шорет, миниатюрная и тщательно одетая, выглядела совершенно спокойной, когда сидела с Шейлой и доктором Лейберманом в совещательной комнате, ожидая, когда ее вызовут.

В зале судья Гилрей, открывая заседание, обратился к репортерам:

— Я не могу давать указания прессе, но могу сказать только одно. Я как судья Ее Величества буду до глубины души потрясен, просто потрясен, если фотография кого-нибудь из свидетелей, перенесших эти ужасные операции, или его имя окажутся в газетах.

Услышав его слова «ужасные операции», сэр Роберт Хайсмит поморщился. Баннистеру безусловно удалось произвести определенное впечатление на судью, а может быть, и на всех остальных.

— Впрочем, я только высказал свое мнение и по прошлому опыту не имею оснований сомневаться в благоразумии прессы.

— Милорд, — сказал О'Коннер, — мои помощники только что передали мне записку, где говорится, что все представители прессы подписали обязательство не публиковать ни имен, ни фотографий.

— Иного я и не ожидал. Благодарю вас, господа.

— Моя свидетельница будет давать показания на иврите, — сказал Баннистер.

В дверь совещательной комнаты постучали. Доктор Лейберман и Шейла Лэм провели Йолан Шорет по коридору в зал. Прежде чем сесть за адвокатский стол, Шейла крепко пожала ей руку. Сотни глаз устремились на свидетельницу. Адам Кельно с непроницаемым лицом смотрел, как она и доктор Лейберман поднимаются на трибуну. Она излучала спокойное достоинство, и весь зал, почувствовав это, притих. Ее привели к присяге на Ветхом Завете, и судья предложил ей говорить сидя, но она сказала, что будет стоять.

Гилрей дал краткие указания доктору Лейберману о том, как следует переводить. Тот кивнул и сказал, что свободно говорит на иврите и по-английски, а его родной язык — немецкий. С миссис Шорет он знаком уже несколько лет и никаких особых затруднений не предвидит.

— Ваше имя? — задал Томас Баннистер свой первый вопрос.

— Йолан Шорет.

Она сообщила свой адрес в Иерусалиме, девичью фамилию — Ловино, место и год рождения — Триест, 1927-й. Баннистер пристально наблюдал за ней.

— Когда вас отправили в концлагерь «Ядвига»?

— Весной сорок третьего.

— И у вас на руке вытатуировали номер?

— Да.

— Вы помните этот номер?

Она расстегнула рукав, медленно засучила его до локтя и вытянула руку вперед, показывая голубую татуировку. Кто-то в задних рядах громко всхлипнул, а на лицах присяжных впервые появились признаки волнения.

— Семь ноль четыре три два, и треугольник, означающий, что я еврейка.

— Можете опустить рукав, — тихо сказал судья.

— Миссис Шорет, у вас есть дети? — продолжал Баннистер.

— Собственных нет. Мы с мужем усыновили двоих приемных.

— Что вы делали в лагере «Ядвига»?

— Первые четыре месяца работала на заводе. Мы делали детали для раций.

— Очень тяжелая была работа?

— Да, по шестнадцать часов в день.
— Вы получали достаточно пищи?
— Нет, я весила сорок килограмм.
— Вас били?
— Да, капо нас били.
— Что представлял собой ваш барак?
— Обычный барак концлагеря. Мы спали в шесть этажей. В бараке было триста — четыреста человек, одна печка посередине, умывальник, два туалета и два душа. Ели мы с жестяных тарелок.

— А что произошло через четыре месяца?

— Пришли немцы и стали отбирать близнецов. Они нашли меня с сестрой и сестер Кардозо, с которыми мы вместе росли в Триесте и вместе были отправлены в лагерь. Нас посадили на грузовик и отвезли в главный лагерь, в третий барак медчасти.

— Вы знали, что это был за барак?

— Скоро узнали.

— И что вы узнали?

— Что в нем держали мужчин и женщин, которых использовали для экспериментов.

— Кто вам это сказал?

— Нас поместили рядом с другой парой близнецов — сестрами Блан-Эмбер из Бельгии, которых облучали рентгеном, а потом оперировали. Не так уж много времени понадобилось, чтобы узнать, зачем мы здесь.

— Не можете ли вы описать милорду судье и господам присяжным этот третий барак?

— Женщин держали на первом этаже, мужчин — на втором. Все окна, выходившие на второй барак, были заколочены досками, потому что там была стена, у которой расстреливали, но мы все слышали. Окна с другой стороны оставались обычно закрытыми, и в бараке было постоянно темно — горело только несколько слабых лампочек. Дальний конец барака был отгорожен, там держали около сорока девушек, над которыми экспериментировал доктор Фленсберг. Большинство из них сошло с ума, они все время что-то бормотали или кричали. А остальные, например, как сестры Блан-Эмбер, были выздоравливающими после экспериментов Фосса.

— Вы знали о существовании каких-нибудь проституток или женщин, которым делали аборт?

- Нет.
 - Вы знали доктора Марка Тесслара?
 - Да, он лечил мужчин наверху и время от времени помогал лечить нас.
 - Но он, насколько вам известно, не оперировал женщин?
 - Я об этом не слыхала.
 - Кто надзирал за вами в третьем бараке?
 - Четыре женщины-капо, полки с тяжелыми дубинками, которые жили в отдельной комнатке, и женщина-врач по имени Габриела Радницки, у нее тоже была своя комнатка в углу барака.
 - Заключенная?
 - Да.
 - Еврейка?
 - Нет, католичка.
 - Она плохо с вами обращалась?
 - Наоборот, она очень нам сочувствовала. Она изо всех сил старалась спасти тех, кому были сделаны операции, и одна входила в клетку, где держали сумасшедших. Она успокаивала их, когда они впадали в иступление.
 - Что произошло с доктором Радницки?
 - Она покончила с собой. Оставила записку, где говорилось, что больше не может видеть страдания людей, не имея возможности им помочь. У нас всех было такое чувство, словно мы лишились матери.
- Терренс стиснул руку Анджелы так крепко, что она чуть не вскрикнула. Адам продолжал сидеть, уставившись на свидетельскую трибуну с таким видом, словно ничего не слышал.
- Заменял ли кто-нибудь доктора Радницки?
 - Да, доктор Мария Вискова.
 - И как она обращалась с вами?
 - Тоже как мать.
 - Сколько времени вас продержали в третьем бараке?
 - Несколько недель.
 - Расскажите, что случилось потом.
 - Пришли эсэсовцы-охранники и забрали нас — три пары близнецов. Нас привели в пятый барак, в комнату, где стоял рентгеновский аппарат. Эсэсовец-санитар говорил с нами по-немецки, но мы почти ничего не понимали. Два других санитаров раздели нас и привязали к животу и спине

по какой-то пластинке. Он списал номер у меня с руки, и меня облучали рентгеном минут пять или десять.

— Что было с вами после этого?

— У меня на животе появилось темное пятно, и меня сильно рвало.

— И со всеми было то же?

— Да.

— Было это пятно болезненным?

— Да, и скоро оно загноилось.

— А что происходило потом?

— Мы оставались в третьем бараке еще несколько недель или месяц. Там было трудно следить за временем. Но я помню, что становилось холоднее, значит, дело шло уже к ноябрю. Потом за нами, за тремя парами близнецов, снова пришли эсэсовцы, они забрали еще несколько мужчин сверху, нас всех снова привели в пятый барак и велели ждать в какой-то комнате вроде приемной. Я помню, что очень стеснялась, потому что мы были раздеты...

— Все в одной комнате?

— Там висела занавеска, которая нас разделяла, но скоро мы все перемешались, потому что очень волновались и не находили себе места.

— Голые?

— Да.

— Сколько вам было лет, миссис Шорет?

— Шестнадцать.

— Вы из религиозной семьи?

— Да.

— И с очень небольшим жизненным опытом?

— Без всякого опыта. До тех пор ни один мужчина не видел меня обнаженной, а я не видела голых мужчин.

— И головы у вас были обриты.

— Да, из-за вшей и тифа.

— И там вы все перемешались. Вы испытывали стыд и унижение?

— С нами обращались, как с животными, и мы испытывали ужас.

— А потом?

— Санитары стали насильно укладывать нас на деревянные столы и брить нам стыдные места.

— А потом?

— Два человека посадили меня на стул и пригнули мне голову между колен, а третий человек воткнул иглу в позвоночник. Я закричала от боли.

— Закричали от боли? Минуточку, пожалуйста. Вы вполне уверены, что все это происходило еще не в операционной?

— Я вполне уверена, что это было в соседней комнате.

— А вам не делали никакой небольшой инъекции перед этим уколом в позвоночник?

— Нет, только один этот.

— Продолжайте.

— Через несколько минут вся нижняя часть тела у меня онемела. Меня бросили на каталку и повезли куда-то. Вокруг все мужчины и женщины кричали и бились, поэтому появились еще охранники с дубинками и начали их избивать.

— И вас первую увезли из этой комнаты?

— Нет, я точно помню, что первым был мужчина. Меня вкатили в операционную и привязали к столу. Помню, что над головой у меня была лампа.

— Вы были в полном сознании?

— Да. У стола стояли три человека в масках. На одном была форма офицера СС. Вдруг распахнулась дверь, вошел еще один человек и начал спорить с хирургами. Я не очень много поняла, потому что они говорили большей частью польски, но я смогла понять, что этот новый человек протестует против такого обращения с нами. Потом он подошел ко мне, сел рядом и, глядя меня по голове, заговорил со мной по-французски. Французский я понимала лучше.

— Что говорил вам этот человек?

— «Держись, моя голубка, боль скоро пройдет. Держись, я о тебе позабочусь».

— Вы знаете, кто был этот человек?

— Да.

— И кто же он был?

— Доктор Марк Тесслар.

13

Сима Галеви представляла собой полную противоположность Йолан Шорет, хотя они и были близнецы. Она выглядела совсем больной, на много лет старше, и в ней не чувствовалось энергии и самообладания, отличавших ее сестру.

Голосом, лишенным всякого выражения, она прочитала номер, вытатуированный у нее на руке, и сообщила, что тоже живет в Иерусалиме с двумя приемными детьми — сиротами-иммигрантами из Марокко. Она повторила рассказ сестры о том, что происходило в комнате для ожидания, об операции и появлении доктора Тесслара.

— Что было с вами после операции?

— Меня на носилках отнесли обратно в третий барак.

— В каком состоянии вы были?

— Я долго была очень больна. Два месяца, а может быть, и больше.

— Вы чувствовали боль?

— Эту боль я чувствую и по сей день.

— А острую боль?

— Первую неделю мы только и делали, что лежали и плакали.

— Кто ухаживал за вами?

— Доктор Мария Вискова, и часто сверху приходил доктор Тесслар и осматривал нас. И еще часто приходила врач-француженка. Не помню, как ее звали. Очень добрая.

— А еще какие-нибудь врачи приходили, чтобы вас осмотреть?

— Я смутно припоминаю, как один раз, когда у меня была высокая температура, доктор Тесслар и доктор Вискова спорили с каким-то мужчиной-врачом и требовали больше пищи и лекарств. Но это было только один раз, и я не знаю, кто это был.

— Вы знаете, что с вами было?

— Рана открылась. У нас были только бумажные бинты.

От нас шел такой ужасный запах, что никто не мог стоять рядом.

— Но через некоторое время вы поправились и снова начали работать на заводе?

— Нет, я так и не поправилась. Мою сестру вернули на завод, я же работать не могла. Мария Вискова оставила меня у себя под видом помощницы, чтобы меня не отправили в газовую камеру. Я оставалась при ней, пока не окрепла настолько, что могла выполнять нетрудную работу в переpletной — мы приводили в порядок старые книги, которые потом посылали немецким солдатам. Там с нами не так плохо обращались.

— Миссис Галеви, расскажите, пожалуйста, как вы вышли замуж.

Она рассказала, что еще в Триесте влюбилась в одного юношу — ей было четырнадцать, ему семнадцать. В шестнадцать лет она попала в лагерь и больше ничего о нем не знала. После войны в сборно-распределительных центрах, расположенных в Вене и других городах, выжившие после лагерей вывешивали на досках объявлений записки о себе в надежде, что их прочтет кто-нибудь из друзей или родственников. Каким-то чудом ее записка попала на глаза возлюбленному, которому удалось остаться в живых, пройдя через Освенцим и Дахау. После двухлетних поисков он нашел ее в Палестине, и они поженились.

— Как сказывается теперь на вас эта операция?

— Я живу растительной жизнью. Почти не встаю с постели.

Со своего места поднялся сэр Роберт Хайсмит, держа в руках исписанный листок, где он тщательно отмечал все расхождения между показаниями сестер. Не могло быть сомнений, что Баннистер сумел добиться многого: показания этих жертв произвели заметное действие. Однако они так и не смогли убедительно доказать, что операции им делал Кельно, а сам Хайсмит был убежден, что это был не он. Конечно, они вызвали большое сочувствие, и надо было действовать осторожно.

— Мадам Галеви, — начал он мягко, совершенно иным тоном, чем вел предыдущие допросы. — Мой высокоученый друг утверждает, что те операции, о которых рассказывали вы и ваша сестра, проводил доктор Кельно. Но вы в этом не уверены, ведь так?

— Да.

— Когда вы впервые услышали про доктора Кельно?

— Когда нас привели с завода в третий барак.

— И там вы оставались некоторое время после операции?

— Да.

— Но вы никогда его не видели, во всяком случае, не могли бы его опознать?

— Нет.

— Вы знаете, что вот этот человек, который сидит тут, — доктор Кельно?

— Да.

- И вы тем не менее не можете его опознать?
- В операционной они были в масках, но этого человека я не знаю.
- Как вы узнали, что вас забирают на операцию в пятый барак?
- Я вас не понимаю.
- Ну, была там над входом вывеска: «Барак номер пять»?
- По-моему, нет.
- А может быть, это был не пятый, а первый барак?
- Возможно.
- Вы знаете, что в первом бараке проводили свои эксперименты доктор Фленсберг и его ассистент и у них были свои хирурги?
- Я этого не знала.
- Все это есть в обвинительном заключении по его делу как военного преступника. Я полагаю, вы лишь недавно припомнили, что вас привели в пятый барак. Это так, мадам Галеви?
- Она растерянно посмотрела на доктора Лейбермана.
- Пожалуйста, отвечайте на вопрос, — сказал судья.
- Я говорила здесь с юристами.
- В действительности вы не можете опознать никого — ни Фосса, ни Фленсберга, ни Лотаки, ни Кельно?
- Нет, не могу.
- Возможно, в действительности эту операцию вам делал некий доктор Борис Дымшиц?
- Я не знаю.
- Но вы знаете, что, согласно показаниям доктора Кельно, он посещал своих пациентов после операций. Если бы это показание было верным, то вы бы смогли его опознать.
- Я была очень больна.
- Доктор Кельно показал также, что делал обезболивание сам в операционной.
- Я не уверена, что это было в операционной.
- Значит, это мог быть и не доктор Кельно?
- Да.
- Вы часто видите со своей сестрой в Иерусалиме?
- Да.
- И вы говорили с ней обо всем этом, особенно после того, как вас привлекли к делу как свидетеля?
- Да.

Несмотря на все усилия сэра Роберта сохранить спокойствие, его дальнейшие слова сопровождались такой энергичной жестикуляцией, что у него с плеч сползла мантия.

— Ваши предварительные показания и показания вашей сестры сбивчивы и полны противоречий. Не совпадают многие подробности и даты. Осталось неясным, на носилках или на каталке вас доставили к операционному столу, справа или слева от вас сидел доктор Тесслар, был ли стол наклонен, могли ли вы в действительности видеть что-то отраженным в рефлекторе лампы или нет, кто находился в операционной, сколько недель вы ожидали операции в третьем бараке после облучения, что говорили эти люди польски и по-немецки. Вы утверждаете, что находились в полусонном состоянии, а ваша сестра — что была в полном сознании. И вы не уверены, что укол вам делали в комнате рядом с операционной.

Хайсмит швырнул листок на стол и подался вперед, вцепившись в трибуну и стараясь не повышать голоса.

— Я хочу сказать, мадам Галеви, что тогда вы были крайне молоды и с тех пор прошло очень много времени.

Она внимательно слушала, пока доктор Лейберман переводил его слова на иврит, потом кивнула и что-то ему ответила.

— Что она сказала? — спросил судья.

— Миссис Галеви сказала, что сэр Роберт, вероятно, прав и в ее показаниях много противоречий, но есть одно, чего никакая женщина не в состоянии забыть. Это тот день, когда она узнаёт, что никогда не сможет иметь ребенка.

14

Юбки в Чехословакии стали короче. Прага больше не скрывала ни своей западной души, ни своих прозападных ляжек. Это была самая свободная из коммунистических стран, и она переживала самые свободные свои дни. Автобусы, поезда и самолеты каждый день доставляли сюда толпы туристов. Поэтому даже прибытие израильского самолета компании «Эль-Аль» не привлекло особого внимания. В конце концов, хорошее отношение чехов к чешским евреям и к государству Израиль было всем известно. Еще во времена

Яна Масарика*, в конце войны, страна искренне оплакивала семьдесят две тысячи чешских евреев, убитых в Терезине и других лагерях смерти, и сам Масарик, несмотря на противодействие Великобритании, сделал Чехословакию базой и транзитным пунктом для тех из переживших Холокост, кто стремился, прорвав британскую блокаду, попасть в Палестину.

Рейс «Эль-Аль» вообще не привлек бы внимания, если бы одним из его пассажиров не был Шимшон Арони, прибытие которого, как обычно, повергло в немалую озабоченность чехословацкую полицию.

— Отель «Ялта», — сказал он таксисту, сев в потрепанный «опель».

Они влились в поток машин, тележек и автобусов на Вацлавской площади, и вскоре он уже регистрировался у портье. Сейчас четыре. Еще часа два, и дело завертится.

Номер был маленький — самый маленький в отеле. Всю свою жизнь Арони провел в таких маленьких номерах, охотясь за скрывающимися нацистами. Он был рад снова побывать в Праге — она оставалась последним приличным городом во всех коммунистических странах. Но после убийства Катценбаха и здесь запахло опасностью. Катценбах был американцем, сотрудником еврейской организации «Джойнт», которая занималась помощью евреям. Его выловили из реки мертвым.

Арони хватило нескольких минут, чтобы распаковать свой потрепанный чемодан и разложить вещи. Три с половиной миллиона километров по воздуху. Три с половиной миллиона километров слежки и погони. Три с половиной миллиона километров мщения.

Он вышел на площадь и отправился в теперь уже привычное паломничество. Сначала — в пивную «У Флеков». В Израиле пиво похуже. Честно говоря, совсем скверное. До

* Масарик, Ян (1886—1948) — чешский политик, сын первого президента Чехословакии Томаша Масарика. После оккупации Чехословакии Германией жил в Лондоне, с 1940 г. — министр иностранных дел чехословацкого правительства в изгнании, с 1945 г. — министр иностранных дел Чехословацкой Республики. Во время коммунистического переворота выбросился (или был выброшен) из окна своего кабинета.

своего выхода в отставку Арони много разъезжал по свету и часто имел возможность наслаждаться хорошим пивом, но в последнее время ему приходилось довольствоваться лишь местной продукцией Израиля. А в огромном зале «У Флеков» подавали самое лучшее в мире пиво.

Он с удовольствием выпил три бокала и стал разглядывать публику, среди которой было немало девушек в коротких юбках. Нет на Земле лучших женщин, чем чешки и мадярки. В Испании и Мексике специально выращивают быков для боя, а в Чехословакии и Венгрии — женщин для любви. Утонченные, нежные, страстные, изобретательные, с бешеным темпераментом... «Как это все мне надоело», — подумал Арони. Он всегда был слишком занят охотой на нацистов, и времени, чтобы заниматься любовью всерьез, у него не оставалось, а теперь он становился для этого уже староват. Все-таки скоро семьдесят. Не то чтобы совсем стар... Впрочем, что толку предаваться пустым мечтаниям? Он приехал в Прагу не ради романтических приключений.

Он перевел в уме чешские кроны в израильские фунты, расплатился и пошел дальше — на Карлов мост через Влтаву с его каменными перилами, украшенными через каждые несколько метров мрачными фигурами святых.

Шаги Арони замедлились, когда он проходил Староместскую площадь в старом городе. Здесь обитали воспоминания, здесь сохранились последние жалкие следы тысячелетий, прожитых евреями в Центральной Европе, — Староновая синагога, построенная в 1268 году и самая древняя в Европе, и Клаусово кладбище с тринадцатью тысячами поломанных и покосившихся надгробий, восходящих к доколумбовым временам.

Арони видел много старинных кладбищ в Польше, России и Румынии — большинство их пришло в запустение и было осквернено. Здесь, по крайней мере, еще оставался клочок священной земли.

Кладбища... Но местом последнего упокоения большинства евреев стали горы безымянных костей в лагерях смерти, не отмеченные никакими надгробиями.

В Еврейском государственном музее хранилось несколько реликвий из полутора тысяч деревень, ставших жертвами немецкой оккупации, а на стене Пинхасовой синагоги висела серая мемориальная доска.

«Прочти еще раз эти имена и названия, Арони. Прочти их снова и снова». Терезин, Бельжец, Освенцим, Гливице, Майданек, Собибор, Берген-Бельзен, Избица, Гросс-Розен, Треблинка, Лодзь, Дахау, Бабий-Яр, Бухенвальд, Штуттгоф, Розенбург, Пяски, Равенсбрюк, Рассики, Маутхаузен, Дора, Нойенгамме, Хелмно, Заксенхаузен, Ноновице, Рига, Тростинец — все это были места, где убивали его народ. Семьдесят семь тысяч имен погибших на стене синагоги, а над ними слова: «Люди, будьте бдительны!»

Арони вернулся в отель в шесть. Как он и рассчитывал, в вестибюле уже ждал его Иржи Линка. Они пожали друг другу руки и прошли в бар. Там висело объявление «С карточками «Дайнерз-Клуб» — добро пожаловать!» — еще одно свидетельство мира и прогресса.

Иржи Линка был полицейским — евреем-полицейским. Он выглядел точь-в-точь так, как рисуют на карикатурах полицейских из-за «железного занавеса». Арони заказал себе кружку пльзенского, Линка — рюмку сливовицы.

— Сколько времени ты не был в Праге, Арони?

— Почти четыре года.

— Немало тут переменялось, а?

Они говорили по-чешски — на одном из десяти языков, которыми владел Арони.

— И долго ваши товарищи из Москвы намерены позволять вам наслаждаться таким счастьем?

— Чепуха. Мы передовая социалистическая страна.

— Сегодня я стоял на Карловом мосту, смотрел в воду, — проворчал Арони. — И вспоминал Катценбаха.

При упоминании этого имени Линка умолк.

— Сначала они возьмутся за евреев, — сказал Арони. — А потом доберутся и до чехов. Слишком много хорошего идет к вам с Запада. Вот увидите — не пройдет и года, как Советская Армия будет в Праге.

Линка усмехнулся:

— А я думал, ты отошел от дел. Решил, что, может быть, на этот раз ты приехал принимать ванны и лечиться грязями.

— Я работаю на частное лицо. Мне нужно повидаться с Браником.

Услышав имя начальника тайной полиции, Линка нахмурился и пожал плечами. Арони знал свое дело лучше всех и никогда не делал глупостей. Все эти годы он, приезжая в

Чехословакию, всегда действовал, как полагается, — через официальные каналы.

— Я должен встретиться с ним сегодня.

— По-моему, он за границей.

— Тогда я завтра улетаю. У меня нет времени болтаться здесь без дела.

— Может быть, ты бы поговорил с кем-нибудь еще?

— Только с Браником. Я буду ждать у себя в номере.

Он встал и вышел.

Линка задумчиво побарабанил пальцами по столу, потом одним глотком допил рюмку, схватил шляпу и поспешно вышел на площадь. Он прыгнул в свою маленькую «шкоду» и помчался в штаб-квартиру.

15

Первый из вызванных свидетелей-мужчин, Моше Бар-Тов, вошел в зал с вызывающим видом. Он был в хорошем костюме, который сидел на нем, впрочем, несколько неуклюже. Помахав рукой Абрахаму Кейди и Дэвиду Шоукроссу, он враждебно уставился на Адама Кельно, который старался не встретиться с ним взглядом. Кельно впервые выглядел усталым. Очень усталым.

Моше Бар-Тов был первой из жертв, кого разыскал Арони. Он помог ему найти остальных и был их явным предводителем.

— Прежде чем мы приведем к присяге этого свидетеля, — сказал Энтони Гилрей, обращаясь к репортерам, — я должен выразить свое огорчение и недовольство по поводу одного сообщения в иерусалимской газете. Там говорится, что одна из свидетельниц — женщина за сорок лет, хрупкого сложения, родом из Триеста и мать двоих приемных детей. Жители Иерусалима, которые, насколько я понимаю, внимательно следят за нашим процессом, могут догадаться, кто эта женщина. Я настаиваю на том, чтобы в подобных описаниях проявлялась самая крайняя осторожность.

Провинившийся журналист из Израиля уткнулся в свой блокнот и не поднимал глаз.

— Доктор Лейберман, вы все еще находитесь под присягой и будете переводить всем свидетелям, говорящим на иврите.

Бар-Това допрашивал Брендон О'Коннер. Том Баннистер слушал, сидя с величественным видом.

— Ваше имя и фамилия?

— Моше Бар-Тов.

— Ваш адрес?

— Кибуц Эйн-Гев в Галилее, в Израиле.

— Это коллективное хозяйство, крупная ферма?

— Да, много сотен семей.

— Вы когда-нибудь меняли имя и фамилию?

— Да, раньше меня звали Герман Паар.

— И до войны вы жили в Голландии?

— Да, в Роттердаме.

— И оттуда вас вывезли немцы?

— Да, в начале сорок третьего года, вместе с двумя сестрами, матерью и отцом. Нас повезли в Польшу в вагонах для скота. В живых остался я один.

В отличие от Томаса Баннистера, Брендон О'Коннер вел допрос напористо, с актерскими интонациями.

— Вы были татуированы?

— Да.

— Прочтите присяжным свой номер.

— Сто пятнадцать тысяч четыреста девяносто, и знак, что я еврей.

— И что происходило с вами в лагере «Ядвига»?

— Меня вместе с другими евреями из Голландии отправили работать на завод концерна «ИГ Фарбен», где делали корпуса для снарядов.

— Одну минуточку, — прервал его Гилрей. — Я не намерен защищать никакого германского фабриканта, но, с другой стороны, германские фабриканты здесь отсутствуют и не могут защитить сами себя.

Доктор Лейберман и Бар-Тов о чем-то оживленно заговорили на иврите.

— Суд хотел бы знать, доктор Лейберман, о чем у вас там идет речь.

Доктор Лейберман покраснел.

— Милорд, я бы не хотел...

— В таком случае я требую ответа.

— Мистер Бар-Тов говорит, что он с радостью пришлет вам экземпляр протоколов суда над военными преступниками из концлагеря «Ядвига» на английском языке, который

есть в библиотеке кибуца. Он настаивает на том, что работал на заводе концерна «ИГ Фарбен».

Энтони Гилрей был несколько озадачен и, вопреки своему обыкновению, не нашелся что ответить. Он повертел в руках карандаш, проворчал что-то, потом повернулся к свидетельской трибуне.

— Хорошо, скажите мистеру Бар-Тову, что я отдаю должное его обстоятельному знанию ситуации. И заодно объясните ему, что он находится в английском суде и должен уважать все правила его процедуры. Если я его прерываю, то, безусловно, не из желания вступить за нацистов или за виновных, а из стремления соблюсти справедливость.

Выслушав перевод его слов, Бар-Тов понял, что одержал верх. Он кивнул судье в знак того, что впредь не будет нарушать правил.

— Так вот, мистер Бар-Тов, как долго вы работали на... ну, скажем, на данном заводе?

— До середины сорок третьего.

— Сколько лет было вам тогда?

— Семнадцать.

— И что произошло дальше?

— Однажды на фабрику пришел офицер-эсэсовец и отобрал меня и еще нескольких ребят из Голландии, примерно того же возраста. Нас привезли в главный лагерь и поместили в третий барак медчасти. Через несколько недель эсэсовцы забрали нас оттуда в пятый барак. Меня и еще пятерых из Голландии. Нам велели раздеться в комнате рядом с операционной. Через некоторое время меня отвели в другую комнату и велели влезть на стол и встать на четвереньки.

— Вы спросили зачем?

— Я это знал и стал протестовать.

— И что вам на это сказали?

— Что я еврейская собака и чтобы я перестал лаять.

— На каком языке?

— По-немецки.

— Кто это сказал?

— Фосс.

— Кто еще был в этой комнате?

— Эсэсовцы-охранники, капо и еще двое — то ли врачи, то ли санитары.

— Могли бы вы опознать кого-нибудь из них, помимо Фосса?

— Нет.

— Что произошло дальше?

— Я пытался соскочить со стола и получил удар по голове. Я не потерял сознания, но было так больно, что я больше не мог бороться с тремя или четырьмя охранниками. Один из санитаров держал у меня под членом стеклянную пластинку, а врач или кто-то еще в белом халате сунул мне в задний проход длинную деревянную палку вроде ручки от метлы, чтобы я изверг семя на эту стеклянную пластинку.

— Это было болезненно?

— Вы серьезно спрашиваете?

— Совершенно серьезно. Это было болезненно?

— Я орал и молил о пощаде всех богов, каких знал и каких не знал.

— Что произошло потом?

— Меня оттащили в другую комнату и, крепко держа, положили мои яйца на металлическую пластинку, которая лежала на столе. Потом на одно яйцо направили рентгеновский аппарат. Облучение продолжалось минут пять — десять. После этого меня отвели обратно в третий барак.

— Как это на вас подействовало?

— Сильно кружилась голова, и три дня меня постоянно рвало. А потом на моих яйцах появилось несколько черных пятен.

— Сколько времени вы оставались в третьем бараке?

— Несколько недель.

— Вы точно знаете, что ваши друзья тоже были подвергнуты этой процедуре?

— Да, и многие другие из нашего барака.

— Вы говорили, что чувствовали себя очень плохо. Кто за вами ухаживал?

— Доктор Тесслар, и еще ему помогал один заключенный — голландец, потому что в этом бараке было много голландцев. Его звали, насколько я помню, Менно Донкер.

— Сколько времени вы оставались в третьем бараке, прежде чем вас снова оттуда забрали?

— Думаю, что до ноября.

— Почему вы так говорите?

— Я припоминаю, что в это время шли разговоры о ликвидации гетто по всей Польше и новые заключенные прибы-

вали в лагерь сотнями тысяч. Их было так много, что газовые камеры не справлялись. За нашим баракom постоянно шли расстрелы, мы все время слышали выстрелы и крики.

— Расскажите милорду судье и господам присяжным, как вас забрали из третьего барака.

— Эсэсовцы пришли за нами — за теми шестью, кого раньше облучили. Еще они забрали одного поляка, старика, и Менно Донкера.

— Разве Менно Донкера облучали?

— Нет, мне показалось странным, что его тоже забрали. Я это помню.

— Продолжайте, пожалуйста.

— Нас отвели в пятый барак — нас восьмерых и шесть женщин с первого этажа. Дальше началось какое-то безумие. Всех раздели догола, избили и стали делать уколы.

— Сколько уколов вам сделали?

— Только один, в позвоночник.

— Как он был сделан и где?

— В комнате рядом с операционной. Здоровенный капо скрутил мне руки назад, так что я ничего не мог сделать, другой пригнул мне голову к коленям, а третий втыкал иглу.

— Был ли этот укол безболезненным?

— С тех пор никакая боль мне не страшна, потому что сильнее боли не бывает. Я потерял сознание.

— А когда вы пришли в себя?

— Я открыл глаза и увидел лампу с рефлектором. Я попробовал шевельнуться, но вся нижняя часть тела у меня онемела, и я был привязан. Надо мной стояло несколько человек. Из них я знал только одного — Фосса. Человек в белом халате и маске поднял зажим, в котором было мое яйцо, и показал его Фоссу, а потом бросил в тазик. Я помню, что они прочитали номер у меня на руке и написали его на бирке, которая была прикреплена к тазуку. Я заплакал. И тут я заметил рядом с собой доктора Тесслара, который пытался меня успокоить.

— И после этого вас опять отправили в третий барак?

— Да.

— В каком состоянии вы были?

— Всем нам было очень плохо — инфекция. Менно Донкеру было хуже всех, потому что у него удалили оба яйца. Я помню, что одного из ребят, Бернарда Хольста, в эту первую ночь унесли. Потом я узнал, что он умер.

— А через некоторое время вас выпустили?
— Нет. Нас снова забрали в пятый барак и облучили.
— И вам сделали вторую операцию?
— Нет, меня спас доктор Тесслар. В бараке один человек умер. Он заплатил капо, чтобы свидетельство о смерти заполнили на мое имя. Я принял имя того, кто умер, и жил под этим именем, пока нас не освободили.

— Мистер Бар-Тов, у вас есть дети?
— Четверо. Два мальчика и две девочки.
— Приемные?
— Нет, свои.

— Я прошу прощения за мой следующий вопрос, но он крайне важен и не имеет целью как-то затронуть ваши отношения с супругой. Вас обследовали в Израиле на предмет вашей потенции?

Бар-Тов улыбнулся:

— Да. Потенция больше, чем надо. У меня уже вполне достаточно детей.

Даже Гилрей усмехнулся вместе со всеми, но тут же нахмурился, и зал снова затих.

— Значит, несмотря на то, что оба ваши семенника подвергли сильному облучению, вы не были стерилизованы?

— Верно.

— И тот, кто удалял вам семенник, вполне мог удалить здоровый, а не отмерший орган?

— Да.

— Больше вопросов нет.

Со своего места поднялся сэр Хайсмит, сразу оценивший ситуацию. Это третий свидетель, допрошенный в суде. Несомненно, у Баннистера есть еще кое-что в запасе. Сеть косвенных намеков уже оплела Кельно, а завершающий удар должен нанести Марк Тесслар. Покачиваясь, по своему обыкновению, с пяток на носки, Хайсмит сказал:

— Мистер Бар-Тов, вам ведь было шестнадцать лет, когда вы попали в лагерь «Ядвига»?

— Не то шестнадцать, не то семнадцать.

— В ваших предварительных показаниях говорится, что семнадцать, но на самом деле вам было шестнадцать. Все это происходило давно, двадцать лет назад. И многое вам трудно отчетливо припомнить, так ведь?

— Кое-что я забыл. Но кое-что никогда не забуду.

— Ну да. А то, что вы забыли, вам напомнили.

- Напомнили?
- Вы когда-нибудь раньше давали показания?
- В конце войны, в Хайфе.
- И никаких других показаний вы не давали, пока несколько месяцев назад вас не разыскали в Израиле?
- Верно.
- Это сделал юрист, который записал ваши показания на иврите?
- Да.
- А когда вы прибыли в Лондон, то сели вместе с другим юристом и доктором Лейберманом и повторили то, что говорили в Израиле?
- Да.
- И во многом освежили ваши воспоминания по сравнению с тем, что говорили в Хайфе?
- Мы кое-что уточнили.
- Понимаю. Насчет морфия... ну, предварительного укола. Вы об этом говорили?
- Да.
- Я полагаю, что в комнате рядом с операционной вы потеряли сознание не от болезненного укола в позвоночник, а оттого, что еще в третьем бараке вам сделали укол морфия и тут он начал действовать.
- Я не помню никакого другого укола.
- И, поскольку во время операции вы были без сознания, вы не припоминаете никакого жестокого обращения с вами — вы ничего не помните?
- Я уже сказал, что был без сознания.
- И конечно, вы не опознаете доктора Кельно ни как хирурга, ни как человека, который заставил вас извергнуть семя?
- Я не могу его опознать.
- Вероятно, вы видели в газете фотографии доктора Лотаки. Его вы опознать можете?
- Нет.
- Теперь вот что. Мистер Бар-Тов, вы очень благодарны доктору Тесслару, не так ли?
- Я обязан ему жизнью.
- Да, и в концлагере люди могут спасти жизнь другим людям. Вы знаете, что доктор Кельно тоже спасал жизнь другим, не так ли?
- Я об этом слышал.

— А после освобождения вы ведь поддерживали связь с доктором Тессларом?

— Мы потеряли друг друга из вида.

— Понимаю. Но вы виделись с ним после приезда в Лондон?

— Да.

— Когда?

— Четыре дня назад, в Оксфорде.

— Доктор Тесслар имел на вас немалое влияние?

— Он был нам как отец.

— И вы тогда были очень молоды, и ваша память очень ненадежна, так что вы кое-что могли забыть.

— Некоторых вещей я никогда не забуду. Вам когда-нибудь запикивали в зад палку, сэра Хайсмит?

— Минутку, — прервал его Гилрей. — Я прошу вас ограничиваться только ответами на вопросы.

— Когда вы впервые услышали имя доктора Кельно?

— В третьем бараке.

— От кого вы слышали это имя?

— От доктора Тесслара.

— А недавно в Лондоне вам показали план пятого барака.

— Да.

— Чтобы вы могли припомнить расположение всех помещений.

— Да.

— Потому что, как я могу предположить, вы точно не помнили, когда в какой комнате находились. И вам показали фотографии Фосса?

— Да.

— Теперь вот что. Чем вы занимаетесь в кибуце?

— Я отвечаю за сбыт и за транспортный кооператив, в который входят другие соседние кибуцы.

— А до этого?

— Много лет был трактористом.

— У вас там бывает очень жарко. Вам не было трудно работать?

— Там жарко.

— И вы служили в армии?

— Прошел две войны.

— И все еще каждый год являетесь на сборы?

— Да.

- Так что, принимая во внимание еще, что у вас четверо детей, ваше здоровье не очень пострадало от этой операции?
- Бог был ко мне милостивее, чем к другим.

После этого Баннистер предпринял массированное наступление по всему фронту, вызвав на допрос еще трех мужчин — голландца и двух израильтян, которые побывали вместе с Бар-Товом в пятом бараке в тот ноябрьский вечер. Рассказанные ими истории были схожи, расхождений становилось все меньше. Каждый из них утверждал, что доктор Тесслар находился в операционной, тем самым все больше нагнетая интерес к его показаниям — кульминационному пункту защиты. Разница состояла только в том, что у них, в отличие от более счастливого Бар-Това, не было собственных детей.

После того как закончил свои показания третий из них, Баннистер вызвал еще одного — бывшего голландца по имени Эдгар Бетс, который теперь стал профессором Шаломом и работал в Еврейском университете. Хайсмит, не выдержав этой войны на истощение, вдруг почувствовал сильную усталость и поручил вести его допрос своему помощнику — Честеру Диксу.

Профессор Шалом в который раз и очень многословно изложил всем уже известные события. Когда Дикс кончил задавать ему вопросы, встал Баннистер.

— Прежде чем мы отпустим этого свидетеля, я хочу обратить ваше внимание на то, что мой высокоученый друг не стал оспаривать его слов, касающихся некоторых пунктов иска. Что важнее всего — он не стал оспаривать его утверждения, что при операции присутствовал доктор Тесслар. Я обращаю внимание милорда судьи на то, что ни тот, ни другой из моих высокоученых друзей не заявили, что показания кого-либо из этих свидетелей не соответствуют действительности.

— Да, я понимаю, что вы имеете в виду, — отозвался судья. — Так что вы по этому поводу думаете, мистер Дикс? Я полагаю, господа присяжные имеют право знать ваше мнение: дали эти свидетели волю своему воображению и все это выдумали, или же они абсолютно честные люди, но на их память нельзя положиться? Что вы скажете, мистер Дикс?

— Я не считаю, что их показания заслуживают доверия, — ответил Дикс, — из-за той тяжелейшей ситуации, в которой они тогда находились.

— Но вы не утверждаете, что они нам все это время врали? — настаивал судья.

— Нет, милорд.

— Однако, когда налицо несогласие с показаниями свидетеля, обычно ставят под сомнение правдивость этого свидетеля, — не уступал Баннистер. — Вы не сделали этого, хотя речь шла о важнейшем факте дела.

— Я много раз задавал вопросы о присутствии доктора Тесслара.

— Совсем необязательно задавать вопросы свидетелю по каждому факту, — с некоторым раздражением возразил судья. — Впрочем, задайте этот вопрос свидетелю.

— Я утверждаю, что доктора Тесслара в операционной не было, — сказал Дикс.

— Он там был, — тихо ответил Шалом.

16

Через несколько секунд после того, как чешское телевидение закончило в полночь свои передачи исполнением национального гимна, в номере Арони зазвонил телефон. Он снял трубку.

— Выйдите на тот конец площади, где Национальный музей, и ждите перед памятником.

Хотя было уже за полночь, из кафе на окаймленной деревьями Вацлавской площади доносились музыка и смех. Долго ли еще будут смеяться в Чехословакии?

Арони немного беспокоила его собственная судьба. Конечно, в штаб-квартире полиции не могли не задуматься над тем, зачем он приехал, а после загадочной смерти Катценбаха Прага стала опасной.

Около него остановилась машина. Открылась задняя дверца, и он сел рядом с молчаливым охранником. Впереди, рядом с водителем, сидел Иржи Линка. Молча они пересекли Влтаву по темному мосту и подъехали к ничем не приметельному большому зданию на Кармелитской улице, на котором висела вывеска: «Дирекция по охране и исследованию исторических и археологических памятников». В Праге все знали, что в этом здании находится штаб-квартира тайной полиции.

Кабинет был бедно обставлен. Вся середину его занимал длинный стол под зеленым сукном. Стену в конце комнаты украшал обычный портрет Ленина, которого вряд ли можно считать национальным героем Чехии, и портреты ее современных героев — Ленарта и Дубчека. Арони подумал, что этим портретам недолго осталось здесь висеть.

Браник совсем не походил на полицейского. Он был худ, общителен и добродушен.

— По-прежнему занимаешься теми же делами, Арони?

— Чуть-чуть, только чтобы не разучиться.

Браник кивком отпустил всех, кроме Линки, и налил ему, Арони и себе по рюмке.

— Прежде всего, — начал Арони, — даю слово, что нахожусь здесь по частному делу. Я не выполняю никаких правительственных поручений, не везу никаких денег и ни с кем не собираюсь встречаться.

Браник вставил в длинный мундштук сигарету и закурил от золотой зажигалки отнюдь не пролетарского вида. Он понял, что хотел сказать Арони: в его намерения не входит кончить свои дни в реке, как Катценбах.

— Мое дело касается одного процесса в Лондоне.

— Какого процесса?

— Того, про который сегодня напечатано на первой полосе всех пражских газет.

— Ах, вот что.

— Есть большие опасения, что Кельно выиграет дело, если не удастся вызвать некоего свидетеля.

— Он находится в Чехословакии?

— Не знаю. Это последняя отчаянная ставка.

— Я ничего не обещаю, — сказал Браник. — Могу только тебя выслушать.

— По очевидным причинам еврейский народ не должен проиграть это дело. Это будет истолковано как оправдание многих гитлеровских зверств. Вы почти всегда вели с нами честную игру...

— Не трать зря слов, Арони. Давай факты.

— Был один человек из Братиславы, лет двадцати пяти, по имени Эгон Сobotник, наполовину еврей по отцу, из большой семьи — человек двадцать или тридцать, все с той же фамилией. Большая часть их погибла. Сobotник попал в лагерь «Ядвига» и служил там медрегистратором — вел записи операций. Он близко знал Кельно, возможно, даже

ближе, чем кто бы то ни было еще. Я прочесал всю чешскую общину в Израиле и только несколько дней назад обнаружил его дальнего родственника по фамилии Кармел. Раньше он носил фамилию Сobotник, но вы же знаете — многие иммигранты меняют свои имена и фамилии на еврейские. Можно? — спросил Арони, кивнув в сторону пачки сигарет. Браник вынул свою золотую зажигалку, и Арони закурил. — Кармел переписывался с троюродной сестрой по имени Лена Конска, которая все еще живет в Братиславе. По словам Кармела, она спаслась от немцев, перебравшись в Венгрию, и жила в будапештском подполье под видом христианки. Некоторое время у нее скрывался Эгон Сobotник, но гестапо обнаружило его. Могу добавить, что в лагере «Ядвига» он был членом подполья и старался записывать все, что делал Кельно.

По комнате поползли новые волны дыма — Линка тоже закурил.

— Известно, что он вышел из лагеря живым.

— И ты думаешь, что он в Чехословакии?

— Все это только предположения, но он почти наверняка должен был поехать в Братиславу и так или иначе встретиться с этой троюродной сестрой по фамилии Конска.

— А почему он исчез?

— На этот вопрос может ответить только Сobotник, если он еще жив.

— И ты хочешь повидаться с этой Конска?

— Да, и если она что-то расскажет и мы найдем Сobotника, мы хотели бы немедленно вывезти его в Лондон.

— Тут будут сложности, — сказал Браник. — Официально мы не имеем к этому процессу никакого отношения, а все, что касается евреев, — дело щекотливое.

Арони выразительно посмотрел Бранику прямо в глаза, и тот не мог не понять, что означал этот взгляд.

— Мы просим оказать нам услугу, — сказал Арони. — В нашем деле услуги обычно бывают взаимными. В один прекрасный день и вам может понадобиться услуга.

«И довольно скоро», — подумал Браник.

Перед рассветом они выехали из Праги и на полной скорости направились в сторону Словакии. Прошло несколько часов. Линка толкнул задремавшего Арони и показал ему на освещенные первыми лучами солнца башни Братиславско-

го замка, который возвышается над Дунаем в том месте, где сходятся Австрия, Венгрия и Чехословакия.

Вскоре после полудня машина остановилась перед домом № 22 по улице Мытна. На двери квартиры № 4 висела табличка: «Лена Конска». Женщина лет шестидесяти с небольшим открыла дверь. Арони с первого взгляда понял, как красива она была тридцать пять лет назад — достаточно красива, чтобы жить с фальшивыми документами. Да, в Братиславе женщины совсем особые.

Линка представилась ей. Она посмотрела на него с тревогой, но без страха.

— А я — Арони из Израиля. Мы приехали, чтобы поговорить с вами об одном важном деле.

17

— Милорд, наша следующая свидетельница будет давать показания по-итальянски.

Ида Перец, полноватая, просто одетая женщина, войдя в зал суда, растерянно остановилась, как останавливается бык, неожиданно оказавшийся посреди арены. Шейла Лэм помахала ей из-за своего стола, но она этого не заметила и, когда приводили к присяге переводчика, обводила взглядом зал, пока не успокоилась, отыскав в заднем ряду какого-то молодого человека. Она слегка кивнула ему, и он кивнул в ответ.

Принеся присягу на Ветхом Завете, она сообщила свою девичью фамилию — Кардозо из Триеста.

— Расскажите, пожалуйста, милорду судье, когда и при каких обстоятельствах вы были отправлены в концлагерь «Ядвига».

Между ней и переводчиком завязался довольно долгий разговор.

— Есть какие-то проблемы? — спросил Гилрей.

— Милорд, — смущенно ответил переводчик, — родной язык мадам Перец — не итальянский. Ее итальянский перемешан с каким-то другим языком, так что я не могу переводить в точности.

— Что же, она говорит по-сербски?

— Да нет, милорд, это какая-то мешанина, немного похожая на испанский, а я его не знаю.

Из задних рядов зала Абрахаму Кейди передали записку; он показал ее О'Коннеру, который, посоветовавшись с Баннистером, встал.

— Вы можете объяснить нам, в чем дело? — спросил его судья.

— Милорд, миссис Перец, по-видимому, говорит на языке, который в ходу в некоторых еврейских колониях Средиземноморья. Это средневековый испанский язык, как идиш в Германии, только менее понятный.

— Хорошо, можем мы найти переводчика и вернуться к этому свидетелю позже?

Последовал оживленный обмен записками.

— Мой клиент имел дело с этим языком и говорит, что он очень редкий, вряд ли мы сможем найти в Лондоне человека, который им владеет. Но здесь, в зале, находится сын миссис Перец, он всю жизнь говорил с матерью на этом языке и сейчас готов переводить.

— Попросите этого господина подойти к судейскому столу.

Сын Абрахама Кейди и подопечный Адама Кельно Терренс Кэмпбелл смотрели, как молодой человек лет девятнадцати-двадцати протискивается по рядам. А сверху, с балкона, за ним наблюдал сын Питера Ван-Дамма. Молодой человек неловко поклонился судье.

— Ваше имя, молодой человек?

— Айзек Перец.

— Как у вас с английским?

— Я студент Лондонского экономического колледжа.

Гилрей повернулся к ложе прессы.

— Я прошу не упоминать в печати о разговоре, который вы только что слышали. Ясно, что эту даму будет легко узнать. Я хотел бы объявить перерыв, чтобы посоветоваться. Сэр Роберт, не можете ли вы и мистер Баннистер зайти ко мне в кабинет вместе с миссис Перец и ее сыном?

Они прошли по парадному коридору, который вел в апартаменты Энтони Гилрея, и застали его там уже без парика. В таком виде он сразу стал похож на вполне заурядного англичанина. Они расселись вокруг стола.

— С вашего разрешения, милорд, — сказал сэр Роберт, — мы готовы считать перевод, который будет делать сын мадам Перец, достаточно правильным.

— Меня сейчас не это смущает. Во-первых, опасение, что ее все же узнают. А во-вторых, это будет тяжелое испытание для них обоих. Молодой человек, вам хорошо известно, что перенесла ваша мать в прошлом?

— Я знаю, что я ее приемный сын и что на ней проводили эксперименты в концлагере. Когда она написала мне, что собирается дать показания, я согласился, что она должна это сделать.

— Сколько вам лет?

— Девятнадцать.

— Вы вполне уверены, что сможете говорить о таких вещах, касающихся вашей матери?

— Это моя обязанность.

— И вы, конечно, понимаете, что в Лондонском экономическом колледже об этом все скоро узнают и в Триесте тоже?

— Моей матери нечего стыдиться, и она не так уж стремится остаться безымянной.

— Понятно. А не скажете ли вы мне — это я спрашиваю просто из любопытства, — наверное, ваш отец располагает большими средствами? Здесь не так уж много студентов из Триеста.

— Мой отец был владельцем маленькой лавки. Мои родители надеялись, что когда-нибудь я буду учиться в Англии или Америке, и всю жизнь трудились, чтобы обеспечить мне образование.

Айзека Переца привели к присяге, и он встал позади стула, где сидела его мать, положив руку ей на плечо.

— Мы примем во внимание родственные связи переводчика и то, что он не имеет профессиональной квалификации. Я надеюсь, что сэр Роберт не будет возражать по этому поводу.

— Конечно, нет, милорд.

Томас Баннистер встал.

— Прочитайте, пожалуйста, номер, который вытатуирован на руке вашей матери.

Юноша не стал смотреть на номер, а сразу назвал его по памяти.

— Милорд, поскольку большая часть показаний миссис Перец идентична показаниям миссис Шорет и миссис Галлеви, я надеюсь, мой высокоученый друг не будет возражать, если я буду задавать наводящие вопросы?

— Возражений нет.

Свидетельница еще раз рассказала всю историю того страшного вечера.

— Вы уверены, что доктор Тесслар при этом присутствовал?

— Да. Я помню, что он гладил меня по голове, когда я смотрела в рефлектор, и там все было красное, как моя кровь. Фосс все повторял по-немецки: «Macht schnell» — «скорее, скорее». Он говорил, что должен доложить в Берлин, сколько операций можно проделать за день. Я немного знаю по-польски, научилась от бабушки, и я поняла, что доктор Тесслар возражает, потому что инструменты не стерилизованы.

— И вы находились в полном сознании?

— Да.

Историю о том, как доктор Вискова и доктор Тесслар выходили их, ее память сохранила во всех подробностях.

— Моей сестре Эмме и Тине Блан-Эмбер было хуже всего. Я никогда не забуду, как Тина кричала и просила пить. Она лежала на соседней койке, и у нее было сильное кровотечение.

— Что произошло дальше с Тиной Блан-Эмбер?

— Не знаю. На следующее утро ее уже там не было.

— Скажите, если бы доктор Кельно приходил в ваш барак, чтобы вас осмотреть, застал ли бы он вас в хорошем настроении?

— В хорошем настроении?

— В своих показаниях он говорил, что всегда заставал своих пациентов в хорошем настроении.

— Господи, да мы же умирали!

— И это не приводило вас в хорошее настроение?

— Нет, конечно.

— Когда вы и ваша сестра снова начали работать на заводе?

— Через несколько месяцев после операции.

— Расскажите нам об этом.

— Капо и эсэсовцы на этом заводе были особенно жестокими. И Эмма, и я еще не успели поправиться. Мы едва дотягивали до конца дня. Потом Эмма стала терять сознание прямо на рабочем месте. Я была в отчаянии и не знала, как ее спасти. Мне нечем было подкупить капо, негде было ее спрятать. Я садилась рядом с ней, поддерживала ее, что-

бы она не упала, часами разговаривала с ней, чтобы она держала голову прямо и двигала руками. Это продолжалось несколько недель. А однажды у нее случился глубокий обморок, и я не могла заставить ее очнуться. И ее забрали... в газовую камеру...

По полным щекам Иды Перец текли слезы. Зал притих.

— Мне кажется, следует объявить короткий перерыв, — сказал судья.

— Моя мать хотела бы продолжать, — возразил юноша.

— Как вы пожелаете.

— Потом, после войны, вы вернулись в Триест и вышли замуж за Йешу Переца, лавочника?

— Да.

— Мадам Перец, мне крайне неприятно, что я вынужден задать следующий вопрос, но он очень важен. В вашем организме произошли какие-то физические изменения?

— Я нашла одного врача-итальянца, который заинтересовался моим случаем и лечил меня целый год. После этого у меня снова начались менструации.

— И вы забеременели?

— Да.

— И что произошло дальше?

— У меня было три выкидыша, и врач сказал, что лучше всего удалить мне другой яичник.

— Минутку, давайте разберемся. Вам облучали оба яичника, не так ли?

— Да.

— Одновременно и в течение одинакового времени — пять — десять минут?

— Да.

— Но если вы смогли зачать, имея облученный яичник, то следует предположить, что оба яичника были вполне жизнеспособны?

— Они не были убиты.

— Таким образом, у вас удалили здоровый и жизнеспособный яичник?

— Да.

Сэр Роберт Хайсмит почувствовал общее настроение. Он сунул Честеру Диксу записку: «Допросите ее сами и крайне осторожно». Дикс не стал особенно докучать свидетельнице своими вопросами и закончил, как и раньше, утверждением, что операцию ей делал не доктор Кельно.

— Вы можете идти, — сказал Гилрей матери и сыну. Когда женщина встала, юноша обнял ее сильной рукой за талию. Все, кто был в зале, встали и стоя провожали их глазами.

18

Когда сэра Фрэнсиса Уодди приводили к присяге, напряжение в зале заметно ослабло. Это был спокойный деловитый человек, который говорил на том же языке, что и все присутствующие.

Брендон О'Коннер встал.

— Сэр Фрэнсис, вы член Королевского колледжа врачей, член Королевского колледжа хирургов, сотрудник кафедры радиологии и профессор терапевтической радиологии Лондонского университета, директор Уэссекского медицинского центра и Института радиотерапии имени Уильямса?

— Да.

— И кроме того, — добавил О'Коннор, — вы были возведены в рыцарское звание за три десятилетия плодотворной работы?

— Да, такая честь была мне оказана.

— Вы читали показания, в которых утверждается, что, если полуквалифицированный технический работник облучает большой дозой рентгеновских лучей семенник или яичник, то, скорее всего, будет затронут и другой семенник и яичник?

— Без всякого сомнения, особенно когда речь идет о семенниках.

— И хирург, удаляя облученный семенник или яичник, в интересах пациента должен удалить и другой?

— Если он исходит из этих соображений. Но я сказал бы, что они необоснованны.

— Скажите, сэр, если яичник или семенник были облучены рентгеном, не важно, какой интенсивности и когда это было — в сорок третьем году или сейчас, — есть какие-нибудь основания опасаться появления в нем раковой опухоли?

— Абсолютно никаких, — решительно ответил сэр Фрэнсис.

Присяжные насторожились. Сэр Адам Кельно сердито нахмурился.

— Значит, абсолютно никаких? — повторил О'Коннер. — Но у специалистов могут быть по этому поводу и иные мнения?

— Только не в сорок третьем году. Да и сейчас я ничего подобного в литературе не встречал.

— Таким образом, ни в сорок третьем году, ни сейчас после облучения семенника или яичника не было и нет абсолютно никаких медицинских оснований удалять этот орган?

— Абсолютно никаких.

— Больше вопросов нет.

Сэр Роберт Хайсмит быстро оправился от полученного удара и зашептался с Честером Диксом. Тот стал копаться в бумагах, а сэр Роберт встал, покачиваясь, по своему обыкновению, с носков на пятки.

— Сэр Фрэнсис, давайте предположим, что мы находимся в Центральной Европе двадцать лет назад и что некий квалифицированный хирург уже несколько лет находится в концлагере, не имея никакой возможности следить за прогрессом медицины. Вдруг он сталкивается с серьезной проблемой радиационных повреждений. Могут у него возникнуть подобные опасения?

— Ну, я в этом сомневаюсь.

— Я предположил бы, что, не будучи радиологом, он мог питать такие опасения.

— Чрезмерные опасения по поводу последствий облучения встречаются довольно часто.

— Но если в сороковом, или сорок первом, или сорок втором году врач попадает в заключение, а потом вдруг сталкивается с экспериментами по радиационной стерилизации?

— Не думаю. Если он действительно квалифицированный врач и хирург. В конце концов, и в Польше студентов учили, что такое рентген.

Хайсмит провел языком по губам и с огорчением вздохнул.

— Но примите во внимание все обстоятельства, сэр Фрэнсис.

— Да нет, это пустые предположения. Никогда не было никакой информации, которая указывала бы на то, что в облученном органе может развиваться рак.

— Но это обсуждали компетентные врачи, и не один, и они решили, что риск может быть.

— Я читал показания доктора Кельно, сэр Роберт. Повидимому, эти опасения насчет рака питает он один.

— Вы хотите сказать, сэр, что в сорок третьем году никто из остальных врачей лагеря «Ядвига» не мог предполагать существования такой опасности?

— По-моему, я ясно выразился.

— Хорошо. Сэр Фрэнсис, какие именно радиационные повреждения могут возникнуть, если процедуру проводит полуквалифицированный технический работник?

— Будут ожоги кожи, а если доза достаточно велика, чтобы повредить яичник, то в первую очередь окажется поврежденным более чувствительный к радиации кишечник.

— А ожоги?

— Да, и они могут быть инфицированы, но безусловно не станут причиной рака.

У Честера Дикса загорелись глаза от радости — он нашел то, что искал. Тронув Хайсмита за плечо, он протянул ему какую-то брошюру. Хайсмит раскрыл ее, и у него отлегло от сердца.

— Вот книга, которая называется «Опасность для человека ядерного и других связанных с ним видов излучения». Я прочитаю вам отрывок из раздела «Рак». Эта книга издана Королевским колледжем хирургов. Вы считаете ее авторитетным изданием?

— Безусловно, считаю, — ответил сэр Фрэнсис. — Я сам ее написал.

— Да, я знаю, — сказал Хайсмит. — Вот об этом я и хочу вас спросить. Потому что здесь говорится, что опасность рака существует.

— Там идет речь об опасности лейкоза у больных анкилостомозом — обычный хирург такими специальными знаниями располагать не может.

— Но в разделе о раке вы приводите еще и результаты обследования лиц, подвергшихся облучению при ядерной бомбардировке Хиросимы, и там были отмечены рост смертности и возрастание частоты некоторых видов рака, в первую очередь рака кожи и органов брюшной полости.

— Если вы читаете, что написано дальше, сэр Роберт, то увидите, что речь идет о латентном раке, который дал о себе знать только девять-десять лет спустя.

— Я полагаю, что у врача из заключенных последствия некавалифицированного облучения все же могли вызвать опасения.

— На мой взгляд, это скорее отговорка.

Хайсмит понял, что лучше не продолжать.

— Вопросов больше нет.

Встал О'Коннер.

— Сэр Фрэнсис, та статистика, которую вы приводите в своей брошюре, — откуда она?

— Из доклада американской комиссии по последствиям атомной бомбардировки.

— И каковы были ее выводы?

— Частота возникновения лейкоза у облученных меньше трети процента.

— И эти данные были опубликованы только через много лет после войны?

— Да.

— Вы читали материалы Нюрнбергского процесса над врачами — военными преступниками, касающиеся этой темы?

— Читал.

— И какие выводы были сделаны там?

— Никаких данных, подтверждающих, что облучение может стать причиной рака, не существует.

19

Стоявший на свидетельской трибуне Даниэль Дубровски казался олицетворением бесконечного страдания, жалкой тенью когда-то здорового, крепкого мужчины, каким-то недоушевленным существом, растением. За последние двадцать лет он, наверное, ни разу не улыбнулся. Голос его был так тих, что Баннистеру и судье снова и снова приходилось просить его говорить погромче.

Он назвал свое место жительства — Кливленд в США — и место рождения — Волковыск, тогда принадлежавший Польше, а теперь Советскому Союзу. К началу Второй мировой войны он был женат, имел двух дочерей и преподавал романские языки в еврейской гимназии.

— Что произошло с вами в сорок втором году?

— Меня вместе с семьей переселили в варшавское гетто.

- А позже вы приняли участие в восстании?
- Да, весной сорок третьего там начался мятеж. Те из нас, кто к тому времени был еще жив, жили в глубоких подземных бункерах. Соппротивление немцам длилось больше месяца. В конце концов, когда все гетто уже горело, я по канализационным трубам бежал в леса и вступил в отряд польских партизан.
- И что дальше?
- Поляки не хотели, чтобы евреи воевали вместе с ними. Нас выдали. Гестаповцы схватили нас и отправили в концлагерь «Ядвиг».
- Продолжайте, и погромче, пожалуйста.
- Даниэль Дубровски уронил голову на грудь, и все услышали приглушенные рыдания. Гилрей предложил объявить перерыв, но Дубровски жестом показал, что будет продолжать, и постарался взять себя в руки.
- Милорд судья и мой высокоученый друг не будут возражать, если мы избавим мистера Дубровски от необходимости пересказывать подробности гибели его жены и дочерей?
- Возражений нет.
- Я могу задавать свидетелю наводящие вопросы?
- Возражений нет.
- Верно ли, что летом сорок третьего года вас перевели с завода боеприпасов в третий барак, а затем подвергли облучению в пятом бараке и удалили семенник путем такой же операции, как и предыдущим свидетелям?
- Да, это верно, — прошептал Дубровски.
- И доктор Тесслар присутствовал при операции, а затем навещал вас?
- Да.
- Через три месяца после удаления у вас одного семенника вы и Моше Бар-Тов, который тогда носил имя Германа Паара, были вторично подвергнуты облучению?
- Да.
- Из показаний мистера Бар-Това мы можем заключить, что после первого раза он не был стерилизован и что полковник Фосс хотел сделать еще одну попытку. Возможно, и вы тоже еще не были стерилизованы. Был ли второй сеанс облучения более длительным, чем первый?
- Он продолжался примерно столько же времени, но я слышал, как они говорили между собой, что доза была больше.

— Расскажите милорду судье и господам присяжным, что произошло дальше.

— После второго облучения у нас не осталось сомнений, что рано или поздно нас снова будут оперировать и превратят в евнухов. Менно Донкера уже кастрировали, и мы знали, что нас тоже не пощадят. Однажды утром у нас в бараке был обнаружен труп — один из заключенных ночью умер, такое бывало часто. Доктор Тесслар пришел ко мне и сказал, что можно подкупить охранников и подделать свидетельство о смерти. Его можно было выписать на имя Германа Паара или на мое — только мы двое ждали второй операции. Я решил, что спасать нужно Германа Паара. Он был моложе и имел шансы выжить. Я уже пожил свое и имел семью.

— Значит, Герман Паар принял фамилию покойного, и вторую операцию ему так и не сделали, а вам сделали. Паар знал об этом решении?

Дубровски пожал плечами.

— Простите, — сказал судья, — но стенограф не может записывать жесты.

— Он был еще совсем мальчишка. Я не говорил с ним об этом. По человеческим законам у меня не было выбора.

— Расскажите о вашей второй операции.

— На этот раз за мной пришли четыре охранника-эсэсовца. Меня избили, связали, сунули в рот кляп и оттащили в пятый барак. Там кляп изо рта вынули, потому что я начал задыхаться, потом сняли с меня штаны и заставили нагнуться, чтобы сделать укол в позвоночник. Я закричал и упал.

— А что случилось?

— У них сломалась игла.

Всем в зале стало не по себе. Все чаще взгляды присутствующих направлялись на Адама Кельно, который старался, как мог, их избегать.

— Продолжайте, сэр.

— Я корчился от боли, лежа на полу, а потом услышал, как кто-то, стоя надо мной, говорит по-польски. Судя по телосложению и голосу, это был тот же врач, который оперировал меня в первый раз. На нем были белый халат и маска. Он выражал недовольство, что ему приходится ждать. Я стал просить его пощадить меня.

— И что он ответил?

- Он ударил меня ногой в лицо и обругал по-польски.
- Что он сказал?
- «Przestań czekać jak pies, i tak i tak umrzesz».
- Что это значит?
- «Перестань выть, как собака. Все равно помрешь».
- Что случилось дальше?
- Мне сделали укол другой иглой и положили на носилки. Я снова стал просить не делать мне вторую операцию. Я говорил: «Dlaczego mnie operujecie jeszcze raz, przecie jużście mnie raz operowali» — «Зачем оперировать меня опять, меня уже оперировали». Но он продолжал меня ругать и обращался со мной грубо.
- В лагере вы привыкли, что немцы так с вами разговаривают?
- Только так.
- Но вы поляк, и этот доктор был поляк.
- Не совсем так. Я еврей.
- Сколько времени ваши предки жили в Польше?
- Почти тысячу лет.
- Вы могли ожидать, что польский врач будет так с вами разговаривать?
- Я ничуть не удивился. Я хорошо знаю польских анти-семитов.
- Прошу господ присяжных, — прервал его Гилрей, — выбросить из головы последнюю фразу. Вы согласны, мистер Баннистер?
- Да, милорд. Продолжайте, мистер Дубровски.
- Тут вошел Фосс в эсэсовской форме, и я стал просить его. Тогда врач сказал мне по-немецки: «Ruhig».
- Вы хорошо владеете немецким?
- В концлагере узнаешь много немецких слов.
- Что он хотел сказать?
- «Молчи».
- Я должен вмешаться, — сказал сэр Роберт. — Эти показания снова содержат намек на недоказанный факт — будто операции производил доктор Кельно. На этот раз мой высокоученый друг пытается доказать даже не то, что при операции присутствовал доктор Тесслар, а то, что, по мнению свидетеля, ее делал тот же врач, который оперировал его в первый раз. Этот намек еще осложняется тем, что разговор велся по-польски: Я полагаю, что свидетель весьма вольно перевел слова врача. Например, слово «ruhig» можно

встретить в стихотворении Гейне «Лорелея», и там оно означает «плавно». «Плавно несет свои воды Рейн». Если бы этот человек хотел сказать «заткнись», он сказал бы скорее «halt Maul».

— Понимаю, сэр Роберт. Я вижу среди присутствующих доктора Лейбермана. Будьте добры, подойдите к трибуне и помните, что вы еще под присягой. Немецкий — ваш родной язык, не так ли, доктор Лейберман?

— Да.

— Как бы вы перевели «ruhig»?

— В данном контексте это приказ замолчать. Любой, кто побывал в концлагере, это подтвердит.

— Чем вы сейчас занимаетесь, мистер Дубровски?

— У меня лавка подержанной одежды в негритянском квартале Кливленда.

— Но вы все еще имеете право преподавать романские языки?

— Я больше ничего не хочу... Может быть... Может быть, поэтому я и пошел на вторую операцию вместо Паара... Я был уже мертвый. Я умер, когда у меня отняли жену и дочерей...

Доктор Лейберман и Абрахам Кейди вышли из зала и попросили Моше Бар-Това зайти с ними в совещательную комнату. Пока продолжался допрос Даниэля Дубровски, они рассказали ему, какую жертву принес ради него этот человек.

— О Господи! — вырвалось у него, и он принялся, плача, колотить кулаками по стене. Через некоторое время дверь открылась, и вошел Дубровски.

— Я думаю, нам лучше оставить их наедине, — сказал Эйб.

20

«Они все уже уехали, кроме Хелены Принц, той женщины из Антверпена. С ней доктор Сюзанна Пармантье, так что за нее можно не беспокоиться.

Они разбегались кто куда — в Израиль, в Голландию, в Триест. Мне будет чертовски не хватать доброго доктора Лейбермана.

Моше Бар-Тов уехал, все еще потрясенный тем, что узнал на суде. Он уговорил Даниэля Дубровски приехать погостить к нему в кибуц, чтобы окружить его любовью и искупить слезами свою вину перед ним — человеком, благодаря которому он остался мужчиной.

Когда я их проводил, вокруг стало как-то пусто. Позади остались прощальный ужин, тосты, подарки на память и слезы. То, что они здесь совершили, потребовало от них какого-то особого мужества, которого я до сих пор не понимаю. Но я знаю, что теперь они вошли в историю.

Особенно тяжело пережила расставание с ними Шейла Лэм. С самого их приезда она взяла на себя заботу о них и делала все, чтобы они не пали духом и не чувствовали себя чужими. Она присутствовала при медицинском освидетельствовании женщин. Увидев шрамы, оставшиеся у них после операций, она ни на секунду не выдала того ужаса и отвращения, которые ее охватили.

На прощальном ужине у леди Сары Шейла вдруг выскочила из-за стола, убежала в ванную и разрыдалась. Женщины пошли за ней. Она соврала, что плохо себя чувствует из-за приближающейся менструации. Ни у кого из них менструаций не было уже двадцать лет, поэтому они очень разволновались, и все кончилось смехом.

Мне не позволили поехать в Хитроу их провожать. Не знаю почему — у англичан свои соображения.

Мы с Беном без конца бродили по набережной Темзы, пытаясь осмыслить все происходящее. Когда мы дошли до Темпла, был уже час ночи, но в конторах Томаса Баннистера и Брендона О'Коннера еще горел свет. Хотите знать, что это за люди? О'Коннер в последний раз провел вечер со своей семьей за две недели до начала процесса. Он снял маленький номер в отеле поблизости, чтобы можно было работать круглые сутки. Нередко и спал он на диване в своей конторе.

Каждый день после заседания Шейла расшифровывала стенограмму показаний, которую вела, и приносила в Темпл. О'Коннер, Александер и Баннистер изучали ее и намечали планы на следующий день. А вечером, в одиннадцать часов, они собирались и совещались до двух-трех часов ночи. Больше всего они радовались выходным — тогда можно было работать вообще без перерывов.

А Шейла? Ее рабочий день начинался в семь утра в отеле, где она жила вместе со свидетелями. Она завтракала с ними,

успокаивала их перед заседанием, доставляла в суд, выполняла там свои секретарские обязанности, потом расшифровывала стенограммы показаний, обедала с ними и водила их по театрам, музеям, к нам в гости, а в выходные увозила за город. Каждый вечер она была с ними — утешала женщин, выпивала с мужчинами, делала все, что было нужно. Она на моих глазах постарела от боли за них, боли, которая постоянно ее терзала.

Мне очень нравятся англичане. Не могу себе представить, чтобы эти люди пошли против меня. Посмотрите на очереди, которые бывают на Оксфорд-стрит. Никто не толкается, никто не пытается пролезть вперед. Сорок миллионов на маленьком острове с таким климатом, который сводит с ума даже скандинавов. И порядок, в основе которого — уважение к другим, и разумные потребности и желания, венец которых — возведение в рыцарское звание.

Посмотрите, как спокойно они относятся к молодому поколению. Ведь все это началось в Англии. Пожилые мужчины с усами, в деловых костюмах, котелках и с зонтиками стоят в тех же очередях, а перед ними — девка в юбке, которая не прикрывает задницы, а за ними — парень, одетый, как девка.

Навстречу нам попался полицейский, который вежливо дотронулся пальцем до козырька. Он был без пистолета — можете вы представить себе такое в Чикаго?

Даже демонстранты здесь подчиняются правилам. Они выражают свой протест почти без насилия. Не бьют стекла, ничего не поджигают и не дерутся с полицией. Они возмущены, но справедливы. И полиция тоже их не колотит.

Какого черта, никогда британские присяжные не дадут меня в обиду!»

Вернувшись к себе в квартиру, Бен с отцом были готовы проговорить всю ночь.

— А как насчет Ванессы и Йосси? Будет она счастлива с этим парнем?

— Он офицер-десантник, — сказал Бен. — Он всю жизнь прожил в Израиле, прижатом к морю. Ты же видишь — его голыми руками не возьмешь. Я думаю, ему было полезно здесь побывать. Посмотреть на добрых, любезных и мудрых людей. Он старается не показывать вида, но Лондон произвел на него большое впечатление. Теперь, когда он все это повидал, он сможет больше перенять от Ванессы.

— Надеюсь. Он парень с головой. — Эйб налил себе виски. Бен прикрыл свой стакан рукой в знак того, что больше не хочет. — Ты усвоил в Израиле дурные привычки — например, не пить.

Бен от души рассмеялся, но потом снова стал серьезным.

— Нам с Винни не нравится, что ты живешь совсем один.

Эйб пожал плечами.

— Я писатель. Я всегда одинок, даже в шумной компании. Такая уж моя судьба.

— Может быть, тебе было бы не так одиноко, если бы ты иногда смотрел на женщин вроде леди Сары так, как она смотрит на тебя.

— Не знаю, сынок. Может быть, мы с твоим дядей Бенном, да и ты тоже, такими уж родились. Никто из нас не может выдержать светского общения с женщиной дольше пятнадцати минут. Они хороши только для того, чтобы с ними спать, да и то не все. Штука в том, что нам больше нравится быть с мужиками. На авиабазах, в спортзалах, в барах — там, где не приходится слушать бабью болтовню. Попадают иногда женщины вроде Сары Видман, настоящие женщины, но и этого оказывается мало. Быть в одно и то же время и женщиной и мужиком она не может. Но даже если бы она понимала, что мне нужно, то, мне кажется, ни одна женщина не заслужила такой поганой участи — быть женой писателя. Я испортил жизнь твоей матери. Если женщина способна что-то мне дать, я вычерпываю ее до дна. Я счастлив быть писателем, но я ни за что не хотел бы, чтобы моя дочь вышла за такого человека замуж.

Эйб вздохнул и отвернулся, боясь заговорить о том, что мучило его весь день.

— Я видел тебя и Йосси с военным атташе израильского посольства.

— Положение там не очень хорошее, папа, — сказал Бен.

— Это все сукины дети русские, — сказал Эйб. — Они их подначивают. Господи, когда же мы получим хоть один день мира?

— На небесах, — шепотом сказал Бен.

— Бен... Послушай меня, сынок. Ради Бога... Не рвись в герои!

Не выпавшиеся, с воспаленными глазами, Абрахам Кейди и Бен вошли в здание суда. Мужской туалет находился в коридоре, между двумя совещательными комнатами. Подойдя к писсуару, Эйб почувствовал, что у него за спиной кто-то стоит, и оглянулся через плечо. Это был Адам Кельно.

— Вы видите эту пару еврейских яиц? — сказал Эйб. — Так вот, они вам не достанутся!

— Прошу тишины!

Элен Принц была миниатюрна, изящно одета и вошла в зал суда увереннее, чем все другие свидетельницы. Среди них она, казалось, играла роль лидера, но сейчас Шейла видела, что она испытывает сильнейшее внутреннее напряжение и в любой момент готова сорваться.

Через переводчика — ее родным языком был французский — она сообщила, что родилась в Антверпене в 1922 году, и прочитала вытатуированный у нее на руке лагерный номер. Это повторялось уже много раз, но неизменно производило на всех глубокое впечатление.

— Вы продолжали носить свою девичью фамилию Блан-Эмбер, хотя и вы, и ваша сестра Тина вскоре после начала войны вышли замуж?

— Ну, мы не совсем по-настоящему вышли замуж. Видите ли, немцы стали первыми забирать супружеские пары, поэтому и сестру, и меня раввин обвенчал тайно, официально наш брак зарегистрирован не был. Оба наших мужа погибли в Освенциме. А после войны я вышла замуж за Пьера Принца.

— Я могу задавать свидетельнице наводящие вопросы? — спросил Баннистер.

— Возражений нет.

— Весной сорок третьего года вас и вашу сестру Тину перевели в третий барак и подвергли облучению. Теперь мы точно знаем, что это было сделано за некоторое время до того, как в бараке появились еще две пары близнецов — сестры Ловино и сестры Кардозо из Триеста.

— Совершенно верно. Нас облучали и оперировали задолго до того, как появились другие близнецы.

- Все это время вы находились в ведении женщины-доктора, польки Габриэлы Радницки. Она покончила с собой, и ее сменила Мария Вискова?
- Правильно.
- Далее, примерно через месяц после облучения вас отвели в пятый барак. Расскажите нам, что произошло там.
- Нас осмотрел доктор Борис Дымшиц.
- Откуда вы знаете, что это был доктор Дымшиц?
- Он сказал нам, кто он.
- Вы помните, как он выглядел?
- Он был очень стар, слаб и рассеян. Я помню, что у него на руках была экзема.
- Продолжайте, пожалуйста.
- Он отправил нас с Тиной обратно в третий барак. Он сказал, что радиационные ожоги еще недостаточно зажили, чтобы делать операцию.
- При этом кто-нибудь присутствовал?
- Да, Фосс.
- Он не возражал, не велел ему все равно делать операцию?
- Он выразил недовольство, но больше ничего не сказал. Через две недели черные пятна ожогов стали бледнеть, и нас снова отвели в пятый барак. Доктор Дымшиц сказал, что будет нас оперировать, и обещал оставить нетронутым здоровый яичник. Мне сделали какой-то укол в руку, и я стала совсем сонная. Потом я помню, что меня на каталке отвезли в операционную и усыпили.
- Вы знаете, чем?
- Хлороформом.
- Сколько времени после этой операции вы провели в постели?
- Много, много недель. У меня были осложнения. Доктор Дымшиц часто нас навещал, но в полутьме он почти ничего не видел. Он быстро слабел.
- И потом вы узнали, что его отправили в газовую камеру?
- Да.
- А доктор Радницки покончила с собой?
- Да, прямо в бараке.
- И ближе к концу года, после того, как в третьем бараке появились сестры Ловино и Кардозо, вас снова подвергли облучению?

— На этот раз Тина и я были в панике. Я билась, как могла. Мы с Тиной вцепились друг в друга, меня оторвали от нее и сделали укол в позвоночник. Но обезболивания не получилось — я все равно все чувствовала.

— Укол не подействовал?

— Да.

— И когда вас взяли в операционную, вам ничего не дали, чтобы вас усыпить?

— Я была в ужасе. Я все чувствовала и сказала им об этом. Мне удалось сесть и слезть со стола. Тогда двое из них скрутили мне руки за спиной и снова насильно положили на стол. Врач несколько раз ударил меня по лицу и в грудь и крикнул во весь голос: «Verfluchte Judin!» — «Проклятая жидовка!» Я умоляла его убить меня, потому что боль была нестерпимой. Только благодаря доктору Тесслару я смогла выжить.

— После операции вам было очень плохо?

— У меня был сильнейший жар и бред. Я словно в тумане помню, как кричала Тина... и больше ничего не помню. Не знаю, сколько прошло времени, прежде чем я начала что-то соображать. Наверное, много дней. Я спросила про Тину, и тогда доктор Вискова сказала, что Тина умерла от кровотечения в первую же ночь.

Она закачалась на стуле, колотя кулаками по трибуне, потом вскочила и, указывая пальцем на Адама Кельно, закричала отчаянным голосом:

— Убийца! Убийца!

Эйб, расталкивая всех, кинулся по проходу к трибуне и схватил ее в охапку.

— Хватит! Я забираю ее отсюда!

Судебный пристав вопросительно посмотрел на судью, который жестом велел ему не вмешиваться. Когда Эйб уводил ее прочь из зала, она плакала и просила у него прощения за то, что так его подвела.

Гилрей хотел сделать ответчикам предупреждение, но не смог. Вместо этого он спросил сэра Роберта:

— Вы намерены подвергнуть эту свидетельницу перекрестному допросу?

— Нет. Очевидно, что она слишком расстроена и не может продолжать свои показания.

— Присяжные все видели и слышали, — сказал судья устало. — Они вряд ли это забудут. Господа присяжные,

сэр Роберт только что поступил так, как должен был поступить английский адвокат. В своем заключительном резюме я буду просить вас иметь в виду, что эта свидетельница не подвергалась перекрестному допросу. Закончим на сегодня?

22

— Я хотел бы вызвать свидетелем мистера Бэзила Марвика, — сказал Брендон О'Коннер.

Судя по одежде и манерам, Марвик был истинным британцем старой школы. Он принес присягу на Новом Завете и сообщил свое имя и адрес. Было объявлено, что он известный анестезиолог, профессор, автор многочисленных научных публикаций.

— Разъясните, пожалуйста, милорду судье и господам присяжным, какие существуют типы наркоза.

— Пожалуйста. Есть общий наркоз, когда пациента усыпляют, и местное обезболивание, когда лишают чувствительности ту часть тела, на которой производится операция.

— Выбор между этими двумя методами делает хирург, и если он не имеет возможности проконсультироваться с анестезиологом, то принимает решение один?

— Да. Иногда он дает комбинированный наркоз.

— Какие средства для общего наркоза, позволяющие усыпить пациента, имелись в сороковые годы в Центральной и Восточной Европе?

— Эфир, хлористый этил, хлороформ, эвипал, закись азота в смеси с кислородом и некоторые другие.

— Я должен вмешаться, — сказал Хайсмит, вставая. — Мы слышали показания двух хирургов из лагеря «Ядвига», в которых говорилось, что средств для общего наркоза у них, как правило, не было.

— А мы это оспариваем, — возразил О'Коннер.

— Понимаю, — сказал Гилрей и задумался. — Вы утверждаете, что в лагере «Ядвига» было достаточное количество средств для общего наркоза?

— Да, мы же слышали показания свидетелей, представленных доктором Кельно, — они говорили, что их усыпляли, — сказал О'Коннер. — Мы слышали показания миссис

Принц, что во время первой операции, сделанной доктором Дымшицем, ее тоже усыпили. Я утверждаю, что доктор Кельно не располагал средствами для общего наркоза только в тех случаях, когда речь шла о пациентах-евреях.

— Мистер О'Коннер, я разрешаю вам продолжать, но имейте в виду, что это рискованная тактика. Я обращаю внимание господ присяжных, что пока утверждение защиты не доказано, показания мистера Марвика в этой части могут служить лишь для общей информации.

О'Коннер, не позаботившись поблагодарить судью, продолжал:

— Значит, одни средства наркоза применяются при коротких операциях, а другие — при длительных?

— Да. Это решает хирург.

— Вы сказали, какими средствами для общего наркоза располагали хирурги в этой части Европы в сороковых годах. А какие местные обезболивающие средства были тогда?

— Прокаин, известный также под названием «новокаин»; — его чаще всего применяют зубные врачи. Были еще — дайте вспомнить — перкаин, понтокаин, децикаин и другие.

— И все они использовались для спинномозгового обезболивания?

— Да. Когда их вводят в спинной мозг, они делают прилежащие нервные стволы нечувствительными.

— А как это, собственно, делается?

— Ну, в своей практике я всегда стараюсь причинять как можно меньше боли пациенту. Для этого я сначала через очень тонкую иглу ввожу немного местного обезболивающего средства, чтобы лишить чувствительности ту область, куда потом будет введена более толстая игла, необходимая для глубокого проникновения в ткани.

— Вернемся опять в сороковые годы. Был ли тогда в Польше обычной практикой предварительный укол тонкой иглой перед основной обезболивающей инъекцией?

— Безусловно. Так говорится во всех учебниках — и того времени, и нынешних.

— Вы слышали или читали показания свидетелей — четырех женщин и шести мужчин, ставших жертвами экспериментов в концлагере «Ядвиг». Если бы вы там работали, вы бы делали предварительный укол морфия?

— Я, вероятно, отказался бы там работать. Не знаю. Но во всяком случае, в тех обстоятельствах морфий был необходим.

— Благодарю вас. И вы бы применили для таких операций местный или общий наркоз?

— Милорд, — вмешался Хайсмит, — мы снова возвращаемся к тому, о чем уже шла речь. Мой клиент в своих показаниях говорил, что перед спинномозговым обезболиванием делал предварительный укол морфия.

— Что многие свидетели отрицают, — возразил О'Коннер.

— Здесь пока еще не было доказано, что те операции делал доктор Кельно, — не уступал Хайсмит.

— Это мы и намерены доказать, — ответил О'Коннер. — Каждый из наших десяти свидетелей утверждал — и это не было подвергнуто сомнению, — что в операционной находился доктор Тесслар. Вы знакомы с письменным заявлением доктора Тесслара и знаете, какие показания он даст.

— Я должен сделать ту же самую оговорку, — вмешался Гилрей. — Все это господа присяжные должны считать лишь теоретическим мнением специалиста, а не доказательством. В своем резюме я подведу итоги тому, доказано ли участие доктора Кельно в этих операциях или нет.

— Но, мистер Марвик, вы бы применили общий наркоз? — настаивал О'Коннер.

— Да.

— Не спинномозговое обезбоживание?

— Нет.

— А почему вы бы решили их усыпить?

— Из соображений гуманности.

— Болезненна ли инъекция в спинной мозг без предварительного обезболивающего укола?

— Крайне болезненна.

— Сколько раз вы применяли спинномозговое обезбоживание?

— Полторы-две тысячи раз.

— Всегда ли легко точно найти место, куда надо ввести толстую иглу?

— Нет, это нужно делать очень осторожно.

— Стали бы вы делать спинномозговое обезбоживание, если пациент кричит и бьется?

— Безусловно, нет.

— Почему?

— Место введения иглы должно быть выбрано с исключительной точностью. Она вводится между двумя костями, пространства для маневра там почти нет. Ее надо вводить по средней линии позвоночника, под определенным углом к нему. Без содействия пациента это нельзя сделать. Это просто невозможно. Понимаете, при любом резком движении пациента игла может сломаться.

— Вы слышали одно из показаний, где говорилось, что игла сломалась. Что при этом может произойти?

— Если она переламывается под кожей, в тканях, это ужасная катастрофа. Она может вызвать неизлечимое увечье, если ее не извлечь. Боль при этом будет невыносимой. Ну, а если игла переламывается снаружи, то обломок просто вытаскивают.

— Вы слышали и читали показания нескольких свидетелей, где говорится, что они до сих пор испытывают боли.

— Если учесть, как с ними обращались, в этом нет ничего удивительного.

— Можете ли вы продемонстрировать суду иглы, какие применялись в сороковых годах?

Марвик вынул набор игл и показал сначала тонкую — для предварительного укола, а потом толстую. Они были зарегистрированы как вещественное доказательство и переданы присяжным. Судя по тому, с каким содроганием те рассматривали иглы, передавая их друг другу, этот маневр произвел желаемое действие.

— Верно ли, что при спинномозговом обезболивании очень важно заботиться о том, чтобы обезболивающее средство оставалось в нижней части тела?

— Да. Если оно, скажем, распространится до уровня груди, то может вызвать падение кровяного давления, вследствие чего мозг окажется обескровлен, пациент почувствует головокружение и потеряет сознание.

— Вы слышали показание мистера Бар-Това, что он потерял сознание. Может ли быть, что причина была именно в этом?

— Да, конечно.

— И вы слышали других свидетелей, которые говорили, что находились в полном сознании. Вас это не удивляет?

— В их показаниях — нет.

- При операциях всегда вводят морфий?
- Всегда.
- Возможно ли, чтобы люди, получившие укол морфия, стояли в очереди, дожидаясь операции?
- Разумеется, нет.
- А если они страдали от недоедания и были ослаблены грубым обращением, должен ли был морфий оказать на них более сильное действие?
- Скорее всего, он должен был их сильно одурманить.
- Им, конечно, было бы труднее сопротивляться после введения морфия?
- Они, вероятно, могли бы, но не так эффективно.
- Вопросов больше нет.

Хайсмит встал. Адам Кельно не сводил глаз с игл, которые присяжные, рассмотрев их, передали адвокатам. Руки у него дернулись, словно он испытал непреодолимое желание взять иглу. Смидди тронул его за плечо, и он перевел взгляд на Марвика.

— Мистер Марвик, вы слышали или читали показания доктора Боланда в пользу доктора Кельно?

— Да.

— Как специалист считаете ли вы доктора Боланда также высококвалифицированным в данной области?

— Да.

— Вы слышали, как он сказал, что сам дважды подвергался спинномозговому обезболиванию перед операциями и оба раза ему не вводили морфия. Он показал также, что такой предварительный укол мало влияет на состояние пациента.

— Да, он так сказал.

— Вы с ним не согласны?

— Ну, даже ваш клиент доктор Кельно с ним бы не согласился, верно? И я тоже с ним безусловно не согласен.

— Но вы подтвердите, что сейчас в Англии среди квалифицированных анестезиологов существуют два разных мнения на этот счет?

— Да, у него свое мнение.

— Отличающееся от вашего?

— Да.

— Доктор Боланд в своих показаниях утверждает, что при правильном введении острой иглы инъекция в спин-

ной мозг не причиняет большой боли. Что вы на это скажете?

— Это возможно, если инъекция производится в абсолютно идеальных условиях.

— Опытным хирургом, который делает это быстро?

— Как раз наоборот, сэр Роберт, это надо делать медленно. Надо осторожно, на ощупь искать нужное место. У меня на это иногда уходило по десять минут, и было много случаев, когда хорошие специалисты так и не могли попасть, куда надо.

— Вам было задано много вопросов о хирургических операциях, проведенных в лагере «Ядвига». Верно ли, что, если бы вы были хирургом в лагере, испытывали непрерывное давление и не имели анестезиолога и вообще никого, кто умел бы давать общий наркоз, то имело смысл делать спинномозговое обезбоживание? Я хочу сказать, что хирург не может делать сразу две вещи, не правда ли? Он не может оперировать и одновременно давать наркоз?

— Ну, если так ставить вопрос, то да.

— И во время операции он не может просто отдать эфир или хлороформ в руки неквалифицированного помощника?

— Вы совершенно правы: чтобы давать общий наркоз, нужен квалифицированный ассистент.

— А спинномозговое обезбоживание вполне обеспечивает нормальные условия для работы хирурга, не правда ли?

— Да.

— Особенно когда хирург испытывает давление или ему мешают?

— Да.

— Где вы работали в сороковом — сорок первом?

— В Военно-воздушных силах.

— В Англии?

— Да. Между прочим, я припоминаю, что делал обезбоживание одному из ответчиков, когда его самолет разбился.

— И условия там были не такие, как в лагере «Ядвига», не так ли?

— Нет.

— Но даже в Англии в те годы доктор Боланд делал спинномозговое обезбоживание без предварительного укола морфия. Это вас не удивляет?

— Нет, но мне от этого становится не по себе.

— Таким образом, мы имеем здесь показания двух квалифицированных специалистов-анестезиологов, которые диаметрально противоположны. Два разных мнения, и оба правильны.

Хайсмит сел. О'Коннер поспешно листал какую-то книгу, лежавшую среди его бумаг. Попросив судебного пристава передать по экземпляру сэру Роберту и Марвику, он начал:

— Прежде чем мы перейдем к этой книге, написанной доктором Боландом, я хочу напомнить о показаниях доктора Кельно, которые вы читали или слышали. Там говорилось, что ему не хватало квалифицированных ассистентов и что главным образом поэтому он выбирал спинномозговое обезболивание и делал его сам.

— Да.

— Вы также слышали или читали показания доктора Лотаки, где говорилось, что он много раз ассистировал доктору Кельно во время этих операций.

— Да.

— Как ваше мнение — если судить по биографии доктора Лотаки, достаточно ли он квалифицирован, чтобы давать общий наркоз и держать пациента в бессознательном состоянии на всем протяжении операции?

— Доктор Лотаки вполне квалифицирован.

— Значит, то, что у доктора Кельно не было квалифицированных ассистентов, — это на самом деле не причина, а отговорка.

В первый раз с начала процесса сэр Роберт Хайсмит сердито посмотрел на Адама Кельно. «Что это — откровенная ложь или мы что-то упустили при подготовке показаний?» — подумал он.

О'Коннер раскрыл книгу.

— Эта работа доктора Боланда была опубликована в срок втором году и называется «Новые успехи в области анестезии».

— Мне кажется довольно странным, — вмешался Хайсмит, — что никаких вопросов по поводу этой книги не было задано доктору Боланду, когда он давал показания.

— При всем уважении к моему высокоученому другу, — ответил О'Коннер, — мы не собирались изучать все книги, написанные английскими анестезиологами, и не знали, что доктор Боланд будет вызван в качестве свидетеля со сторо-

ны истца. Если бы вы уведомили бы нас об этом заранее, мы бы непременно затронули этот вопрос.

— Хорошо, но я считаю, что вряд ли уместно спрашивать мистера Марвика о чем-то таком, что написал доктор Боланд и чего он не может сейчас разъяснить сам.

— Вы можете снова вызвать доктора Боланда на свидетельскую трибуну, сэр Роберт, — сказал судья. — Мы не будем против этого возражать.

Хайсмит опустил на стул.

— Я обращаю ваше внимание на страницу двести пятьдесят четыре, абзац третий. Я цитирую: «Такие методы местного обезболивания, как спинномозговой, никогда не должны применяться», — я повторю: никогда не должны! — «без предварительной психологической подготовки пациента, иначе это может привести к психическому шоку, и известны случаи потери рассудка пациентом». И дальше на этой странице он пишет: «В случае, когда пациент находится в состоянии крайнего нервного напряжения или испуга, следует прибегнуть к общему наркозу. Если, однако, хирург отдает предпочтение спинномозговому обезболиванию, то необходима предварительная инъекция одного с четвертью грама морфия». Я хочу сказать, что в тех условиях, о которых шла речь, ваше мнение и мнение доктора Боланда отнюдь не диаметрально противоположны.

— Да, наши мнения совершенно совпадают, — согласился мистер Марвик.

23

Анджела приподняла уголок занавески и выглянула на улицу. Оба были на месте, на противоположном тротуаре, — полицейский в штатском из Скотланд-Ярда и частный детектив, нанятый Польской ассоциацией для охраны дома. Все их телефонные звонки теперь контролировала полиция.

После первых дней процесса их стали засыпать угрозами по телефону, а затем последовали злобные письма. Кое-кто даже являлся лично, чтобы излить свою ненависть к Адаму Кельно.

Скотланд-Ярд заверил их, что все само собой уляжется после окончания процесса. Тем не менее Анджела, всяче-

ски старавшаяся поднять дух семьи, заявила, что им надо будет сразу же уехать на год в кругосветное путешествие и потом обосноваться в каком-нибудь маленьком городке, где их никто не будет знать. Адам, у которого заметно сдали нервы, не возражал. Всего через несколько лет Стефан получит диплом архитектора, и Адам сможет подумать о том, чтобы уйти на покой. К сожалению, с идеей передать свою практику Терренсу Кэмпбеллу ему, скорее всего, придется распрощаться. Но в глубине души он всегда знал, что Терренс хочет вернуться в Саравак, к отцу, и лечить туземцев.

Хотя на заседаниях суда Адам казался бесстрастным, Анджела все эти ночи спала лишь урывками и очень чутко, готовая в любой момент успокоить его и помочь в борьбе с постоянно возвращавшимися кошмарами.

В тот вечер за ужином они почти ничего не ели, их огорчала мысль о том, что Стефан не сможет вернуться в Англию.

— Как вы думаете, доктор, сколько еще времени это может продолжаться? — спросил Терренс.

— Еще неделю, может быть, дней десять.

— Все равно скоро конец, — сказала Анджела, — а чтобы легче было до него дожить, вам надо как следует есть.

— Наверное, у вас в больнице идут всякие разговоры?

— Ну, вы же знаете, как это бывает, — ответил Терри.

— А что говорят?

— Откровенно говоря, у меня не было времени слушать — мне хватает своей работы. Мы с Мэри разошлись, и думаю, что навсегда.

— Мне очень жаль это слышать, — сказала Анджела.

— Да нет, ничуть вам не жаль. Так или иначе, я хотел бы оставаться здесь, с вами, раз уж Стефан не сможет приехать.

— Ну, ты же знаешь, что мы будем очень рады, — сказала Анджела.

— А что произошло у вас с Мэри? — спросил Адам.

— Да ничего особенного, — солгал Терри. — Мы просто поняли, что друг без друга чувствуем себя куда свободнее.

Ему не хотелось лишний раз их расстраивать, и он не стал говорить, что Мэри высказала кое-какие сомнения насчет доктора Кельно, и он ушел, хлопнув дверью.

В квартиру позвонили. Они слышали, как миссис Коркори, их экономка, разговаривает с кем-то в прихожей.

— Я прошу прощения, — сказала миссис Коркори, войдя в комнату, — но там мистер Лоури и миссис Мейрик, они говорят, что пришли по очень важному делу.

— Они больны?

— Нет, сэр.

— Хорошо, пригласите их в гостиную.

Лоури, коренастый булочник, и миссис Мейрик, домохозяйка, жена портового грузчика, неуверенно встали, когда Адам и Анджела вошли в гостиную.

— Добрый вечер, доктор, — сказал мистер Лоури. — Надеюсь, вы простите, что мы вам помешали. Доктор Кельно, мы тут между собой кое о чем переговорили.

— То есть ваши больные, — вставила миссис Мейрик.

— Ну, в общем, мы хотим, чтобы вы знали — мы с вами на миллион процентов.

— Это мне очень приятно.

— Нас возмущает, да, возмущает то вранье про вас, которое они там городят, — продолжал мистер Лоури, — и мы считаем, что все это заговор проклятых... простите, доктор, — в общем, заговор коммунистов.

— Во всяком случае, доктор, — добавила миссис Мейрик, — мы написали вам вот это письмо, что мы с вами и вас поддерживаем, обошли всех и собрали подписи. Даже у детишек. Вот, сэр.

Адам взял письмо и еще раз поблагодарил их. После того как они ушли, он развернул письмо и прочитал: «Мы, нижеподписавшиеся, выражаем свое глубокое уважение к сэру Адаму Кельно, которого гнусно оклеветали. Он всегда проявлял большую заботу о нас и никогда не отказывался принять больного. Этот документ — всего лишь слабое выражение нашей любви к нему». И дальше следовали три страницы подписей — многие из них были едва разборчивы, некоторые сделаны печатными буквами, а часть явно принадлежала детям.

— Как мило с их стороны, — сказала Анджела. — Ты рад?

— Да, — сказал Адам и еще раз пробежал глазами подписи. Имен многих его пациентов среди них не оказалось. И ни одной подписи пациента-еврея там не было.

Возбужденный гул прокатился по залу, когда на свидетельскую трибуну был вызван профессор Оливер Лайтхол. Все взгляды устремились на человека, которого многие считали самым выдающимся гинекологом Англии. Дорогой костюм сидел на нем с точно рассчитанной небрежностью. Твердое решение выступить на суде было принято профессором наперекор немалому давлению со стороны некоторых его коллег.

— Этот свидетель будет давать показания, конечно, по-английски, — сказал Том Баннистер. — Скажите нам, пожалуйста, ваше имя и адрес.

— Оливер Ли Лайтхол. Я живу и принимаю больных по адресу — Лондон, Кавендиш-сквер, дом два.

— Вы доктор медицины, профессор Королевского колледжа хирургов и Королевского колледжа акушерства и гинекологии, Лондонского, Кембриджского и Уэльского университетов и два десятилетия возглавляли отделение акушерства в больнице Университетского колледжа?

— Все правильно.

— Сколько лет вы практикуете в этой области?

— Больше сорока.

— Профессор Лайтхол, есть какое-нибудь медицинское обоснование хирургического удаления яичника после его облучения рентгеном?

— Ни малейшего.

— Но разве облученный яичник или семенник не отмирает?

— В смысле его физиологической функции — да. Например, яичник больше не способен вырабатывать яйцеклетки, а семенник — сперму.

— Но ведь это происходит и у женщин, достигших определенного возраста, и нередко у мужчин после некоторых заболеваний?

— Да, яичник перестает функционировать после менопаузы, а семенник в результате некоторых болезней теряет способность вырабатывать сперму.

— Но вы же не вырезаете яичники женщинам только потому, что у них наступил климакс?

— Конечно, нет.

«Вот наглый мерзавец, — подумал Адам Кельно. — Наглый английский мерзавец с шикарной собственной клиником на Кавендиш-сквер».

О'Коннер передал Кейди и Шоукроссу записку: «Теперь ждите, когда ударит гром».

— Существовали ли в сорок третьем году две школы, которые придерживались разных мнений о необходимости удаления яичника, переставшего функционировать?

— Была только одна школа.

— Ведь рентгеновские лучи используются даже для лечения рака?

— При некоторых видах рака рентгенотерапия дает неплохой эффект.

— В больших дозах?

— Да.

— И это относится к пораженному раком семеннику?

— Да, в таких случаях применяется рентгенотерапия.

— Профессор Лайтхол, здесь говорилось, что в сорок третьем году считалось возможным возникновение рака после облучения семенников и яичников. Что вы об этом думаете?

— Это абсолютная чушь, бред, достойный туземного знахаря.

Адам Кельно поежился: Оливер Лайтхол приравнял его к тем колдунам-туземцам, с которыми он боролся в Сараваке. При всем британском самообладании Лайтхола было очевидно, что он глубоко возмущен и не намерен стесняться в выборе слов.

— Далее. Если кто-то проводит эксперимент с целью выяснить, сохранил ли семенник свою потенцию, можно ли для этого использовать семенник, удаленный неквалифицированно?

— Если ткани семенника предполагается исследовать в лаборатории, то необходимо, чтобы его удалял квалифицированный хирург.

— Так что если врач угрожает, что это будет делать неквалифицированный санитар-эсэсовец, то он просто блефует, потому что таким путем он не достигнет своей цели?

— Есть вещи настолько очевидные, что тут не о чем спорить. Я читал показания — Фосс вовсе не собирался поручать эти операции санитарам-эсэсовцам.

Хайсмит начал было подниматься с места, но передумал и снова сел.

— Вы обследовали четырех женщин, которые давали показания по этому делу?

— Да.

Кровь отлила от лица Адама Кельно. Хайсмит снова пристально посмотрел на него, изо всех сил стараясь сохранить внешнее спокойствие.

— Если эти женщины были подвергнуты облучению в течение пяти — десяти минут, может ли хирург увидеть следы этого облучения — ожоги, может быть, волдыри, инфицированные ткани?

— Некоторые из этих ожогов видны и сейчас, — ответил Лайтхол.

— А через двадцать четыре часа после облучения?

— У тех женщин, которых я обследовал, поражения кожного покрова останутся на всю жизнь.

— Хорошо, далее. Если хирург видит ожоги вскоре после облучения, должен ли он прийти к выводу, что необходимо удалить яичник?

— Я бы сказал, что совсем наоборот. Это было бы связано с большим риском.

— Далее. Профессор Лайтхол, когда в Англии производят удаление яичника при спинномозговом обезболивании, рекомендуется ли привязывать пациентку к операционному столу?

— Это в высшей степени необычно. Ну, пожалуй, можно зафиксировать только руки.

Адам почувствовал, что у него вот-вот разорвется сердце. Острая боль пронзила его грудь. Он нащупал в кармане таблетку и проглотил ее, постаравшись сделать это как можно незаметнее.

— Значит, это не является обычной практикой?

— Нет. Пациентка утрачивает возможность двигаться в результате инъекции.

— Расскажите нам, какие хирургические процедуры проводятся после удаления яичника.

Лайтхол попросил принести пластиковый макет в натуральную величину и поставил его на край трибуны лицом к присяжным. Откинув падавшие на глаза волосы, он заговорил, назидательно указывая пальцем:

— Вот это матка. Эти желтые образования размером с грецкий орех по обе стороны матки, позади нее, — яичники. Хирург должен сделать глубокий разрез до самой ножки в том месте, где артерия, идущая от яичника, впадает в главную артерию. Потом он пережимает и перевязывает ножку, чтобы не было кровотечения из главной артерии.

Он отхлебнул воды из стакана. Судья предложил ему сесть, но он ответил, что привык читать лекции стоя.

— Следующая процедура называется перитонизацией. Там есть такая очень тонкая перепонка, которая покрывает изнутри брюшную полость, — она называется брюшина, перитонеум. Мы поднимаем эту пленку и прикрываем ею культю. Другими словами, свежую культю закрывают перитонеумом, чтобы предотвратить образование спаек и обеспечить нормальное образование тромба в пересеченной яичниковой артерии.

Баннистер посмотрел на присяжных, слушавших с огромным вниманием, и сделал паузу, чтобы они лучше усвоили сказанное.

— Значит, это исключительно важный этап? Жизненно необходимо прикрыть свежую культю лоскутом перитонеума?

— Да, это обязательно.

— А что случится, если этого не сделать?

— Тогда свежая культя останется свободной. Тромб, образующийся в артерии, легко инфицируется, и часто возникают спайки с кишечником. Если культя недостаточно герметично перекрыта, начинается кровотечение. Кроме того, через семь — десять дней возможны вторичные кровотечения.

Он сделал знак помощнику, который убрал макет.

— Вы знакомы с показаниями доктора Кельно?

— Я прочитал их весьма тщательно.

— Когда я спросил его, полагается ли закрывать культю лоскутом перитонеума, как вы только что рассказали, он ответил, что никакого перитонеума там нет.

— Ну, не знаю, где его учили хирургии. Я занимаюсь гинекологией больше сорока лет и удалял яичники больше тысячи раз, но ни разу не видел, чтобы там не оказалось перитонеума.

— Так значит, он там есть?

— Господи, да конечно же!

— Доктор Кельно в своих показаниях говорит также, что его способ перевязки свежей культы состоял в пришивании ее крест-накрест к тазовой связке. Что вы могли бы об этом сказать?

— Я бы сказал, что это очень странный способ.

Все взгляды были прикованы к доктору Кельно — особенно взгляд Терренса, который слушал, приоткрыв рот, и чувствовал, что у него по всему телу бегают мурашки от волнения.

— Сколько времени может занять удаление яичника — от первого разреза до конца?

— Почти полчаса.

— Есть какой-нибудь смысл в том, чтобы сделать это за пятнадцать минут?

— Никакого, если только нет каких-нибудь чрезвычайных обстоятельств, например кровотечения в брюшную полость. В остальных случаях я бы сказал, что оперировать с такой скоростью — это плохая хирургия.

— Может существовать какая-нибудь связь между скоростью проведения операции и послеоперационным кровотечением?

Лайтхол задумался, глядя в потолок.

— Ну, если хирург спешит, то у него нет времени правильно обработать культю, как я говорил. Он просто перевязет ее и посмотрит, нет ли кровотечения.

Пока Оливер Лайтхол собирался с мыслями, Баннистер бросил взгляд на присяжных.

— Вы можете что-то еще добавить, профессор?

— Когда я обследовал этих четырех женщин, я совершенно не удивился, узнав, что одна умерла в ночь после операции, а другая так и не смогла поправиться. Я убежден, — сказал он, глядя прямо на Адама Кельно, — что причина была в неправильной перевязке культы.

Становилось все более очевидно: Оливер Лайтхол согласился дать показания потому, что был глубоко возмущен тем, что увидел.

— Если хирург, проводя серию операций, не моет рук и не стерилизует инструментов после каждой из них, что может произойти?

— Я не могу себе представить, чтобы хирург не выполнял этих важнейших правил. Со времен Листера это равнозначно преступной халатности.

— Равнозначно преступной халатности, — повторил Баннистер тихо. — И каковы были бы результаты такой преступной халатности?

— Серьезная инфекция.

— А что вы скажете о подготовке операционной?

— Все должно быть по возможности стерильно — маски, халаты, антисептики. Например, вот сейчас в этом зале вся наша одежда полна бактерий. Во время операции они были бы занесены по воздуху в открытую операционную рану.

— Зависит ли вероятность кровотечения от выбора обезболивающего средства?

— Да. Известно, что при спинномозговом обезболивании риск кровотечения особенно велик из-за падения кровяного давления. И он еще вдвое возрастает, если свежая культя не обработана должным образом.

— Сколько времени заживает операционная рана после обычного успешного удаления яичника?

— Примерно неделю.

— А не несколько недель, не месяцы?

— Нет.

— А если это затягивается на несколько недель, из раны выделяется гной и распространяется гнилостный запах, о чем это говорит?

— Об инфицировании в ходе операции, о неправильном проведении операции, о недостаточной антисептике и стерилизации.

— А что насчет иглы?

— Сейчас подумаю. Ну, допустим, она прошла через мягкие ткани спины и вошла в спинномозговой канал. При этом может быть повреждена оболочка спинного мозга. Это может вызвать неизлечимое увечье.

— И боли, которые пациент может испытывать всю жизнь?

— Да.

— Расскажите нам, пожалуйста, о результатах вашего обследования этих четырех женщин.

— Милорд, я могу воспользоваться своими записями?

— Безусловно.

Лайтхол надел очки и порылся в карманах.

— Я буду говорить о них в том порядке, в каком они давали свои показания. Первая — одна из пары близнецов,

Йолан Шорет из Израиля. У нее была ярко выраженная недостаточность шва. Там был дефект ткани, можно сказать, дыра, отверстие, ведущее в брюшную полость и прикрытое только кожей.

Он обратился к судье:

— Для наглядности я буду указывать размеры в пальцах.

— Господам присяжным это понятно? — спросил судья.

Все кивнули.

— Так вот, шрам у миссис Шорет был в три пальца шириной, и там была грыжа, что указывает на неполное заживление.

Он снова стал листать свои заметки.

— У ее сестры, миссис Галеви, был крайне короткий разрез, в два пальца шириной и чуть больше одного пальца длиной. Очень маленький разрез. У нее тоже был дефект в середине шва, где он плохо зажил, и темно-коричневая пигментация от облучения.

— Ожог, видный до сих пор?

— Да. А хуже всех обстояло дело у третьей дамы — миссис Перец из Триеста. Той, показания которой переводил ее сын. Ее рана была закрыта всего лишь буквально на толщину листа бумаги. У нее такой же дефект стенки брюшной полости, и тоже очень маленький разрез — всего в два пальца.

— Позвольте мне вас прервать, — сказал Баннистер. — Вы сказали, что ее рана была закрыта всего на толщину листа бумаги. А какой толщины обычно бывает стенка брюшной полости?

— Она состоит из нескольких слоев: кожи, жировой прослойки, волокнистого слоя, слоя мышц и перитонеума. У нее не было ни жира, ни мышц, ни волокон. По существу, если ткнуть пальцем в ее шов, можно было бы достать до позвоночника.

— А последняя свидетельница?

— Да, миссис Принц из Бельгии.

Хайсмит вскочил.

— Я напоминаю, что из-за крайне расстроенного состояния этой свидетельницы я не имел возможности ее допросить.

— Я обращаю на это внимание господ присяжных, — ответил судья. — Но сейчас мы слушаем показания не миссис

Принц, а профессора Лайтхола. Вы можете продолжать, профессор.

— У миссис Принц были шрамы от двух операций. Один — вертикальный шов, гораздо длиннее другого, похож на его швы у остальных трех женщин. По моему мнению, это указывает на то, что вертикальный разрез был сделан другим хирургом. Горизонтальный же был очень короткий — всего два пальца, имел очень темную окраску после облучения, и там тоже был глубокий дефект ткани. Очевидно было, что шов заживал неправильно.

— Был ли длинный вертикальный шрам справа или слева?

— Слева.

— Миссис Принц в своих показаниях говорила, что ее левый яичник удалял доктор Дымщиц. Что вы можете сказать о состоянии этого шва?

— Я не обнаружил там ни дефекта ткани, ни следов инфекции или облучения. По-видимому, операция была произведена правильно.

— А другая — нет?

— Нет, там шов примерно такой же, как и у остальных женщин.

— Скажите, профессор, а какой длины обычно бывает разрез при таких операциях?

— Ну, от семи до пятнадцати сантиметров, смотря по тому, кто оперирует, и по состоянию пациентки.

— Но не три сантиметра и не пять?

— Безусловно, нет.

— Что вы скажете об этих шрамах после удаления яичников в сравнении с теми, которые вам довелось видеть у других пациентов?

— Я делал операции и здесь, и в Европе, и еще в Африке, на Ближнем Востоке, в Австралии и Индии. За все эти годы я ни разу не видел таких шрамов. Даже зашиты они были отвратительно. Все раны потом открылись.

Лайтхол сунул свои заметки в карман. Все, кто был в зале, сидели в ужасе, не веря своим ушам. Сэр Роберт понял, что получил тяжелый удар, и попытался смягчить впечатление.

— Судя по вашим показаниям, вы отдаете себе отчет в том, что комфортабельные условия роскошных клиник на

Уимпол-стрит отличаются от тех, что были в концлагере «Ядвига»?

— Безусловно.

— И вы знаете, что правительство Ее Величества возвело этого человека в рыцарское звание за его мастерство хирурга и врача?

— Знаю.

— Мастерство столь очевидное, что, несмотря на различие в хирургических подходах, сэр Адам Кельно не мог бы произвести те операции, которые вы только что описали?

— Я бы сказал, что ни один приличный хирург не мог бы это сделать, — но ведь кто-то это сделал!

— Но только не сэр Адам Кельно. Далее, вы знаете, что сотни тысяч людей погибли в лагере «Ядвига» от одного глотка ядовитого газа?

— Да.

— И этот лагерь — не клиника на Кавендиш-сквер, а ад, безумный ад, где ценность человеческой жизни была сведена к минимуму?

— Да.

— И вы ведь согласитесь, не правда ли, что, будь вы заключенным врачом, работающим день и ночь под угрозой смерти, и войди к вам в операционную офицер СС без халата и маски, вы вряд ли могли бы с этим что-нибудь поделаться?

— Должен согласиться.

— И вы ведь знаете, не правда ли, профессор Лайтхол, что британские медицинские журналы полны статей об опасности радиации — о возможности лейкоза, о действии ее на еще не рожденных детей, о том, что облученные женщины производили на свет уродов?

— Да.

— И вы знаете, что многие врачи и радиологи умерли от облучения и что в сороковом году обращение с ним было совсем не таким, как сейчас?

— Знаю.

— Можете ли вы допустить, что врач, оторванный от всего мира и свергнутый в кошмарный ад, мог питать по этому поводу серьезные опасения?

— Могу.

— И можете ли вы допустить, что существовали различные мнения о длине разрезов и продолжительности тех или иных операций?

— Минутку, сэс Роберт. Мне кажется, вы сейчас хотите завести меня куда-то не туда. Оперировать через отверстие величиной с замочную скважину и с чрезмерной поспешностью — скверная хирургия, и польские врачи уже тогда прекрасно это знали.

— Не скажете ли вы милорду судье и господам присяжным, не склонны ли британские врачи быть гораздо более консервативными, чем польские?

— Ну, я могу с гордостью утверждать, что мы придаем особое значение осторожности и тщательности проведения операций. Но я только что говорил о результатах обследования миссис Принц, которую оперировали два польских врача — один правильно, а другой нет.

Сэр Роберт так и подпрыгнул, мантия совсем упала с его плеч.

— Я полагаю, между хирургами Англии и континента столько разногласий, что они могли бы целый год их обсуждать и все равно не прийти к единому мнению!

Переждав его вспышку, Оливер Лайтхол тихо сказал:

— Сэр Роберт, по поводу этих женщин не может быть никаких разногласий. Это была работа примитивного, скверного хирурга. Я бы назвал его попросту мясником.

Наступила тишина. Хайсмит и Лайтхол сердито смотрели друг на друга, — казалось, вот-вот разразится взрыв.

«Бог мой, — подумал Гилрей. — Два почтенных англичанина сцепились, словно дикари!»

— Я бы хотел задать профессору Лайтхолу несколько вопросов, касающихся медицинской этики, — сказал он поспешно, чтобы разрядить ситуацию. — Вы не возражаете, сэс Роберт?

— Нет, милорд, — ответил тот, обрадованный, что ему помогли выйти из трудного положения.

— А вы, мистер Баннистер?

— Я безусловно считаю, что профессор Лайтхол в этой области вполне компетентен.

— Благодарю вас, — сказал Гилрей, положил свой карандаш и в раздумье подпер голову рукой. — Профессор, здесь перед нами показания двух врачей, которые заявили, что были бы преданы смерти, а операции были бы произведены кем-то другим, не обладающим должной квалификацией. Мистер Баннистер категорически настаивает, что такие операции не могли бы быть сделаны неквалифицирован-

ным санитаром-эсэсовцем. Тем не менее, учитывая ситуацию в лагере «Ядвига», мы можем предположить, что эта угроза действительно прозвучала и могла бы быть исполнена, пусть лишь в качестве назидания для других врачей, которых могли бы привлечь позже. В данном деле пока еще не установлено, производил ли сэр Адам операции, которые вы только что описали. Я хотел бы услышать ваше мнение об этической стороне ситуации. Как по-вашему, имеет ли право хирург делать операцию, преследующую сомнительную медицинскую цель, против воли пациента?

Лайтхол снова погрузился в размышления.

— Милорд, — сказал он через некоторое время, — это в корне противоречит известной мне медицинской практике.

— Ну, мы здесь говорим о такой медицинской практике, с которой до сих пор никто еще не сталкивался. Скажем, в какой-нибудь арабской стране человека приговаривают к отсечению руки за воровство, а вы — единственный там квалифицированный хирург. Значит, либо вы эту руку отсечете, либо кто-то другой.

— В таком случае я бы сказал ему, что у меня нет выбора.

Адам Кельно кивнул и слегка улыбнулся.

— Но ничто не заставило бы меня даже подумать об этом, — продолжал Лайтхол, — если бы пациент был не согласен, и ничто не заставило бы меня произвести операцию с нарушением всех правил. Впрочем, я надеюсь, что, если бы до этого дошло, у меня хватило бы силы обратить скальпель против себя самого.

— Впрочем, это судебное дело, к счастью, будет решено согласно закону, а не в результате отвлеченных рассуждений, — сказал Гилрей.

— Милорд, — возразил Оливер Лайтхол, — я позволю себе не согласиться с вами, когда речь идет о работе врача в условиях принуждения. Да, лагерь «Ядвига» — это было самое дно жизни, но ведь врачам приходилось работать и в аду — в условиях эпидемий, голодовок, на поле боя, в тюрьмах и в самых разнообразных других неблагоприятных ситуациях. Мы все равно почти две с половиной тысячи лет связаны клятвой Гиппократова, которая обязывает нас оказывать помощь больному, но никогда не причинять ему вред и не преследовать дурных целей. Видите ли, милорд, даже заклю-

ченный имеет право на защиту от врача, потому что в этой клятве сказано: «И буду воздерживаться от любых сознательных действий, способных причинить вред, и избегать соблазна таких действий, будь то в отношении женщины или мужчины, свободного или раба».

25

После показаний Оливера Лайтхола зал долго не мог успокоиться, а в совещательной комнате профессора осыпали выражениями благодарности Эйб, Шоукросс, Бен, Ванесса, Джеффри с Пэм и Сесил Додд. Лайтхол же все еще кипел злостью и жалел, что не все высказал. Репортеры кинулись к телефонам и в редакции. «ЗНАМЕНИТЫЙ УЧЕНЫЙ ЦИТИРУЕТ В СУДЕ КЛЯТВУ ГИППОКРАТА», — будут на следующий день гласить заголовки.

— Прежде чем мы объявим перерыв на выходные, — сказал Энтони Гилрей, — я хотел бы знать, и убежден, что господа присяжные тоже были бы рады услышать, сколько еще свидетелей вы намерены вызвать, мистер Баннистер, и сколько времени может потребовать их допрос.

— Трех, милорд, самое большее — четырех. Только одного из них, доктора Тесслара, мы будем допрашивать подробно.

— Значит, если учесть ваши заключительные речи и мое резюме, мы сможем передать дело на решение присяжных к концу будущей недели?

— Думаю, что да, милорд.

— Благодарю вас. В таком случае я прошу раздать господам присяжным по экземпляру «Холокоста». Я понимаю, что книгу в семьсот страниц вы вряд ли сможете как следует прочесть за два дня. Тем не менее прошу вас просмотреть ее как можно внимательнее, чтобы иметь представление, что написал автор. Я прошу об этом, потому что в моем резюме речь будет идти только о том отрывке, который является предметом спора, а он занимает всего один абзац, и о том, есть ли налицо клевета и насколько она оскорбительна. А теперь объявляю перерыв до понедельника.

Самолет польской компании «Лёт», доставивший из Варшавы доктора Марию Вискову, заглушил свои моторы, сделанные в Советском Союзе. Вискова предстала перед таможенниками в строгом костюме английского покроя, туфлях на низких каблуках и без всякой косметики. Но даже это не скрывало ее красоты.

— Я Абрахам Кейди. А это моя дочь Ванесса и сын Бен.

— Бен? Я знала вашего дядю Бена в Испании. Он был отличный парень. Знаете, вы на него похожи.

— Спасибо. Он был замечательный человек. Как вы долетели?

— Прекрасно.

— Мы приготовили для вас сюрприз, — сказал Эйб, беря ее под руку и провожая в зал ожидания, где стояли Джейкоб Александер и доктор Сюзанна Пармантье. Женщины, не видевшиеся двадцать лет, взялись за руки, всмотрелись друг в друга, потом молча обнялись и рука об руку направились к выходу.

Начиналась третья неделя процесса. Команда Шоукросса — Кейди была измотана за два дня непрерывных приготовлений к заключительной атаке. Даже у хладнокровного Томаса Баннистера были заметны признаки усталости.

Когда Мария Вискова вошла в зал суда, она на секунду остановилась и пристально посмотрела на Адама Кельно. Тот отвернулся и сделал вид, что разговаривает с Ричардом Смидди. Сюзанну Пармантье Эйб усадил рядом с собой. Джейкоб Александер передал ему записку: «Сегодня утром я говорил с Марком Тессларом. Он очень жалеет, что не смог встретить доктора Вискову в аэропорту. Он не очень хорошо себя чувствует и хочет сберечь силы перед своими показаниями. Попросите доктора Пармантье передать это доктору Висковой».

Через переводчика-поляка — суд решил, что ее английский язык недостаточно хорош для дачи показаний, — Мария Вискова начала звучным голосом отвечать на вопросы Баннистера:

— Мое имя Мария Вискова. Я работаю и живу в шахтерском санатории в Закопане. Родилась в Кракове в девятьсот десятом году.

— Где вы учились после того, как окончили школу?

— Я не смогла поступить ни в один медицинский институт Польши: я еврейка, а квоты были заполнены. Я училась во Франции, а после получения диплома переехала в Чехословакию, где стала работать на горном курорте в Татрах, в туберкулезном санатории. Это было в тридцать шестом году.

— Там вы познакомились с доктором Виском и вышли за него замуж?

— Да. Он тоже был поляк. По-чешски моя фамилия превратилась в Вискову.

— Доктор Вискова, вы член коммунистической партии?

— Да.

— Расскажите, при каких обстоятельствах вы в нее вступили.

— Мы с мужем воевали в Интернациональной бригаде на стороне испанского правительства против Франко. Когда гражданская война кончилась, мы бежали во Францию, где работали в легочном санатории в Камбо, в Пиренеях, на франко-испанской границе.

— А чем вы занимались во время Второй мировой войны?

— Мы с мужем устроили в Камбо подпольный пересыльный пункт и помогали французским офицерам и солдатам выбраться из страны, чтобы присоединиться к французским силам в Африке. Кроме того, мы доставляли из Испании оружие для французского Сопротивления.

— Через два с половиной года вы были арестованы и переданы гестапо на оккупированной французской территории?

— Да.

— Оценило ли французское правительство после войны вашу деятельность?

— Генерал де Голль наградил меня Военным крестом со звездой. Мой муж тоже был награжден — посмертно. Его казнили гестаповцы.

— И в конце весны сорок третьего вас отправили в концлагерь «Ядвиг». Расскажите, что произошло после вашего прибытия.

— Во время селекции выяснилось, что я врач, и меня направили в медчасть, в третий барак. Там меня встретили штандартенфюрер СС Фосс и доктор Кельно. От них я узнала, что только что покончила с собой женщина-врач, поль-

ка, и что я должна заменить ее в женском отделении на первом этаже. Вскоре я поняла, что такое третий барак. Там постоянно находились от двухсот до трехсот женщин, над которыми производили эксперименты.

— Вы общались с другими врачами?

— Да. Вскоре после меня там появился доктор Тесслар, которому поручили мужское отделение на втором этаже. Я приехала совсем больная — меня везли в Польшу на открытой платформе, и у меня началось воспаление легких. Доктор Тесслар меня вылечил.

— Значит, вы с ним виделись ежедневно?

— Да, мы были очень близко знакомы.

— В показаниях доктора Кельно говорилось, что доктор Тесслар не только сотрудничал с Фоссом в его экспериментах, но и делал аборт лагерьным проституткам и что это было всем известно.

— Об этом даже смешно говорить. Это неправда.

— Мы бы все-таки хотели, мадам Вискова, чтобы вы рассказали об этом подробнее.

— Мы работали вместе день и ночь на протяжении многих месяцев. Более гуманного человека я не знаю — он был просто неспособен сделать что-нибудь дурное людям. Доктор Кельно, который его обвиняет, делает это только ради того, чтобы скрыть собственные отвратительные поступки.

— Мне кажется, вы уже начинаете делать выводы, — заметил судья Гилрей.

— Да, понимаю. Но доктор Тесслар был святой, от этого вывода никуда не уйти.

— В показаниях говорилось также, что доктор Тесслар имел в бараке собственную квартиру.

Мария Вискова с улыбкой покачала головой.

— Врачи и капо имели по каморке размером чуть больше, чем два метра на метр. Места хватало только для койки, стула и маленькой полки.

— И ни собственного туалета, ни душа, ни обеденного стола — не слишком роскошное помещение?

— Эти каморки были меньше любой тюремной камеры. Нам их выделили, чтобы мы могли писать свои рапорты.

— Работали ли в этом отделении медчасти другие врачи?

— Доктор Пармантье, французенка. Она была единственной нееврейкой в третьем бараке. Вообще она жила на

главной территории, но имела доступ в третий барак, чтобы лечить жертв экспериментов доктора Фленсберга. После его экспериментов люди сходили с ума. Доктор Пармантье — психиатр.

— Что вы можете о ней сказать?

— Она была святая.

— Были там еще врачи?

— Был доктор Борис Дымшиц, но недолго. Он был русский еврей, заключенный.

— Что вы о нем знали?

— Он удалял яичники по приказу Фосса. Он сам мне это сказал. Он плакал из-за того, что был вынужден делать такое с братьями-евреями, но у него не было сил отказаться.

— Что вы можете сказать о его внешнем виде и душевном состоянии?

— Он выглядел дряхлым стариком. Он заговаривался, руки у него были покрыты экземой. Его пациентки, которых я лечила, возвращались с операций во все более тяжелом состоянии. Видно было, что он уже не может оперировать.

— А что вы можете сказать о его прежних операциях?

— Раньше он, по-видимому, все делал как надо. Разрезы были длиной сантиметров в семь, он работал аккуратно и давал женщинам общий наркоз. Конечно, постоянно случались осложнения из-за ужасных санитарных условий и нехватки лекарств и пищи.

— А когда доктор Дымшиц больше не мог выполнять свою работу, Фосс отправил его в газовую камеру?

— Это верно.

— Вы вполне уверены, что для этого не было других причин?

— Да, доктор Кельно говорил мне, что так ему сказал Фосс. А позже Фосс сам мне это сказал.

— То есть только потому, что Дымшиц стал бесполезен и не мог работать? Понятно. Вы видите в этом зале доктора Кельно?

Она не колеблясь указала на него пальцем.

— Кого-нибудь еще из врачей отправляли в газовую камеру?

— Конечно, нет.

— Конечно? Но разве в лагере не убивали людей десятками тысяч?

— Только не врачей. Немцам отчаянно не хватало врачей. Дымшиц был единственным, кого отправили в газовую камеру.

— Понятно. Вы были знакомы с доктором Лотаки?

— Очень отдаленно.

— В своих показаниях доктор Кельно говорил, что, когда Фосс собщи́л ему, какие операции ему предстоит делать, он и доктор Лотаки обсудили это с остальными врачами. Что он вам тогда сказал?

— Он со мной об этом никогда не говорил.

— Не говорил? Он не обсуждал с вами этической стороны дела, не искал вашего одобрения, не спрашивал у вас совета, не заручился вашим мнением, что это будет в интересах пациентов?

— Нет, он действовал очень самоуверенно. Он ни у кого не спрашивал совета.

— Может быть, это потому, что вы не могли покидать третий барак? Может быть, он просто забыл про вас?

— Я могла свободно передвигаться по всей территории медчасти.

— И общаться со всеми остальными врачами?

— Да.

— Кто-нибудь из других врачей когда-нибудь рассказывал вам о своих разговорах с доктором Кельно, о том, как он просил их совета и согласия?

— Я ни разу не слышала ни о каких подобных разговорах. Все мы знали, что...

— Что вы знали?

— Что эти эксперименты — просто шарлатанство, уловка Фосса, чтобы не попасть на Восточный фронт и не воевать с русскими.

— Откуда вы это знали?

— Фосс сам шутил по этому поводу. Он говорил, что пока он регулярно посылает в Берлин доклады, ему не придется идти в бой и что благодаря покровительству Гимmlера он рано или поздно получит в награду частную клинику.

— Значит, Фосс понимал, что его эксперименты не имеют никакой научной ценности?

— Он получал удовольствие, когда мучил людей.

Задавая следующий вопрос, Баннистер повысил голос, что случилось с ним очень редко.

— А доктор Кельно знал, что эксперименты Фосса бессмысленны?

— Не может быть, чтобы он этого не знал.

Баннистер полистал какие-то бумаги на своем столе.

— Пойдем далее. Что вы заметили после смерти доктора Дымшица?

— Качество операций стало гораздо хуже. Мы сталкивались со всевозможными послеоперационными осложнениями. Пациенты жаловались на ужасные боли после спинно-мозговой анестезии. Доктор Тесслар и я много раз просили доктора Кельно прийти, но он так и не появился.

— Теперь, — произнес Баннистер, и в его монотонном голосе зазвучали зловещие интонации, — мы переходим к той ночи в середине октября сорок третьего года, когда вас вызвали в кабинет доктора Фосса в пятом бараке.

— Я помню, — прошептала она, и на глазах ее показались слезы.

— Что тогда произошло?

— Я была наедине с Фоссом. Он сказал, что Берлин требует больше информации о его экспериментах и он расширяет работы. Что ему не хватает докторов и он переводит меня в хирургическое отделение.

— Что вы ему ответили?

— Я сказала, что я не хирург. Тогда он объявил, что я буду заниматься обезболиванием и ассистировать. Доктору Кельно и доктору Лотаки трудно справляться с пациентами, когда они сопротивляются.

— Каков был ваш ответ?

— Я сказала, что не буду это делать.

— То есть вы отказались?

— Да.

— Вы ответили отказом штандартенфюреру СС, имевшему право отправлять людей в газовую камеру?

— Да.

— Что сделал тогда Фосс?

— Он стал, как всегда, кричать и ругаться и велел мне на следующий день явиться в пятый барак на операцию.

— Что произошло после этого?

— Я вернулась к себе, в третий барак, долго думала и приняла решение.

— Какое решение?

— Покончить с собой.

В мертвой тишине было слышно, как несколько человек ахнули. Адам Кельно вытер пот с лица.

— Что вы собирались сделать?

Она медленно расстегнула верхние пуговицы блузки, запустила туда руку и вытянула медальон на цепочке. Открыв его, она вынула какую-то таблетку и показала ее.

— У меня была вот эта таблетка цианистого калия. Я храню ее до сих пор, чтобы ничего не забыть.

Она замолчала и пристально посмотрела на таблетку, как смотрела, вероятно, уже тысячи раз.

— Вы можете продолжать, доктор Вискова? — спросил судья.

— Да, конечно. Я положила ее на деревянный ящик около койки, который служил мне ночным столиком, взяла блокнот и написала прощальную записку доктору Тесслару и доктору Пармантье. Тут дверь открылась, и вошла доктор Пармантье. Она сразу увидела таблетку.

— Она встревожилась?

— Нет. Она была совершенно спокойна. Она села рядом со мной, отобрала у меня карандаш и блокнот. Потом стала гладить меня по голове и говорить со мной... То, что она мне сказала, я потом каждый раз вспоминала, когда переживала трудные минуты.

— Вы не можете рассказать милорду судье и господам присяжным, что она говорила?

Слезы катились по лицу Марии Висковой и многих из тех, кто ее слушал.

— Она сказала... «Мария, никто из нас не останется в живых и не выйдет из этого ада. В конце концов немцы убьют нас, они не допустят, чтобы мир узнал, что они здесь делали». И она сказала: «Нам остается только одно... То недолгое время, которое нам еще осталось, мы должны вести себя как люди... и как врачи»... Она сказала: «Мы не можем оставить этих людей страдать в одиночестве».

Глядя на Адама Кельно, Баннистер произнес:

— И на следующий день вы явились в пятый барак, чтобы ассистировать при операциях?

— Нет.

— И что предпринял Фосс?

— Ничего.

Арони и Иржи Линка четыре дня усердно допрашивали Лену Конска, но не смогли обнаружить больших изъянов в ее истории. Она признавала, что виделась со своим двоюродным братом Эгоном Сobotником в конце войны, но встреча была очень короткой. Он сказал ей тогда, что хочет уехать подальше, чтобы не жить в окружении призраков.

Но от Арони не так просто было отделаться. И ведь он знал, что у Лены Конска хватило хитрости прожить пять лет на нелегальном положении. Каждый день он приносил ей газеты с сообщениями о процессе и принимался упрасивать ее, перемежая просьбы угрозами.

Когда они в очередной раз поднимались по лестнице в ее квартиру, Линка сказал, что пора с этим кончать.

— Мы попусту тратим время. Может быть, старая ведьма что-то и знает, но она слишком хитра.

— Пока Прага не получит какой-нибудь новой информации о Сobotнике, мы не можем оставить ее в покое.

— Ну, как знаешь.

— А что, если мы обнаружим, что вы нам лгали? — сказал Арони Лене Конска.

— Вы опять за свое?

— Мы знаем, что вы умны. Достаточно умны, чтобы сохранить свою тайну от всех, кроме Бога. Но перед Богом вы за это ответите.

— Перед каким Богом?! — воскликнула она. — Где был этот Бог в концлагерях? Если хотите знать, то ваш Бог, по моему, уже совсем дряхлый и никуда не годится.

— Вы потеряли всю свою семью?

— Да, этот самый милостивый Бог забрал их к себе.

— Так вот, они сейчас гордились бы вами, мадам Конска. Они будут еще больше гордиться вами, когда Адам Кельно выиграет этот процесс из-за того, что вы нам ничего не сказали. Память о них не даст вам покоя. Можете быть в этом уверены, мадам Конска. И чем ближе к старости, тем отчетливее вы будете видеть их лица. Вы никогда не сможете забыть. Я это знаю, я пробовал.

— Арони, оставьте меня в покое.

— Вы были в Праге, в Пинхасовой синагоге. Вы видели это, да?

— Перестаньте.

— Имя вашего мужа стоит на стене мучеников. Я видел — Ян Конска. Это его фотография, верно? Красивый был мужчина.

— Арони, вы сами не лучше нациста.

— Мы разыскали несколько ваших соседей, — продолжал Арони. — Они помнят, как вернулся Эгон Сobotник. Они помнят, что он жил у вас, в этой квартире, шесть месяцев и только потом исчез. Вы солгали нам.

— Я сказала, что он оставался недолго. Я не считала, сколько дней. Ему не терпелось уехать.

Раздался телефонный звонок. Звонили из Праги, из штаб-квартиры полиции. Иржи Линка некоторое время слушал, потом попросил повторить и передал трубку Арони.

Арони медленно положил трубку и с искаженным лицом повернулся к женщине. Глаза его были страшны.

— Нам звонили из Праги.

Лена Конска ничем не выдала своих переживаний, но она не могла не видеть, как ужасно изменилось лицо Арони-охотника.

— Полиция нашла показания, датированные сорок шестым годом. Три человека показали, что Эгон Сobotник был замешан в истории с операциями, которые делал Кельно. Вот когда он скрылся из Братиславы, да? Хорошо, мадам Конска, решайте. Скажете вы нам, где он, или я найду его сам? А я его найду, вы это знаете.

— Я не знаю, где он, — упрямо повторила она.

— Ну, как хотите.

Арони взял свою шляпу и сделал Линке знак уходить. Все вышли в тесный коридор.

— Минутку. А что вы с ним сделаете? — спросила женщина

— Если вы вынудите меня его найти, мы им займемся всерьез.

Она провела языком по пересохшим губам.

— Насколько я знаю, его вина очень невелика. Если бы вы вдруг его нашли... на какие условия он мог бы рассчитывать?

— Если он даст показания, то выйдет из зала суда свободным.

Она в отчаянии посмотрела на Линку.

— Обещаю вам это как еврей, — сказал тот.

— Я поклялась... — произнесла она дрожащими губами. — Я поклялась... Он сменил имя — теперь он Тукла. Густав Тукла. Он один из директоров завода имени Ленина в Брно.

Арони что-то прошептал на ухо Линке, и тот кивнул.

— Нам придется задержать вас, чтобы у вас не было искушения позвонить ему до того, как мы с ним встретимся.

28

— Доктор Вискова, вы можете припомнить историю с близнецами, которых держали в третьем бараке?

— Когда я туда попала, там уже были близнецы из Бельгии — Тина и Элен Блан-Эмбер, их облучили, и доктор Дымшиц удалил у них по яичнику. Позже туда прислали еще две пары близнецов — сестер Кардозо и Ловино из Триеста. Помню, в какой я пришла ужас, ведь они были такие молодые, самые молодые во всем бараке. Позже их снова облучили.

— И в своих показаниях они рассказывали, как тяжело это перенесли. А теперь перейдем к одному вечеру в начале ноября сорок третьего года. Расскажите нам, что произошло в тот вечер.

— В барак пришли охранники-эсэсовцы и сам Фосс. Они приказали капо забрать три пары близнецов. Сверху привели несколько молодых ребят из Дании, одного поляка постарше и медрегистратора. Его звали Менно Донкер. Их увели. Они были близки к истерике. Доктор Тесслар сидел рядом со мной. Мы знали, в каком виде получим их обратно. Мы были страшно подавлены.

— Сколько времени ждали вы и доктор Тесслар?

— Полчаса.

— И что случилось потом?

— Пришли два охранника-эсэсовца и Эгон Сobotник — медрегистратор и санитар. Он сказал доктору Тесслару, что ему надо пойти в пятый барак. Что там началась паника и нужно успокоить людей. Доктор Тесслар поспешил туда.

— Сколько времени он отсутствовал?

— Он ушел сразу после семи, а вернулся вместе с жертвами вскоре после одиннадцати. Их принесли на носилках.

— Значит, этих четырнадцать человек прооперировали немного больше чем за четыре часа. Если операции делал один хирург, получается примерно по пятнадцать минут на человека?

— Да.

— Что говорил доктор Тесслар — были там другие хирурги?

— Нет, только Адам Кельно.

— А когда один хирург делает несколько операций подряд по пятнадцать минут на каждую, то времени на то, чтобы стерилизовать инструменты и мыть руки, у него не остается. Что происходило в это время в третьем бараке?

— Бедлам — сплошные крики и кровь.

— Вы работали на первом этаже, а доктор Тесслар на втором, верно?

— Да.

— Вы с ним виделись в ту ночь?

— Часто. Мы бегали друг к другу всякий раз, когда у кого-то наступало критическое состояние. Первой поднялась наверх я, чтобы помочь ему — один человек там умирал.

— Чем кончилось дело?

— Он умер от шока.

— И вы смогли вернуться к своим пациентам?

— Да. Тут пришла доктор Пармантье, и слава Богу, что она там оказалась и могла помочь. Мы не могли справиться с тяжелыми кровотечениями и были почти беспомощны. У нас не хватало даже воды, чтобы давать им пить. Доктор Тесслар просил доктора Кельно прийти, но безуспешно. Они лежали, истекая кровью и крича, на деревянных нарах с соломенными матрацами. В отгороженном конце барака люди, сошедшие с ума после экспериментов Фленсберга, начали буйствовать. Я поняла, что не могу остановить кровотечение у Тины Блан-Эмбер, и мы вынесли ее в коридор, подальше от других. В два часа ночи она была уже мертва. Мы бились всю ночь. Каким-то чудом нам втроем удалось спасти жизнь остальным. На рассвете пришли немцы, чтобы забрать Тину и того человека. Эгон Сobotник выписал свидетельства о смерти, которые мы подписали. А потом я слышала, что ему было приказано изменить причину смерти и написать «тиф».

На балконе раздались рыдания, и какая-то женщина убежала из зала.

Баннистер заговорил так тихо, что его не было слышно, и ему пришлось повторить вопрос:

— Доктор Кельно хоть раз приходил проведать этих пациентов?

— Он несколько раз подходил к дверям барака. И один раз заглянул внутрь.

— Мог ли он при этом заметить, что они в хорошем настроении?

— Вы что, шутите?

— Уверяю вас, что нет.

— Они еще несколько месяцев были в тяжелом состоянии. Я была вынуждена отправить сестер Кардозо обратно на завод, хотя и знала, что Эмма долго не протянет. Хуже всех было Симе Галеви, и я оставила ее своей помощницей, чтобы она не попала в газовую камеру.

— У вас есть какие-нибудь сомнения относительно того, кто делал эти операции?

— Я протестую, милорд, — произнес Хайсмит без особого энтузиазма.

— Протест принят. Свидетельница не должна отвечать на этот вопрос.

Она молчала. Но взгляд ее, устремленный на Адама Кельно, был достаточным ответом.

29

Машина, где сидели Линка и Арони, неслась вдоль австрийской границы среди холмистых полей Моравии. Арони, который спал сидя, то и дело ронял голову и рывком снова поднимая ее, внезапно проснулся, словно где-то внутри у него зазвонил будильник.

— Я не совсем понимаю, как тебе удалось добиться такой помощи от Браника, — сказал Линка.

Арони зевнул и закурил сигарету.

— Просто мы с ним говорим на одном языке. На языке концлагеря. Браника в Освенциме чуть не повесили за участие в подполье.

Линка пожал плечами. Он так и не мог это понять.

Они въехали в Брно — гордость чешской промышленности, один из крупнейших в мире центров тяжелой индустрии с громадным ярмарочным центром, занимавшим сотни

гектаров и привлекавшим каждый год по миллиону покупателей и гостей со всего света.

Отель «Интернациональ», где они остановились, представлял собой ультрасовременное здание из стекла и бетона, с которым не могли идти ни в какое сравнение уютные, убогие гостиницы остальных коммунистических стран Восточной Европы.

Их ждала записка: «Густаву Тукле звонили из Праги обшие друзья и велели оказать вам содействие. Он ждет Арони в десять часов. Браник»,

Густав Тукла оказался элегантно одетым человеком лет под шестьдесят, с изысканными манерами, но суровым лицом и грубыми руками профессионала-инженера. Его кабинет, из которого открывался вид на громадный заводской двор, тоже отличался чисто западной роскошью. Тукла уселся напротив гостей за низкий столик, заваленный проспектами завода. Секретарша в мини-юбке принесла им крепкого кофе. Когда она, нагнувшись, расставляла чашки, Арони ухмыльнулся.

— Скажите-ка мне, — начал Арони, — кто именно звонил вам из Праги?

— Товарищ Яначек, председатель парткома Комитета по тяжелой промышленности. Он мой прямой начальник, если не считать здешних генеральных директоров.

— Товарищ Яначек сказал вам, по какому делу я приехал в Чехословакию?

— Он сказал только, что вы очень важная персона из Израиля и что я должен во всем идти вам навстречу.

— Хорошо. Значит, мы можем сразу приниматься за дело.

— Честно говоря, — сказал Тукла, — я рад, что мы будем налаживать связи с Израилем. Публично этого никто не говорит, но здесь многие восхищаются вашей страной.

— И нам нравятся чехи. Особенно их оружие, когда удастся его заполучить.

— Масарик — слава Богу, теперь можно произносить это имя — был другом евреев. Так что, вас интересуют наши турбины?

— Нет, меня интересует один человек, который работает на вашем заводе.

— Он нужен вам в качестве консультанта?

— Можно сказать и так.

— И кто это?
— Эгон Сobotник.
— Сobotник? А кто это такой?
— Если вы засучите левый рукав и покажете мне свой лагерный номер, мы, наверное, сможем больше не тратить времени впустую.

Только теперь Арони сообщил, кто он такой. Густав Тукла, только что являвший собой образец самоуверенного руководителя, сидел в полной растерянности. Все произошло слишком быстро. Только сегодня утром ему звонил Яначек. Ясно было, что у этого Арони большие связи в верхах.

— Кто вам сказал? Наверное, Лена?
— У нее не было выбора. Мы поймали ее на лжи. Она сделала это ради вашего же блага.

Тукла вскочил с дивана и принялся расхаживать по комнате, что-то бормоча. Он был весь в поту.

— А о чем идет речь?
— О процессе в Лондоне. Вы о нем знаете — вон на вашем столе лежит газета, раскрытая на странице с этим сообщением. Вы должны приехать в Лондон и дать показания.

Тукла попытался взять себя в руки и поразмыслить. Все это случилось так внезапно!

— Это распоряжение Яначека? Или чье?
— Этим делом интересуется товарищ Браник.
Имя начальника тайной полиции возымело действие. Тукла сел, вытер лицо и прикусил палец. Арони спокойно поставил свою чашку, встал и подошел к окну.

— Вы готовы слушать?
— Я слушаю, — пролепетал Тукла.
— Вы член партии и ответственный руководитель, и ваши показания могут поставить чешское правительство в неудобное положение. У русских хорошая память, когда речь идет о помощи сионизму. Тем не менее здесь считают, что вы должны явиться в Лондон. К счастью, даже некоторые коммунисты понимают, что хорошо, а что плохо.

— Что вы предлагаете?
— Вы это знаете, — ответил Арони.
— Побег на Запад?

Арони встал над ним.
— Отсюда недалеко до Вены. Вы член Брненского аэроклуба. На аэродроме вас будет ждать самолет, в котором по-

местится вся ваша семья. Если это будет побег, то никто не сможет ни в чем обвинить ваше правительство.

Туклу всего трясло. Он с трудом проглотил успокаивающую таблетку и сидел, в растерянности моргая глазами.

— Я же знаю их штуки, — прошептал он. — Я взлечу, а потом у самолета откажет мотор. Им нельзя доверять.

— Я им доверяю, — сказал Арони. — Я буду в самолете вместе с вами.

— Но зачем мне это нужно? — выкрикнул Тукла. — У меня все есть. Я лишусь всего, ради чего трудился!

— Видите ли, Сobotник... Вы не возражаете, чтобы я так вас называл? Чешскому инженеру с завода имени Ленина будет, вероятно, не так уж трудно найти себе вполне подходящую работу в Англии или Америке. Откровенно говоря, это ваше счастье, что вы покинете эту страну. Не пройдет и года, как русские возьмут вас за горло, и начнутся чистки, как при Сталине.

— А если я откажусь бежать с вами?

— Ну, вы же знаете, как это делается. Перевод на маленькую электростанцию куда-нибудь в глушь. Понижение в должности. Вашего сына могут вдруг исключить из университета. А может быть, то, что всплывет на процессе Кельно, заставит Браника поднять кое-какие старые дела. Какие-нибудь показания против вас, данные после войны...

Тукла закрыл лицо руками и зарыдал.

— Вы помните Менно Донкера? — прошипел Арони ему в ухо. — Он тоже был членом подполья. За это ему отрезали яйца. А что произошло, когда Кельно узнал, что вы член подполья?

Сobotник затряс головой.

— Кельно заставил вас ему ассистировать, так?

— Господи! — выкрикнул Сobotник. — Я же делал это только несколько раз! Я за это уже расплатился! Я жил, как загнанная крыса. Я был постоянно в бегах. Я боялся каждого звука шагов, каждого стука в дверь!

— Ну, теперь мы все знаем вашу тайну, Сobotник. Поезжайте в Лондон. Там вы выйдете из зала суда свободным человеком.

— О Господи!

— Что, если ваш сын узнает об этом от кого-нибудь другого, а не от отца? А он узнает, будьте уверены.

— Сжальтесь надо мной!

— Нет. Будьте готовы вместе с семьей сегодня к вечеру. Я заеду за вами в шесть часов.

— Лучше я покончу с собой.

— Не покончите, — жестко сказал Арони. — Если бы вы были на это способны, вы бы это сделали много лет назад. И не просите меня сжалиться. Раз уж тогда вы делали такое для Кельно, то теперь вы, по крайней мере, можете сделать что-то хорошее для нас. Увидимся в шесть — будьте готовы.

Когда Арони и Линка ушли, Тукла подождал, пока не начнет действовать транквилизатор, вызвал секретаршу и велел отменить все назначенные встречи и не соединять его по телефону. Заперев за ней дверь, он выдвинул нижний ящик стола и долго смотрел на лежащий там пистолет, потом вынул его и положил на стол. У ящика было двойное дно, устроенное так искусно, что даже самый опытный глаз не мог бы ничего заметить. Тукла нажал на что-то, и тайник открылся. Там лежала тетрадь — потрепанная, пожелтевшая от времени толстая тетрадь. Он положил ее на стол рядом с пистолетом. На обложке тетради стояло: «КОНЦЕНТРАЦИОННЫЙ ЛАГЕРЬ «ЯДВИГА». ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ОПЕРАЦИЙ. АВГУСТ 1943 — ДЕКАБРЬ 1943».

30

— Следующая свидетельница будет давать показания на французском языке.

Доктор Сюзанна Пармантье поднялась на трибуну, опираясь на палку, но сердито отказалась от стула. Судья Гилрей, хорошо говоривший по-французски, не упустил случая блеснуть своим умением и обменялся с ней несколькими фразами на ее родном языке.

Она громко и четко назвала свое имя и адрес.

— А год рождения?

— Я обязана отвечать?

Гилрей чуть заметно улыбнулся.

— Этот вопрос можно пропустить, мы не возражаем, — сказал Хайсмит.

— Ваш отец был протестантским пастором?

— Да.

— Вы когда-нибудь принадлежали к какой-нибудь политической партии?

— Нет.

— Где вы учились медицине?

— В Париже. В тысяча девятьсот тридцатом году получила диплом психиатра.

— Мадам Пармантье, расскажите нам, что с вами было, когда Францию оккупировали.

— Германия оккупировала только Северную Францию. Мои родители жили в Париже, а я работала на юге Франции, в клинике. Я узнала, что мой отец тяжело болен, и обратилась за разрешением поехать к нему. Получить такое разрешение было трудно, много дней занимали наведение справок и бюрократическая переписка, а я очень спешила. Я попыталась тайно пересечь демаркационную линию, немцы поймали меня и посадили в тюрьму в Бурже. Это было в конце весны сорок второго года.

— Что произошло дальше?

— Ну, там были сотни заключенных-евреев, в том числе дети, и с ними очень плохо обращались. Как врач я получила разрешение работать в тюремной больнице. В конце концов положение стало таким отчаянным, что я пошла к коменданту тюрьмы.

— Он был из армии или из СС?

— Из СС.

— Что вы ему сказали?

— Я сказала, что так обращаться с евреями — это позор. Они тоже люди и граждане Франции, и я потребовала, чтобы с ними обращались так же, как с остальными заключенными, и чтобы кормили их так же.

— И как он на это реагировал?

— Сначала он был ошеломлен. Меня отвели обратно в камеру. Через два дня меня снова вызвали к нему. По обе стороны его стола сидели еще два офицера СС. Мне велели встать перед ними и сказали, что меня будут судить. Прямо сейчас.

— И чем кончился этот так называемый суд?

— Мне выдали клочок материи с надписью «Друг евреев», который я должна была нашить на одежду, и в начале сорок третьего года меня за это преступление отправили в концлагерь «Ядвиг».

— У вас на руке вытатуировали номер?

- Да. Сорок четыре тысячи четыреста шесть.
- И через некоторое время вас перевели в медчасть?
- Да, в конце весны сорок третьего года.
- Вы были в подчинении у доктора Кельно?
- Да.
- Вы часто встречались с доктором Лотаки?
- Довольно часто, как все, кто работает в одной большой больнице.
- А с Фоссом?
- Часто.
- И вы узнали, что доктор Лотаки и доктор Кельно выполняют операции в пятом бараке для Фосса?
- Конечно, это было известно. Кельно это особенно и не скрывал.
- Но это, наверное, стало известно после того, как доктор Кельно и доктор Лотаки созвали вас всех, чтобы обсудить этическую сторону таких операций?
- Если такое обсуждение и было, то я на нем не присутствовала.
- А другие врачи вам говорили, что с ними советовались по этому поводу?
- Доктор Кельно никогда не советовался с другими врачами. Он говорил им, что они должны делать.
- Понятно. Как вы думаете, если бы такое совещание действительно было, вы бы о нем знали?
- Безусловно.
- Доктор Кельно в своих показаниях утверждает, что не помнит вас.
- Это очень странно. Мы больше года виделись каждый день. Он несомненно узнал меня сегодня утром в коридоре суда. Он сказал мне: «А, вот опять друг евреев. О чем вы сегодня собираетесь лгать?»
- Смидди сунул Адаму записку: «Это правда?» — «Я разозлился», — гласил ответ. «Но вы же говорили, что ее не помните». — «Вспомнил, когда увидел».
- Вы знаете доктора Марка Тесслара?
- Это мой близкий знакомый.
- Вы познакомились с ним в лагере?
- Да. Когда я узнала об экспериментах Фленсберга, я стала почти каждый день приходить в третий барак, чтобы попытаться помочь его жертвам.
- Держали ли в третьем бараке проституток?

— Нет, только тех, над кем должны были экспериментировать, и тех, кого возвращали туда после экспериментов.

— А держали проституток вообще в вашей медчасти?

— Нет, их держали в другом лагере, и у них там была своя медчасть.

— Откуда вы это знаете?

— У них часто случались нервные расстройства, и меня много раз туда посылали.

— А были там врачи, которые делали им аборт?

— Нет. При первых признаках беременности их автоматически отправляли в газовую камеру.

— И женщин-капо тоже?

— Тоже. В газовую камеру. В лагере «Ядвига» это было железное правило, оно касалось всех женщин.

— Но конечно, не жен охранников-эсэсовцев и другого германского персонала?

— Жен там было очень мало. Только жены старших офицеров СС, а их лечили в частных клиниках в Германии.

— Другими словами, мадам Пармантье, доктор Тесслар не мог делать аборт, потому что никаких аборт в организованном порядке не производилось?

— Правильно.

— Ну, а если врач из заключенных обнаруживал беременную женщину и хотел спасти ее от газовой камеры, он мог сделать ей аборт тайно?

— Такие ситуации возникали крайне редко. Женщин держали отдельно от мужчин. Конечно, они всегда находили способы встречаться, но это все равно были лишь отдельные случаи. А вообще каждый врач сделал бы это, чтобы спасти женщине жизнь, — точно так же, как это делают сегодня для спасения ее жизни.

— А для кого в лагере держали проституток?

— Для немецкого персонала и капо высшего ранга.

— Возможен ли такой случай, чтобы охранник-эсэсовец захотел сохранить жизнь проститутке, которая ему понравилась?

— Вряд ли. Эти проститутки были жалкие существа, они занимались этим, только чтобы остаться в живых. И к тому же они не были незаменимыми. Ничего не стоило отобрать на селекции новых женщин и заставить их заниматься проституцией.

— Значит, во всяком случае, насколько вы знаете, доктор Тесслар не мог делать аборт в лагере и не делал их?

— Нет. Он был целый день занят в мужском отделении третьего барака.

— Но об этом говорится в показаниях доктора Кельно.

— Мне кажется, там он много чего напутал, — ответила Сюзанна Пармантье.

— Теперь расскажите нам о ваших первых встречах с штандартенфюрером СС доктором Отто Фленсбергом.

— Отто Фленсберг был в таком же чине, как и Фосс, и у него был ассистент — доктор Зигмунд Рудольф. Оба они работали в первом и втором бараках — в закрытой экспериментальной зоне. Меня вызвали к Отто Фленсбергу летом сорок третьего года. Он узнал, что я психиатр, и сказал, что я нужна ему для важных экспериментов. Я слышала, чем он занимается, и сказала, что не буду в этом участвовать.

— И что он на это сказал?

— Ну, он попытался меня уговорить. Он сказал, что Фосс — лжеученый, а то, что он делает с помощью рентгена, лишено всякого смысла. И что его собственный ассистент тоже занимается бессмысленным делом.

— А что делал Зигмунд Рудольф?

— Он пытался заражать женщин раком шейки матки, стерилизовать их введением едких жидкостей в фаллопиевы трубы и делал всякие странные эксперименты с кровью и слюной.

— И его собственный начальник сказал, что это бессмысленно?

— Да, он отвел Рудольфу первый барак, чтобы тот мог резвиться, как хотел, и писать для Берлина доклады, спасавшие его от отправки на русский фронт.

— А что говорил Фленсберг про свою работу?

— Он считал ее жизненно важной. Он сказал, что работал в Дахау в середине тридцатых годов, когда это была тюрьма для немецких политических заключенных. Позже он по заданию СС занимался экспериментами по подавлению воли и воспитанию безоговорочного подчинения. Он изобретал всевозможные испытания для проверки преданности и покорности курсантов — будущих эсэсовцев. Некоторые задания были просто отвратительны — например, он заставлял своих воспитанников убивать щенков, которых

они сами вырастили, или по приказу приканчивать ножом заключенных. И все в таком роде.

— И Отто Фленсберг гордился этим?

— Да, он говорил, что так демонстрирует Гимmlеру абсолютную преданность и покорность германского народа.

— А что он говорил о том, как попал в лагерь «Ядвига»?

— Гимmlер дал ему карт-бланш. Ему даже разрешили взять с собой ассистента. Фленсберг очень расстроился, когда узнал, что там у него будет начальник — Фосс. Между ними существовало явное соперничество. Он считал, что Фосс впустую расходует человеческий материал, в то время как его работа важна для Германии, потому что позволит ей столетиями оккупировать Европу.

— Каким образом?

— Он считал, что, хотя покорность германского народа — твердо установленный факт, немцев слишком мало, чтобы управлять целым континентом, где живут сотни миллионов людей. Он хотел найти способы управления покоренными народами. Другими словами, воспитать у них способность к беспрекословному выполнению немецких приказов. Можно сказать, способы умственной стерилизации людей. Превращения их в роботов.

Зал слушал, словно замороженный. Трудно было поверить, что это не жуткая фантастическая история про ученого-маньяка. Но все это случилось в действительности. И Отто Фленсберг был еще жив — он скрывался где-то в Африке.

— Расскажите, пожалуйста, милорду судье и господам присяжным, какие эксперименты проводил Отто Фленсберг в первом бараке.

Хайсмит встал со своего места:

— Я протестую против такого ведения допроса. Все это не имеет отношения к делу. Я не вижу, что можно таким путем доказать.

— Таким путем можно доказать, что немецкий врач проводил в концлагере эксперименты над заключенными и привлекал к участию в этих экспериментах врача из заключенных.

— Я думаю, это имеет отношение к делу, — сказал судья. — Так чем занимался Фленсберг, доктор Пармантье?

— Он проводил серию опытов по воспитанию покорности. Там было много маленьких комнат, в каждой по два

стула. Тех, кто сидел на них, разделяла стеклянная перегородка, сквозь которую они видели друг друга. Перед каждым был пульт с кнопками. Нажимая кнопки одну за другой, можно было включать все большее напряжение тока, и над кнопками были надписи — от «легкого удара» до пятисот вольт — «возможной смерти».

— Какой ужас, — произнес Гилрей.

— И еще была будка, где сидел сам Фленсберг, у него тоже был пульт с кнопками.

— Что вы видели там своими глазами, доктор Пармантье?

— Из третьего барака привели двух заключенных. Мужчин. Обоих привязали к стульям, но руки оставили свободными. Фленсберг из своей будки сказал заключенному А, что тот должен дать заключенному Б по другую сторону стеклянной перегородки электрический удар в пятьдесят вольт, иначе он, Фленсберг, накажет его за неповиновение.

— И заключенный А сделал, что ему было приказано?

— Не сразу.

— И Фленсберг наказал его ударом тока?

— Да. Заключенный А вскрикнул. Тогда Фленсберг снова приказал ему дать заключенному Б удар тока. Заключенный А упорствовал, пока не получил удар почти в двести вольт, после чего подчинился и начал давать заключенному Б удары током, чтобы избежать наказания.

— Значит, в сущности, он заставлял человека причинять боль другому, чтобы избежать ее самому?

— Да. Повиноваться из страха.

— Заключенный А по команде Фленсберга начал давать заключенному Б удары тока. Он видел и слышал, что происходит с заключенным Б?

— Да.

— До какого напряжения дошел А по приказу Фленсберга?

— В конце концов он убил током заключенного Б.

— Ясно.

Баннистер перевел дух. Присяжные озадаченно смотрели на свидетельницу, словно не веря своим ушам.

— И что сделал Фленсберг после того, как продемонстрировал вам это?

— Сначала ему пришлось меня успокаивать. Я кричала, чтобы он прекратил такие эксперименты. Охранник силой отвел меня к нему в кабинет. Он сказал мне, что убивать того человека особой нужды не было, но что иногда это случалось. Он показал мне графики, таблицы и свои записи. Он пытался установить порог, за которым воля человека оказывается сломленной. Тот порог, за которым люди превращаются в роботов, послушно выполняющих приказы немцев. Очень часто, перейдя этот порог, заключенные сходили с ума. Он показывал мне эксперименты, в которых заставлял близких родственников давать друг другу удары током.

— Интересно знать, доктор Пармантье, — сказал судья, — а попадались такие люди, которые наотрез отказывались причинять боль другим?

— Да, порог сопротивления был выше у мужей и жен, у родителей и детей. Некоторые упорствовали, пока их самих не убивали.

— А были такие случаи, — продолжал свои вопросы судья, — когда, скажем, мать или отец убивали собственного ребенка?

— Да... Вот поэтому... Простите... Меня никто еще об этом не спрашивал...

— Пожалуйста, продолжайте, мадам, — сказал Гилрей.

— Поэтому Фленсберг и стал подбирать близнецов. Он полагал, что на них можно будет поставить что-то вроде решающего эксперимента. Девушек из Бельгии и Триеста доставили в третий барак для него, а Фосс их облучил. Фленсберг был возмущен и грозил пожаловаться в Берлин. Он успокоился только после того, как Фосс пообещал ходатайствовать перед Гиммлером о предоставлении Фленсбергу частной клиники и о прикреплении к нему доктора Лотакки, чтобы он там оперировал.

— Потрясающе, — произнес Гилрей.

— Теперь давайте на минуту отвлечемся, — сказал Баннистер. — Что произошло после того, как вы увидели эти эксперименты и прочитали доклады Фленсберга?

— Фленсберг уверял меня, что, как только первое впечатление сгладится, я увлекусь такой работой. Это же редкая возможность для психиатра — проводить исследования на подопытных людях. А потом он просто приказал мне работать на него.

- И что вы на это ответили?
- Я отказалась.
- Отказались?
- Конечно, отказалась.
- А что именно вы сказали?
- Фленсберг сказал, что ведь, в конце концов, в третьем бараке сидят одни евреи. Я сказала, что знаю. Тогда он сказал: «Неужели вы не понимаете, что есть люди, которые не такие, как остальные?»
- И что вы ответили?
- Что я уже это заметила. «Действительно, есть люди, которые не такие, как остальные, — сказала я. — Это прежде всего вы».
- Но ведь за это он должен был расстрелять вас на месте!
- Что?
- Вас не расстреляли? Вас тут же не отправили в газовую камеру?
- Ну конечно, нет. Я же здесь, в Лондоне. Значит, меня не расстреляли, верно?

31

Сэр Роберт Хайсмит постоянно находился в гуще событий. На время процесса он переехал из собственного поместья в Серрее в свою квартиру на Кодоган-сквер, неподалеку от Вест-Энда и Дома правосудия. В этот вечер он усердно работал.

Нельзя было отрицать, что Томас Баннистер сумел искусно построить свою защиту, опираясь на косвенные улики и поймав Кельно на некоторых сомнительных показаниях. Однако промахи Кельно были всего лишь ошибками неопытного человека, противником которого оказался настоящий гигант, мастер юридической акробатики. Конечно же, присяжные, признавая гений Баннистера, должны тем не менее проникнуться сочувствием к Кельно.

В сущности, все сводилось к Марку Тесслару — единственному, кому предстояло выступить в качестве очевидца. Все эти годы и на всем протяжении процесса сэр Роберт Хайсмит отказывался верить, что Адам Кельно виновен. Карьера Кельно была долгой и заслуженной. Если бы в его ха-

рактуре таились столь чудовищные черты, они, безусловно, рано или поздно дали бы о себе знать. Хайсмит был убежден, что все это — какая-то жуткая вендетта, столкновение двух людей, ослепленных ненавистью друг к другу и неспособных видеть истину.

Разрабатывая тактику допроса, он был твердо намерен дискредитировать Марка Тесслара.

Да, конечно, у него были минуты сомнений, но ведь он — всего лишь британский барристер, а не судья и не присяжный, и Адам Кельно был вправе рассчитывать, что он сделает все возможное.

«Я выиграю это дело», — пообещал он сам себе.

— Куда, к дьяволу, запропастился Терри? — сердито спросил Адам и сделал еще один большой глоток водки. — Могу спорить, что он отправился к Мэри. Ты звонила туда?

— Там нет телефона.

— Сегодня он был в суде, — сказал Адам. — Почему сейчас он не здесь?

— Может быть, пошел в библиотеку и будет заниматься допоздна. Из-за этого процесса он пропустил много лекций.

— Я иду к Мэри, — сказал Адам.

— Нет, — возразила Анджела. — Я была у нее после заседания. Она не виделась с ним уже много дней. Адам, я понимаю, что тебя мучает, но эти адвокаты умеют по-всякому повернуть дело. Это их профессия. А присяжные все равно знают правду, как и твои больные. Они же горой встали за тебя. Пожалуйста, не пей больше, скоро придет Терри.

— Ради Бога, могу я раз в жизни выпить, чтобы ты при этом не устраивала сцен? Я же тебя не бью и ничего плохого не делаю.

— У тебя опять будут кошмары.

— Может быть, и нет, если как следует выпить.

— Адам, послушай. Завтра в суде у тебя должна быть свежая голова. Особенно когда будут допрашивать Тесслара.

— Привет, Анджела... Привет, доктор!

Шатаясь вошел Терри и плюхнулся на диван.

— Я вообще-то не пью, вы знаете. Не в отца пошел. Всегда считал, что папаша Кэмпбелл пьет за нас обоих.

— Где это ты был?

— Пил.

— Выйди, Анджела, — приказал Адам.

— Нет, — ответила она.

— Ничего, Анджела, нам посредник не понадобится, — заплетаящимся языком сказал Терри. — Мы будем говорить как врач с врачом.

Обеспокоенная Анджела вышла, но дверь оставила открытой.

— Что у тебя на уме, Терри?

— Да так, всякая всячина.

— Всякая всячина?

Терри опустил голову и заговорил внезапно охрипшим, дрожащим голосом так, что его почти не было слышно:

— «Сомненья тень упала на меня»... Доктор, я... Мне все равно, что решат присяжные. Я хочу услышать от вас самого. Между нами, вы это делали?

Адам в ярости вскочил и, подбежав к юноше, занес кулаки у него над головой. Терри весь съехался, но не пытался защищаться.

— Мерзавец! Тебя надо было лупить еще много лет назад! — Его кулаки с силой опустились на голову Терри, и тот свалился с дивана на пол. Адам ударил его ногой в ребра. — Я должен был тебя бить и бить! Как мой отец. Он бил меня — вот так! И вот так!

— Адам! — закричала вбежавшая Анджела, заслоняя Терри своим телом.

— О Господи! — горестно воскликнул Адам, опускаясь на колени. — Прости меня, Терри! Прости меня...

Напряжение в зале суда возрастало с самого утра: Хайсмит и Баннистер долго препирались из-за процедурных подробностей.

Накануне вечером из Оксфорда приехал Марк Тесслар. Он поужинал с Сюзанной Пармантье и Марией Висковой, после чего Эйб, Шоукросс, Бен и Ванесса присоединились к ним за чашкой кофе.

— Я знаю, что собирается делать Хайсмит, — сказал Тесслар. — Им не удастся меня сбить, когда речь пойдет о той ночи десятого ноября.

— Я не знаю, как выразить то, что я чувствую, — сказал Эйб. — По-моему, вы самый благородный и мужественный человек из всех, кого я встречал за свою жизнь.

— Мужественный? Нет. Просто никакая боль мне уже не страшна, — ответил Марк Тесслар.

В первой половине заседания Честер Дикс подверг Сюзанну Пармантье довольно мягкому перекрестному допросу, который продолжался до перерыва на обед.

В перерыве Шоукросс, Кейди, его сын, дочь и леди Сара Видман основательно выпили в таверне «Три бочки». Когда они принялись за пирог с почками, Джозефсон отправился в отель за Тессларом.

После перерыва Адам Кельно вошел в зал заседаний первым. Глаза у него были остекленевшие от успокоительных таблеток. Пока зал заполнялся и переполнялся, он то и дело бросал умоляющие взгляды на жену и Терри, занявших места в первом ряду.

— Прошу тишины!

Энтони Гилрей уселся на свое место и, подождав, пока все отвесят ему поклон, кивнул Томасу Баннистеру. В этот момент в зал вбежал Джозефсон, подбежал к столу Джейкоба Александра и стал что-то возбужденно шептать ему на ухо. Александр побагровел, быстро написал что-то на клочке бумаги и передал его Томасу Баннистеру. Баннистер в полной растерянности рухнул на стул. Брендон О'Коннер перегнулся через свой стол, схватил записку, прочел ее и уверенно встал.

— Милорд, нашим следующим свидетелем должен был быть доктор Марк Тесслар. Нам только что сообщили, что доктор Тесслар умер от сердечного приступа на улице перед своим отелем. Могу я просить милорда судью объявить перерыв до завтра?

— Тесслар... умер?

— Да, милорд.

32

Квартира на Колчестер-Мьюз была погружена в полумрак, когда Ванесса открыла дверь леди Саре. Эйб поднял голову и невидящими глазами посмотрел на нее. Лица у всех были заплаканные.

— Эйб, не надо винить в этом себя, — сказала леди Сара. — Он же давно был очень болен.

— Дело не только в нем, — сказала Ванесса. — Сегодня после обеда посольство разыскало Бена и Йосси и передало им приказ немедленно вернуться в Израиль и явиться по месту службы. Это мобилизация.

— О Господи! — сказала леди Сара, подойдя к Эйбу и глядя его по голове. — Эйб, я понимаю, что ты сейчас чувствуешь, но есть решения, которые человек обязан принять. Все уже собрались у меня.

Он кивнул в знак того, что понял, встал и надел пиджак.

Все собрались у леди Сары, чтобы разделить общее горе. Там были Томас Баннистер, и Брендон О'Коннер, и Джейкоб Александер. Там были Лоррейн и Дэвид Шоукроссы, Джозефсон и Шейла Лэм. Там были Джеффри, Пэм Додд и Сесил Додд. Был там и Оливер Лайтхол.

И были там еще четверо. Питер Ван-Дамм со своей семьей — бывший Менно Донкер.

Эйб обнял Ван-Дамма, и они некоторое время стояли обнявшись и глядя друг друга по спине.

— Я прилетел из Парижа сразу, как только услышал про это, — сказал Питер. — Я должен завтра дать показания.

Эйб вышел на середину комнаты и повернулся лицом к собравшимся.

— С тех пор, как начался этот процесс, — произнес он охрипшим голосом, — я стал главным зазывалой на этом карнавале ужасов. Я бередил старые раны, возрождал забытые кошмары и брал в свои руки судьбы людей, которых надо бы оставить в покое. Я говорил себе, что они останутся безымянными. Но вот перед нами человек, который известен на весь мир и которого мир не может не узнать. Вы знаете, когда я ослеп на один глаз, случилась странная вещь: незнакомые люди в барах стали меня задирать. Когда люди видят калеку, всплывают на поверхность все их дурные инстинкты. Человек становится чем-то вроде раненого животного в пустыне — это только вопрос времени, когда его сожрут шакалы и гиены.

— Можно я вас прерву? — сказал Баннистер. — Мы, конечно, понимаем, какие проблемы возникают в связи с личной тайной мистера Ван-Дамма. К счастью, британский закон предусматривает подобные редкие ситуации. Для таких случаев у нас существует процедура, которая называется заседанием «ин камера». При этом показания остаются в тайне. Мы попросим судью очистить зал заседаний от зрителей.

— А кто там останется?

— Судья, его помощник, присяжные и законные представители обеих сторон.

— И вы в самом деле думаете, что все останется в тайне? Я так не думаю. Питер, вы знаете, какие жестокие шуточки будут отпускать по этому поводу. Вы действительно считаете, что после этого сможете давать концерт перед тремя тысячами слушателей, которые только и будут разглядывать, что у вас там между ног? Так вот, если есть что-то, за что я не хочу брать на себя ответственность, — так это за то, чтобы лишить мир музыки Питера Ван-Дамма.

— Ваша беда, Кейди, в том, — сердито сказал Александер, — что вы одержимы идеей мученичества. По-моему, вам приятно думать, что вы предстанете таким Христом и будете удостоены бессмертия после того, как вас линчуют.

— Вы, по-моему, сильно устали, — отозвался Эйб. — Вы явно переработали.

— Господа, — вмешался Баннистер, — мы просто не можем позволить себе ссориться в такой момент.

— Правильно, — поддержал его Шоукросс.

— Мистер Кейди, — продолжал Баннистер, — вы заслужили уважение и восхищение в глазах всех нас. Вы логично мыслите и должны понимать, какие последствия нам грозят, если мы не позволим мистеру Ван-Дамму дать показания. Представьте себе на минуту, что суд приговорит вас к выплате Адаму Кельно большого возмещения. На вас ляжет ответственность за разорение вашего ближайшего друга Дэвида Шоукросса и за бесславное окончание его выдающейся издательской деятельности. Но важно не только то, что будет с вами или с Шоукроссом. Гораздо важнее то, как беда Кельно будет выглядеть в глазах всего мира. Это станет пощечиной каждому еврею, всем тем оставшимся в живых мужественным людям, мужчинам и женщинам, которые выступили на этом процессе, и, уж конечно, это будет тягчайшим оскорблением памяти всех, кого убил Гитлер. И за это ответственность тоже ляжет на вас.

— Есть еще одно обстоятельство, — сказал Оливер Лайтхол. — Как насчет будущей медицинской этики? Будет просто страшно, если когда-нибудь врачи смогут ссылаться на этот процесс, чтобы оправдать жестокое обращение с больными.

— Так что вы видите, — сказал Баннистер, — ваша позиция, конечно, очень благородна, но влечет за собой очень серьезную ответственность.

Эйб обвел взглядом их всех — маленькую усталую горсточку идеалистов.

— Господа присяжные, — произнес он голосом, в котором звучала бесконечная печаль, — я бы хотел всего лишь процитировать королевского советника Томаса Баннистера. Он сказал, что никто даже в кошмарном сне не мог бы предвидеть того, что произошло в гитлеровской Германии. И еще он сказал, что, если бы цивилизованный мир знал о намерениях Гитлера, то его бы остановили. Так вот, сейчас тысяча девятьсот шестьдесят седьмой год, и арабы каждый день клянутся довести до конца то, что начал Гитлер. Конечно, мир не допустит продолжения Холокоста. Есть благо и есть зло. Благо — это право людей на жизнь. Зло — это стремление их уничтожить. В таком виде все очень просто. Но по законам блага живет разве что царствие небесное. А царства земные живут нефтью. И вот смотрите. Мир безусловно должен был бы прийти в ужас при виде того, что происходит в Биафре*. Там пахнет настоящим геноцидом. И конечно, после событий в гитлеровской Германии весь мир должен был бы вмешаться и положить конец геноциду в Биафре. Однако на самом деле этого не происходит, потому что британские инвестиции в Нигерии вступают в конфликт с французскими интересами в Биафре. В конце концов, господа присяжные, там ведь всего-навсего одни чернокожие убивают других чернокожих.

Нам хотелось бы думать, — продолжал он, — что Томас Баннистер был прав, говоря, что больше людей, и в том числе немцев, должны были пойти на риск наказания и смерти, но отказаться выполнять приказы. Нам хотелось бы думать, что немцы должны были протестовать, и мы спрашиваем, почему немцы не протестовали. И вот сегодня молодежь выходит на улицы и протестует против Биафры, и против Вьетнама, и в принципе против убийства своего

* Имеются в виду события в Нигерии, где в 1967 г. на части территории страны было провозглашено самостоятельное государство — Республика Биафра. Последовавшая за этим кровопролитная межэтническая война, сопровождавшаяся массовым истреблением мирного населения, закончилась в 1970 г. поражением сепаратистов.

ближнего на войне. А мы говорим им: «Почему вы протестуете? Почему вы не хотите отправиться туда, чтобы убивать, как убивали ваши отцы?»

Давайте на минуту забудем, что мы с вами в добропорядочном, уютном Лондоне. Мы в концлагере «Ядвига». Штандартенфюрер СС доктор Томас Баннистер вызывает меня и говорит: «Понимаете, вы должны согласиться уничтожить Питера Ван-Дамма». Конечно, все будет сделано «ин камера». Ведь пятый барак был секретным, так же как будет секретным заседание суда. Такие вещи публично не делаются. Я хочу еще раз процитировать вам Томаса Баннистера. Он сказал: «Рано или поздно наступает такой момент, когда сама жизнь человека теряет смысл, если она предполагает необходимость калечить или убивать других». И я утверждаю, господа присяжные, что не могу навлечь на этого человека большего несчастья, не могу вернее его уничтожить, чем позволив ему выступить со своими показаниями. И в заключение я скажу, что выражаю всяческую признательность за ваше предложение убить Питера Ван-Дамма, но вынужден его отклонить.

Эйб повернулся и направился к двери.

— Папа! — воскликнула Ванесса и прильнула к нему.

— Пусти, Ванесса, я иду один, — сказал Эйб.

Он вышел на улицу и остановился, чтобы перевести дух.

— Эйб! Эйб! — крикнула леди Сара, догоняя его. — Я сейчас вызову свою машину.

— К дьяволу, не нужно мне твоего «бентли». Мне нужно такси. Мне нужен простой «остин», черт возьми!

— Эйб, позволь мне поехать с тобой.

— Мадам, я направляюсь в Сохо и намерен там выпить, как последняя свинья, и переспать с какой-нибудь девкой.

— Я буду тебе девкой! — вскричала она, вцепившись в него. — Я буду царапаться, и орать, и кусаться, и ругаться последними словами, а ты меня всю обслюнявишь и поколотишь, а потом будешь плакать... И тогда я буду рядом с тобой.

— О Господи! — простонал он, прижимаясь к ней. — Мне страшно. Как мне страшно!

Усаживаясь за свой стол в зале суда, Адам Кельно пристально посмотрел на Абрахама Кейди, и на его лице появилось выражение жестокости. Их взгляды встретились. Кельно слегка улыбнулся:

— Прошу тишины!

Судья Гилрей занял свое место.

— Мы все потрясены и расстроены безвременной кончиной доктора Тесслара, но, боюсь, ничего изменить тут уже нельзя. Вы намерены, мистер Баннистер, приобщить его письменные показания к делу в качестве доказательства?

— В этом нет необходимости, — ответил Баннистер.

Гилрей в недоумении нахмурился. Хайсмит, уже приготовившийся к долгому и нелегкому спору, растерялся.

Шимшон Арони проскользнул в зал, сел рядом с Эйбом и сунул ему записку: «Я Арони. Мы привезли Соботника».

— И что же мы будем делать теперь, мистер Баннистер? — спросил судья.

— Я хочу вызвать еще одного свидетеля.

Улыбка исчезла с лица Кельно, и сердце его бешено забилось.

— С этим свидетелем связаны некоторые довольно необычные обстоятельства, милорд, и я хотел бы просить вашего совета. Свидетель занимал важный пост в одной из коммунистических стран и только вчера вечером бежал на Запад со своей семьей. Он прибыл в Лондон в два часа ночи, попросил политического убежища и получил его. Мы больше года разыскивали этого человека, не зная, жив ли он еще и сможем ли его найти, пока он не появился в Лондоне.

— Он добровольно согласился участвовать в этом процессе?

— Да, но я не знаю, что побудило его к бегству из страны, милорд.

— Так в чем проблема? Если свидетель согласился добровольно, то нет необходимости обязывать его явиться в суд. Другое дело, если он здесь против своей воли: тогда возникают всякие сложности, потому что мы не знаем, подлежит ли он юрисдикции британского суда, даже если получил убежище.

— Нет, милорд, проблема в том, что, когда перебежчик с Востока просит убежища, его обычно держат под охраной довольно длительное время — до тех пор, пока он не будет окончательно устроен. Мы не можем исключить возможности покушения на этого свидетеля, и поэтому он явился в суд в сопровождении нескольких человек из Скотланд-Ярда.

— Понятно. Они вооружены?

— Да, милорд. Как Министерство иностранных дел, так и Скотланд-Ярд считают, что они постоянно должны находиться поблизости от него. Мы обязаны его защищать.

— Это весьма печально, что существует опасность нападения на человека в зале английского суда. Мне не хотелось бы ограничивать вход на заседание. Наш суд должен быть открытым. Вы предлагаете заслушать этого свидетеля «ин камера»?

— Нет, милорд. Уже то, что мы с вами обсудили эту проблему и что все в зале знают о присутствии людей из Скотланд-Ярда, должно отбить охоту у всякого, кто хотел бы устроить покушение.

— Я не люблю, когда в зале находятся вооруженные люди, но объявлять закрытое заседание не буду. Придется сделать скидку на необычные обстоятельства. Вызывайте вашего свидетеля, мистер Баннистер.

— Он будет давать показания на чешском языке, милорд.

Адам Кельно изо всех сил пытался припомнить, кто такой Густав Тукла. Два детектива расчистили проход в толпе, стоявшей в дверях, и ввели в зал осунувшегося, перепуганного человека. Оставшиеся в коридоре детективы заняли места у всех входов. Давние воспоминания пронеслись перед глазами Адама Кельно, и у него перехватило дыхание. Он поспешно нацарапал и передал Смидди записку: «Не дайте ему говорить!»

— Это невозможно, — шепнул ему Смидди. — Возьмите себя в руки.

Он написал сэру Роберту записку: «Кельно в панике».

Когда Густав Тукла занял свое место на свидетельской трибуне, руки у него заметно дрожали. Он в отчаянии озираясь по сторонам, словно затравленный зверь.

— Прежде чем мы начнем, — сказал судья Гилрей, — обращаю ваше внимание на то, что этот свидетель находится в состоянии значительного нервного напряжения. Ока-

зывать на него какое бы то ни было давление я не позволю. Господин переводчик, будьте любезны, разъясните мистериу Тукла, что он находится в Англии, в суде Ее Величества, и что здесь его никто не обидит. Попросите его прежде, чем отвечать на каждый вопрос, убедиться, что он хорошо его понял.

Тукла слабо улыбнулся и кивнул судье. Он сообщил свой адрес в Брно, сказал, что родился в Братиславе и до начала войны жил там и работал инженером-строителем.

— А ваша последняя должность?

— Член совета директоров и заведующий производством на заводе имени Ленина. Это большой завод тяжелого машиностроения с тысячами рабочих.

Стараясь успокоить свидетеля, судья Гилрей завел с ним разговор о Брненской ярмарке и о репутации чешской промышленности. После этого Баннистер начал свой допрос:

— Занимали ли вы на момент вашего бегства какой-нибудь пост в коммунистической партии?

— Я был секретарем областного партийного комитета по промышленности и членом Центрального комитета.

— Это довольно высокий пост, не так ли?

— Да.

— Были ли вы членом коммунистической партии, когда началась война?

— Нет. Я вступил в партию в сорок восьмом году, когда начал работать в Брно.

— Вы изменили свои имя и фамилию?

— Да.

— Расскажите, при каких обстоятельствах вы это сделали.

— Во время войны меня звали Эгон Сobotник. Я наполовину еврей по матери. После освобождения я изменил имя и фамилию, потому что боялся, что меня разыщут.

— Почему?

— Я боялся преследования за то, что меня заставляли делать в концлагере «Ядвиг».

— Расскажите нам, как вы попали в лагерь «Ядвиг».

— Когда немцы заняли Братиславу, я бежал в Будапешт и жил там с фальшивыми документами. Венгерская полиция поймала меня и вернула в Братиславу. Гестапо отправило меня в лагерь «Ядвиг», где я поступил в распоряжение медчасти. Это было в конце сорок второго года.

— Кому вы были подчинены?

— Доктору Адаму Кельно.

— Он находится в этом зале?

Соботник указал на Адама дрожащим пальцем. Судья еще раз сказал, что стенограф не может записывать жестов.

— Вот он.

— Какая работа была вам поручена?

— Канцелярская. Главным образом, ведение отчетности.

А под конец я вел истории болезней и журнал операций.

— К вам обращались члены подполья? Я имею в виду интернациональное подполье — вы понимаете мой вопрос?

— Милорд, вы разрешите мне пояснить это мистеру Тукла? — спросил переводчик.

— Да, пожалуйста.

Они обменялись несколькими фразами, после чего Тукла кивнул.

— Мистер Тукла понял. Он говорит, что там были небольшая подпольная группа польских офицеров и большое подполье, куда входили остальные. Летом сорок третьего года к нему обратились и сообщили, что подполье весьма интересно медицинские эксперименты, которые ведутся в лагере. По ночам он и один еврей из Дании по имени Менно Донкер переписывали из журнала сведения об операциях, которые делались в пятом бараке, и передавали их связанному подполья.

— И что делал с ними ваш связной?

— Точно не знаю, но план состоял в том, чтобы переправлять их на волю.

— Рискованное дело.

— Да. Менно Донкер попался.

— Вы знаете, что сделали за это с Менно Донкером?

— Его кастрировали.

— Понятно. А вам не казалось странным, что немцы все это регистрировали?

— У немцев мания все регистрировать. Сначала они наверняка считали, что победят в этой войне. А позже думали, что если будут все регистрировать, а потом подделают эти записи, то смогут оправдать многие случаи смерти.

— Сколько времени вы вели такие записи?

— Я начал в сорок втором и вел их до тех пор, пока нас не освободили в сорок пятом. Всего набралось шесть тетрадей.

— Теперь давайте вернемся немного назад. Вы сказали, что поменяли имя после войны из-за того, что вас заставляли делать в лагере «Ядвига». Расскажите нам, чем вы занимались.

— Сначала — только канцелярской работой. Потом Кельно узнал, что я член подполья. К счастью, он не знал, что я переправляю на волю сведения о его операциях. Я был в ужасе, что он выдаст меня эсэсовцам. Но вместо этого он заставил меня всячески ему помогать.

— Например, каким образом?

— Держать пациентов, когда им делали укол в позвоночник. Иногда меня заставляли самого делать укол.

— Вы были обучены это делать?

— Мне показали один раз, за несколько минут.

— Что еще вас заставляли делать?

— Держать пациентов, когда у них брали пробы спермы.

— То есть запикивали им в задний проход деревянную палку, чтобы получить эти пробы?

— Да.

— Кто делал это?

— Доктор Кельно и доктор Лотаки.

— Сколько раз доктор Кельно делал это на ваших глазах?

— Не меньше сорока или пятидесяти раз. Каждый раз через нас проходило по многу человек.

— Они испытывали боль?

Тукла опустил глаза.

— Очень сильную.

— И это делалось над здоровыми людьми перед облучением и последующей операцией, то есть было первым этапом эксперимента?

— Милорд, — прервал его Хайсмит, — мистер Баннистер задает свидетелю навоящие вопросы и хочет услышать его собственные выводы и соображения.

— Я сформулирую вопрос иначе, — сказал Баннистер. — Принимал ли доктор Кельно участие в медицинских экспериментах немцев?

— Да.

— А откуда вы это знаете?

— Я сам видел.

— Вы видели, как он делал операции в пятом бараке?

— Да.

— Много раз?

- Во всяком случае, сотни две или три.
- На евреях?
- Иногда по приговору суда, но девяносто девять процентов — на евреях.
- Вы присутствовали при операциях доктора Кельно в общей больнице в двадцатом бараке?
- Да, много раз. Много десятков раз.
- И вы видели, как он ведет прием? Как делает мелкие процедуры — например, лечит нарывы и порезы?
- Да.
- Вы заметили какие-нибудь существенные различия в поведении доктора Кельно в пятом бараке и в общей больнице?
- Да, с евреями он был очень жесток. Он часто бил их и ругал.
- На операционном столе?
- Да.
- Пойдем далее. Мистер Тукла, я хочу поговорить об одной конкретной серии операций, проведенной в начале ноября сорок третьего года. Тогда у восьми мужчин были удалены семенники, а у трех пар женщин-близнецов — яичники.
- Я это прекрасно помню. Это было десятого ноября. В тот вечер кастрировали Менно Донкера.
- Расскажите, пожалуйста, подробнее.
- Тукла отхлебнул глоток воды, расплескивая ее, — так дрожала у него рука. Лицо его стало белым, как мел.
- Мне велели явиться в пятый барак. Там было множество капо и эсэсовцев. Около семи часов четырнадцать жертв привели в комнату рядом с операционной. Нам велели побрить их и сделать уколы в позвоночник.
- Не в операционной?
- Это делалось всегда только в соседней комнате. Доктор Кельно не хотел зря тратить время в операционной.
- Делали ли этим людям предварительный укол морфия?
- Нет. Доктор Вискова и доктор Тесслар несколько раз протестовали и говорили, что гуманность требует колоть им морфий.
- А что отвечал доктор Кельно?
- Он говорил: «Незачем расходовать морфий на этих свиней». Ему несколько раз предлагали давать этим людям

общий наркоз — усыплять их, как он делал в двадцатом бараке. Но он говорил, что не может тратить на это время.

— Значит, инъекции всегда делались в комнате рядом с операционной, без морфия и неквалифицированными или полуквалифицированными людьми?

— Правильно.

— Эти жертвы испытывали боль?

— Очень сильную. Это моя вина... Моя вина...

Он раскачивался взад и вперед, закусив губу, чтобы сдерживать слезы.

— Вы уверены, что можете продолжать, мистер Тукла?

— Я должен продолжать. Я носил это в себе больше двадцати лет. Я должен все выложить, чтобы обрести покой. — Он всхлипнул. — Я струсил. Я должен был отказаться, как Донкер.

Он несколько раз судорожно вздохнул, извинился и кивнул в знак того, что готов продолжать.

— Так вот, вечером десятого ноября вы присутствовали в комнате рядом с операционной пятого барака и помогли готовить этих четырнадцать человек к операции. Продолжайте, пожалуйста.

— Первым был Менно Донкер. Кельно велел мне зайти в операционную и держать его.

— Вы были вымыты?

— Нет.

— Кто еще при этом присутствовал?

— Доктор Лотаки ассистировал. Еще были один-два санитары и два охранника-эсэсовца. Донкер кричал, что здоров, а потом умолял Кельно оставить ему один семенник.

— Что говорил на это Кельно?

— Он плюнул ему в лицо. Через несколько секунд за дверями началась такая суматоха, что Фосс велел мне пойти в пятый барак и привести Марка Тесслара. Когда я вернулся с ним, я увидел такую ужасную сцену, что не могу забыть о ней ни днем, ни ночью. Эти девушки, с которых срывали одежду, дикие крики боли от укулов, люди, которых били прямо на операционном столе, кровь... Только Марк Тесслар сохранил присутствие духа и гуманность.

— И вы заходили в операционную?

— Да, я ввозил и вывозил жертв.

— Кто делал операции?

— Адам Кельно.

— Все операции?
— Да.
— Он мылся перед очередной операцией?
— Нет.
— Он стерилизовал инструменты?
— Нет.
— Он проявлял заботу о пациентах?
— Он был как сумасшедший мясник на бойне с топором в руках. Это была просто резня.

— Сколько времени это продолжалось?
— Он делал операции очень быстро, за десять — пятнадцать минут. Около полуночи мне велели отправить несчастных назад, в третий барак. Там стояло несколько носилок, и они лежали на них вплотную друг к другу. Весь пол был залит кровью. Мы отнесли их в барак. Тесслар умолял меня позвать Кельно... Но я в ужасе убежал.

Адам Кельно передал Смидди записку: «Я ухожу из зала».

«Сидите на месте!» — написал в ответ Смидди.

— Как дальше развивалась ситуация, мистер Тукла?

— На следующее утро меня вызвали в пятый барак и велели выписать свидетельства о смерти на одного из этих мужчин и одну из женщин. Сначала я проставил у мужчины причину смерти — «шок», а у женщины — «кровотечение», но немцы заставили меня написать вместо этого «тиф».

— Значит, мистер Тукла, все это долгое время не давало вам покоя?

— Я жил в постоянном страхе, что меня объявят военным преступником.

— Вы знаете, какая судьба постигла эти шесть тетрадей, где регистрировались операции?

— Когда русские освободили лагерь, началась сумятица. Многие бежали, как только ушли эсэсовцы. Я не знаю, что стало с пятью тетрадями, но шестую я сохранил.

— И прятали все эти годы?

— Да.

— Из боязни, что вас привлекут к ответственности?

— Да.

— Какое время охватывает эта тетрадь?

— Вторую половину сорок третьего года.

— Милорд, — сказал Баннистер, — я хотел бы сейчас представить в качестве доказательства журнал регистрации операций, сделанных в концлагере «Ядвига».

34

В зале суда разразился словесный бой. Закон есть закон!

— Милорд! — воскликнул сэр Роберт Хайсмит. — Мой высокоученый друг создает драматическую ситуацию, пытаюсь в последнюю минуту представить новые доказательства. Я намерен категорически протестовать и считаю это недопустимым.

— На каком основании? — спросил судья Гилрей.

— Ну, прежде всего, я вообще не видел этого документа и не имел возможности его изучить.

— Милорд, — сказал Баннистер, — этот документ попал к нам в руки только сегодня в три часа утра. За ночь мы собрали сорок человек добровольцев, которые просмотрели его в поисках информации, имеющей отношение к делу. Вот на этих двух листах я выписал то, что считаю наиболее важным. Я с радостью предоставлю моему высокоученому другу для изучения эти записи и фотокопии тех страниц журнала, по поводу которых мы будем задавать вопросы.

— Значит, вы, в сущности, хотите внести изменения в ваше первоначальное ходатайство об оправдании по этому делу? — спросил судья.

— Именно так, милорд.

— Вот против этого я и возражаю, — сказал Хайсмит.

Ричард Смидди передал своей секретарше записку с распоряжением найти его старшего клерка мистера Буллока, чтобы тот собрал весь штат конторы и держал его наготове на случай, если Баннистер добьется своего. Секретарша убежала.

— По моему опыту, — сказал судья Гилрей, — защита может в ходе процесса вносить отдельные поправки в свое ходатайство об оправдании, если появляются новые доказательства.

— Я пока что не видел заявления о внесении таких поправок, — возразил Хайсмит.

— Вот оно, — ответил Баннистер.

Судебный пристав передал копии заявления судье, Честеру Диксу и Ричарду Смидди, которые принялись внимательно их изучать.

— Милорд и мой высокоученый друг могут убедиться, что заявление занимает всего одну страницу и касается исключительно этого журнала регистрации операций, — добавил Баннистер.

— Что вы на это скажете? — спросил Гилрей Хайсмита.

— В моей юридической практике, которая насчитывает не один десяток лет, я ни разу не слышал, чтобы во время процесса, особенно столь длительного, как этот, суд допускал внесение таких поправок в ходатайство об оправдании, которые изменяли бы весь характер процесса.

Честер Дикс и Ричард Смидди стали наперебой передавать ему сборники судебных протоколов, и Хайсмит зачитал с полдюжины прецедентов, когда подобные просьбы были отвергнуты.

— Что вы можете сказать суду, мистер Баннистер? — спросил Гилрей.

— Я безусловно не согласен с тем, что это изменяет весь характер процесса.

— Это безусловно его изменяет, — возразил Хайсмит. — Если бы этот документ был представлен в качестве доказательства перед началом процесса, истец действовал бы совершенно иначе. А сейчас уже прошел целый месяц, процесс приближается к концу, почти все свидетели со стороны защиты разъехались по разным странам Европы, Азии и Америки, и мы не имеем возможности снова их допросить. Наш главный свидетель со стороны доктора Кельно больше не может приехать из Польши: мы послали запрос, нельзя ли снова вызвать доктора Лотаки, но ему не дают новой визы. Это явная несправедливость по отношению к истцу.

— Что вы на это скажете, мистер Баннистер? — спросил судья.

— Я намерен ограничиться только вопросами, касающимися регистрационного журнала, а на это ни один из свидетелей защиты не может пролить никакого света, так что они в любом случае не нужны. Что до доктора Лотаки, то мы были бы готовы оплатить его новую поездку в Лондон, но не наша вина, что польское правительство его не выпускает. На самом деле, если сэръ Роберт разрешит мне еще раз допросить доктора Кельно, я смогу выяснить все, что мне

нужно, за какой-нибудь час. Я готов заранее представить моему высокоученому другу список вопросов, которые собираюсь задать его клиенту.

В этом и состоит суть мастерства барристера — он должен уметь мгновенно собраться с мыслями и без всякой подготовки, экспромтом выступить с речью, опираясь на свою энциклопедическую память и на штат проворных помощников.

— Сэр Роберт, если регистрационный журнал будет принят в качестве доказательства, вы разрешите еще раз допросить доктора Кельно? — спросил судья Гилрей.

— Я пока еще не могу сказать, в чем будет состоять моя тактика.

— Понятно. Имеете ли вы что-нибудь добавить, мистер Баннистер?

— Да, милорд. Я не вижу ничего необычного или исключительного в том, чтобы принять этот регистрационный журнал в качестве доказательства. Он незримо присутствовал в этом зале на всем протяжении процесса. И я утверждаю, что за всю историю английского суда ни одно доказательство не взывало с такой силой о том, чтобы быть услышанным. В нем и заключается, в конце концов, вся суть дела. В нем скрыты те факты, свидетелей которых мы искали во всех концах света и слышали в этом зале. Как же можно говорить, что это недопустимо? Если мы откажемся рассмотреть эти факты в британском суде, тень ляжет на всю нашу судебную систему, потому что совсем скрыть их в любом случае не удастся. Если мы это сделаем, то всем станет ясно: мы вовсе не желаем знать, что происходило в концлагере «Ядвиг» и вообще в нацистской Германии. Что все это — чьи-то фантазии. И к тому же имеем ли мы право забыть о мужественных людях, отдавших свою жизнь за то, чтобы в будущем сохраненные ими документы рассказали миру о безумном кошмаре лагеря «Ядвиг»?

— Должен заметить, — прервал его Хайсмит, — что мой высокоученый друг уже начал произносить свою заключительную речь. Для этого у него будет возможность позже.

— Да, мистер Баннистер. Какие еще доводы вы можете привести суду?

— Самые убедительные. Слова истца, доктора Кельно, — его ответы на прямые вопросы его собственного защитника. Я их вам сейчас процитирую. Сэр Роберт спросил: «Регист-

рировались ли как-нибудь ваши операции и процедуры?» На это доктор Кельно ответил: «По моему настоянию велась их аккуратная регистрация. Я считал это важным, чтобы потом не возникло никаких сомнений относительно моих действий». И минуту спустя доктор Кельно сказал с этой самой свидетельской трибуны: «Я очень хотел бы, чтобы эти журналы появились здесь, — они доказали бы мою невиновность». И еще немного позже он сказал: «В каждом случае по моему настоянию операция регистрировалась в журнале». Ничто не может быть яснее, милорд. Доктор Кельно сам сказал все это, и разве не должны мы считать, что если бы этот регистрационный журнал разыскал он, то он тоже представил бы его в качестве доказательства?

— Что вы можете на это сказать, сэръ Роберт? — спросил судья.

— Доктор Кельно, в конце концов, — врач, а не юрист. Я предпочел бы сначала изучить этот документ и только потом дал бы ему совет — представлять его в качестве доказательства или нет.

— Я утверждаю, — быстро отпарировал Баннистер, — что, пока доктор Кельно думал, что у нас нет никаких шансов ознакомиться с этим журналом, пока он был уверен, что журнал навсегда утрачен, он мог сослаться на него как на подразумеваемое доказательство своей правоты. Но увы, одна из шести исчезнувших тетрадей сохранилась и всплыла в этом суде — и теперь он запел совсем другую песню.

— Благодарю вас, господа, — сказал Гилрей.

Он еще раз прочитал ходатайство Баннистера. Формально оно было составлено по всем правилам, так что любой английский судья мог принять по нему решение.

И все же он продолжал смотреть на этот лист бумаги, не видя его. Мысли его были заняты другим. Перед его умственным взором тянулась бесконечная вереница изуверченных людей — таких же, как и те, кого он только что видел в этом зале. И дело было не в том, повинен в этом Кельно или неповинен. Важно было то, что эти люди пострадали от рук других людей. И тут он на мгновение словно пересек невидимую грань и постиг тайну непостижимой сплоченности евреев: те из них, кто жил на свободе в Англии, лишь по капризу судьбы оказались там, а не в концлагере «Ядвиг», и каждый из них знал, что, если бы не этот каприз судьбы, с его семьей могло бы случиться то же самое.

И все же Гилрей был олицетворением всех тех, кто, не будучи евреем, никогда не может до конца понять евреев. Он мог дружить с ними, работать с ними, но до конца понять их был неспособен. Он олицетворял всех белых, которые никогда не могли до конца понять чернокожих, и всех чернокожих, которые никогда не могли до конца понять белых. Он олицетворял всех нормальных людей, которые могли терпеть или даже защищать гомосексуалистов... но никогда не могли до конца их понять. В каждом из нас существует эта грань, которая не позволяет нам до конца понять тех, кто чем-то отличается от нас.

Гилрей поднял глаза от заявления и посмотрел в зал, ожидавший его решения.

— Просьба защиты о внесении изменений в первоначальное ходатайство об оправдании удовлетворяется. Тем самым регистрационный журнал операций, сделанных в концлагере «Ядвига», принимается в качестве доказательства. Из уважения к правам истца я объявляю перерыв на два часа, чтобы его сторона могла изучить этот документ и подготовиться к защите.

Произнеся эти слова, он встал и вышел из зала.

Гром грянул! Хайсмит сидел ошеломленный. В ушах его снова и снова звучали слова: «Подготовиться к защите». Доктор Адам Кельно — истец и обвинитель — превратился в обвиняемого даже в глазах суда!

35

Сэра Адама Кельно провели в совещательную комнату, где Роберт Хайсмит с Честером Диксом, Ричардом Смидди и полдюжиной помощников изучали фотокопии регистрационного журнала и список предполагаемых вопросов Баннистера. Его встретили холодно.

— Но это было очень давно, — шепотом произнес он. — У меня там что-то случилось с памятью. После этого я много лет жил в состоянии полуамнезии. Я очень многое забыл. Этот журнал вел Сobotник. Он мог подделать записи, чтобы они свидетельствовали против меня. Я не всегда смотрел, что подписываю.

— Сэр Адам, вам придется снова давать показания, — коротко сказал Хайсмит.

- Я не могу.
- Придется, — отрезал Хайсмит. — У вас нет выбора.

Действие успокоительных таблеток еще не кончилось. С каким-то отстраненным выражением лица Адам Кельно подошел к свидетельской трибуне. Судья Гилрей напомнил ему, что он все еще находится под присягой. Кельно, судье и присяжным были уже розданы фотокопии отдельных страниц журнала. Баннистер попросил своего помощника показать Кельно сам журнал. Кельно смотрел на него с таким видом, словно не верил своим глазам.

— Действительно ли эта тетрадь — регистрационный журнал операций, сделанных в концентрационном лагере «Ядвига» за последние пять месяцев сорок третьего года?

— Наверное, да.

— Говорите погромче, сэр Адам, — сказал судья.

— Да... Да, это он.

— Согласен ли мой высокоученый друг, что предоставленные ему, суду и присяжным фотокопии точно воспроизводят соответствующие страницы журнала?

— Согласен, — ответил Хайсмит.

— Чтобы помочь господам присяжным разобраться в деле, давайте предварительно откроем журнал на любой странице, чтобы посмотреть, как он велся. Прошу вас раскрыть страницы пятидесятую — пятьдесят первую. Здесь идут слева направо одиннадцать граф. В первой графе стоит просто порядковый номер операции — на данной странице мы видим, что счет шел уже на восемнадцатую тысячу. Во второй графе стоит дата. А что за цифры в третьей?

— Это номер, вытатуированный на руке у пациента.

— Так, дальше идут имя и фамилия пациента и диагноз. Все правильно?

— Да.

— На этом мы покончили с левой половиной разворота и переходим к пятьдесят первой странице. Что написано в первой слева графе?

— Краткое описание операции.

— А в следующей?

Кельно не отвечал. Когда Баннистер повторил вопрос, он лишь что-то неразборчиво пробормотал.

— В этой графе стоит фамилия хирурга, а в следующей — его ассистента, не так ли?

— Да.

— А в следующей? Скажите суду и присяжным, что там стоит.

— Это...

— Ну?

— Это фамилия анестезиолога.

— Вы говорите — анестезиолога? — повторил Баннистер; это был еще один из тех редких случаев, когда он повысил голос. — Просмотрите, пожалуйста, либо по фотокопиям, либо по самому журналу эту графу, где стоит фамилия анестезиолога.

Сэр Адам негнушима пальцами перелистал несколько страниц, потом поднял полные слез глаза.

— При операциях действительно всегда присутствовал анестезиолог? Во всех случаях без исключений?

— Не всегда достаточно квалифицированный.

— Но разве в ваших показаниях не говорилось, что в большинстве случаев у вас вообще не было анестезиолога, поэтому вам приходилось делать обезболивание самому, и это была одна из причин, почему вы выбирали спинномозговую блокаду?

— Да... Но...

— Вы признаете, что, как следует из этого журнала, у вас в ста процентах случаев был либо квалифицированный врач-ассистент, либо врач, выполнявший функции анестезиолога?

— По-видимому, да.

— Значит, вы сказали неправду, когда утверждали, будто не имели в своем распоряжении квалифицированного анестезиолога?

— Наверное, мне здесь изменила память.

«О Господи! — подумал Эйб. — Не надо бы мне этому радоваться. Ведь Томас Баннистер делает ему словесную операцию без наркоза. Нехорошо мне сейчас торжествовать и чувствовать себя отомщенным».

— Теперь давайте перейдем к следующей графе. Я вижу слово «нейрокрин». Оно означает препарат, использованный для спинномозгового обезболивания?

— Да.

— И последняя графа озаглавлена «Замечания».

— Да.

— Написаны ли страницы пятидесятая и пятьдесят первая, включая заголовки граф, вашей рукой и ваша ли подпись стоит в графе «оперирующий хирург»?

— Да.

— Теперь давайте еще раз посмотрим журнал. Видите ли вы где-нибудь, чтобы в качестве либо хирурга, либо ассистента был назван доктор Тесслар?

— Он, наверное, это скрыл.

— Каким образом? Ведь вы были его начальником. Вы общались с Фоссом и Фленсбергом, которых сами называли вашими сотрудниками. Как мог он это скрыть?

— Не знаю. Он был очень хитрый.

— Я утверждаю, что он не делал никаких операций в лагере «Ядвига».

— Такие слухи были, — ответил Адам. На лбу его проступил пот.

— Теперь откройте, пожалуйста, страницу шестьдесят пятую. Здесь явно совсем другой почерк, за исключением подписи хирурга. Как вы можете это объяснить?

— Иногда все, кроме подписи хирурга, вписывал в журнал медрегистратор. Возможно, это был Сobotник — он, наверное, подделывал записи в интересах коммунистического подполья.

— Но вы же не хотите сказать, что не расписывались здесь или что эти ваши подписи — подделка? Если бы вы поймали его на том, что он подделывает вашу подпись, вы бы этого так не оставили — вы бы сделали с ним что-нибудь вроде того, что сделали с Менно Донкером.

— Я протестую, — вмешался Хайсмит.

— Из этого журнала мы еще увидим, что сделали с Менно Донкером, — произнес Баннистер, не скрывая гнева, чего с ним еще никогда не бывало. — Так как же, доктор Кельно?

— Под конец дня я часто очень уставал и не всегда внимательно читал то, что подписывал.

— Понятно. Мы скопировали двадцать двойных страниц из этого журнала, и на каждой зарегистрировано около сорока операций. Когда там написано «ампутация testis, sin» или «ампутация testis, dex» — это означает удаление правого или левого семенника, не так ли?

— Да.

— А чем это отличается от того, что называют кастрацией?

— Одно дело — удалить отмершую или облученную железу, как я уже говорил. А другое... другое...

— Кастрировать?

— Да.

— То есть удалить оба семенника?

— Да.

— Благодарю вас. Теперь я попрошу передать вам другой документ — ваше заявление под присягой в Министерство внутренних дел при рассмотрении вопроса о вашей выдаче в сорок седьмом году. Это заявление вы написали в Брикстонской тюрьме.

Хайсмит вскочил:

— Это нарушение процедуры, грубое нарушение процедуры! Когда мы дали согласие на изменение в ходатайстве ответчика об оправдании, имелось в виду, что все вопросы будут касаться только регистрационного журнала.

— Прежде всего, — парировал Баннистер, — доктор Кельно сам представил в суд это свое заявление как одно из доказательств в свою пользу. А сейчас обнаруживаются вопиющие несоответствия между тем, что он утверждал в сорок седьмом году, тем, что он говорил здесь, в суде, и тем, о чем свидетельствует регистрационный журнал. Если то, что написано в журнале, — неправда, то ему достаточно так и сказать. А присяжные вправе решить, что соответствует истине, а что нет.

— Ваш протест не принят, сэр Роберт. Мистер Баннистер, вы можете продолжать.

— Благодарю вас. Доктор Кельно, на странице третьей вашего заявления в Министерство внутренних дел вы пишете: «Возможно, я иногда и удалял большие семенники или яичники, но я все время делал операции, и среди тысяч случаев могут попасться такие, когда этот орган поражен, так же как и любой другой». Вот что вы показали под присягой в сорок седьмом году, чтобы избежать выдачи вас Польше, не так ли?

— Это было очень давно.

— А месяц назад в этом самом зале вы говорили, что сделали, может быть, несколько десятков таких операций и еще с десятков раз ассистировали доктору Лотаки. Вы это говорили?

— Да, с тех пор как я писал это заявление, я припомнил еще несколько операций.

— Так вот, доктор Кельно, я утверждаю, что, если подсчитать все выполненные вами операции по удалению яичников и семенников, которые зарегистрированы в этом журнале, то получается двести семьдесят пять, а ассистировали вы еще около ста раз.

— Я не могу припомнить точное число таких операций. Вы сами видите, что всего их было почти двадцать тысяч. Как я могу помнить точные цифры?

— Доктор Кельно, — продолжал Баннистер, — вы слышали показания Туклы о том, что до вашего отъезда из лагеря «Ядвига» были заполнены еще два таких журнала. Это верно?

— Вероятно, да.

— И как вы думаете, о чем свидетельствовали бы те два журнала, если бы они вдруг нашлись? Не получилось бы в итоге что-нибудь около тысячи операций, которые вы сделали или на которых ассистировали?

— Пока я не увижу этого своими глазами, я ничего сказать не могу.

— Но вы согласны с тем, что сделали или помогали делать триста пятьдесят операций, как следует из этого журнала?

— Думаю, что это верно.

— И теперь вы признаете, что в вашем распоряжении был анестезиолог и что на самом деле вы никогда не делали сами обезболивания в операционной, как вы показали раньше?

— Я не помню.

— Теперь я попрошу вас снова раскрыть третью страницу вашего заявления в Министерство внутренних дел. Я процитирую ваши слова: «Я категорически отрицаю, что когда-нибудь делал операции здоровым мужчинам или женщинам». Вы писали это в сорок седьмом году?

— Тогда мне это помнилось именно так.

— И точно такие же показания вы дали здесь, в этом зале?

— Да.

— Откройте, пожалуйста, регистрационный журнал на семьдесят второй странице, найдите четвертую операцию

снизу, сделанную Олегу Солинке, и расскажите об этой операции суду.

— Здесь написано... «Цыган... по судебному приговору».

— А какая операция?

— Кастрация.

— Это ваша подпись как хирурга там стоит?

— Да.

— Теперь будьте добры, откройте двести шестнадцатую страницу. Там в середине стоит греческая фамилия — Популос. Зачитайте, пожалуйста, милорду судье и господам присяжным диагноз, описание операции и имя хирурга.

— Там тоже был судебный приговор.

— Кастрация, которую вы произвели, потому что этот человек был гомосексуалистом?

— Я... Я...

— Будьте добры, откройте теперь двести восемнадцатую страницу. Там, в самом верху, вы видите имя и фамилию женщины — вероятно, немки, некоей Хельги Брокман. Что там про нее говорится?

Кельно молча смотрел в журнал.

— Что же вы молчите?! — воскликнул Гилрей.

Кельно отхлебнул большой глоток воды.

— Верно ли, — спросил Томас Баннистер, — что у этой женщины-немки, уголовной преступницы, отправленной в лагерь «Ядвига», были по судебному приговору удалены яичники за то, что она занималась проституцией, не будучи зарегистрированной проституткой?

— Я думаю... это возможно.

— А теперь, будьте добры, откройте триста десятую страницу и найдите — сейчас скажу — двенадцатую строчку сверху. Там стоит русская фамилия — Борлацкий, Игорь Борлацкий.

Кельно снова молчал.

— Я бы посоветовал вам ответить на вопрос, — сказал Гилрей.

— Это кастрация умственно неполноценного человека по судебному приговору.

— Чем были больны эти люди?

— Ну, у этой проститутки, вероятно, была какая-нибудь венерическая болезнь.

— Разве в таких случаях женщине вырезают яичники?

— Иногда.

— Хорошо, тогда расскажите, пожалуйста, милорду судье и господам присяжным, что это за болезнь — умственная неполноценность и каким образом ее можно излечить кастрацией.

— Это безумие, но немцы такое делали.

— А что это за болезнь — «цыган»?

— Германские суды приговаривали некоторых людей к кастрации как «представителей низшей расы».

— Теперь, пожалуйста, откройте двенадцатую страницу. Там, в нижней трети страницы, зарегистрирована кастрация некоего Альберта Гольдбауэра. Какой там диагноз?

— Судебный приговор.

— За что?

— За воровство.

— Что это за болезнь — «воровство»?

Адам снова ничего не ответил.

— Верно ли, что воровство было самым обычным занятием и что вы сами были к нему причастны? В лагере «Ядвига» этим занимались все, не так ли?

— Да, — хрипло произнес Кельно.

— Я утверждаю, что в этом журнале зарегистрированы двадцать случаев, когда вы по судебному приговору оперировали здоровых людей, пятнадцать мужчин и пять женщин, — кастрировали их или удалили оба яичника. Я утверждаю, что вы говорили неправду, когда здесь, в этом зале, сказали, что никогда не делали операций по судебному приговору. И вы делали такие операции, доктор Кельно, не ради спасения их жизни и не потому, что это были отмершие органы, чем вы оправдывались раньше. Вы делали это потому, что получали такой приказ от немцев.

— До сих пор я просто ничего не помнил про эти операции. Я ведь так много оперировал...

— Я полагаю, что вы бы и теперь их не припомнили, если бы не появился этот журнал. Теперь дальше, мистер Кельно. Кроме ампутации семенников и яичников, при каких еще операциях вы применяли спинномозговую блокаду?

Адам на секунду прикрыл глаза. У него перехватило дыхание. Ему казалось, что голос адвоката доносится до него откуда-то издалека.

— Так как же? — спросил Баннистер.

— При аппендэктомии, грыже, лапаротомии — почти при всех операциях в нижней части живота.

— И вы в своих показаниях говорили, что, помимо вашего личного предпочтения в пользу такого способа обезболивания, у вас почти или вообще не было средств для общего наркоза, не так ли?

— Нам много чего не хватало.

— Я утверждаю, что за месяц до десятого ноября сорок третьего года и за последующий месяц вы сделали почти сто операций — точнее говоря, девяносто шесть — на нижней части тела. Я утверждаю, что в девяноста случаях из них вы предпочли общий наркоз, а также прибегали к нему при десятках более простых операций — таких, как вскрытие нарывов. Я утверждаю, что у вас было достаточно средств для общего наркоза и в вашем распоряжении был анестезиолог, который мог его проводить.

— Ну, если так написано в журнале...

— Я утверждаю, что, как следует из журнала, вы выбирали инъекции в позвоночник только в пяти процентах операций на нижней части тела и при этом всегда писали в графе «Замечания», что делали предварительный укол морфия, — за исключением тех операций, которые проводились в пятом бараке.

Адам полистал журнал, потом поднял глаза и пожал плечами.

— Я утверждаю, — продолжал атаку Баннистер, — что вы говорили суду неправду, когда сказали, что предпочитаете спинномозговое обезболивание. Это предпочтение проявлялось у вас только тогда, когда вы оперировали евреев в пятом бараке, и вы не делали им никакого предварительного укола морфия — я думаю, потому, что вам доставляли удовольствие их страдания.

Хайсмит вскочил, но ничего не сказал и снова сел.

— Теперь, прежде чем перейти к вечеру десятого ноября, давайте выясним еще одно обстоятельство. Откройте, пожалуйста, третью страницу журнала и найдите там имя Эли Яноша, который был кастрирован за воровство и торговлю на черном рынке. Вы помните процедуру опознания в полицейском суде на Боу-стрит около восемнадцати лет назад?

— Да.

— Тогда некий Эли Янош не смог опознать вас, хотя и говорил, что хирург был без маски. Прочитайте, пожалуйста, в журнале фамилию хирурга.

— Доктор Лотаки.

— А если бы это были вы, — а вы тоже делали такие операции, — то вас бы выдали Польше и там предали бы суду как военного преступника. Вы это знаете, не правда ли?

Адам с нетерпением ждал перерыва, но судья Гилрей все его не объявлял.

— Будьте добры, откройте журнал на триста второй странице и прочитайте милорду судье и господам присяжным дату, которая там стоит.

— Десятое ноября сорок третьего года.

— Теперь, пожалуйста, зачитайте имена тринадцати человек, которые там стоят после имени Менно Донкера.

После долгой паузы Адам начал монотонным голосом читать:

— Герман Паар, Ян Перк, Ганс Гессе, Хендрик Бломгартен, Эдгар Беетс, Бернард Хольст, Даниэль Дубровски, Йолан Шорет, Сима Галеви, Ида Перец, Эмма Перец, Элен Блан-Эмбер и...

— Я не расслышал последнего имени.

— Тина.

— Тина Блан-Эмбер?

— Да.

— Я передаю вам список десяти из этих людей, которые выступали свидетелями на этом процессе. С учетом изменения нескольких фамилий в связи с переездом в Израиль или замужеством, это те же самые люди?

— Да, — произнес Адам шепотом, не дожидаясь, пока помощник Баннистера передаст ему список.

— Говорится ли там где-нибудь о предварительном введении морфия?

— Может быть, просто забыли записать.

— Говорится или нет?

— Нет.

— А кто делал эти операции? Чья подпись стоит там во всех четырнадцати случаях?

С балкона до Адама донесся крик Терри:

— Доктор!..

— Я утверждаю, что там стоит подпись Адама Кельно.

Адам на секунду поднял глаза и увидел, как юноша выбежал из зала.

— А что написано вашей рукой в графе «Замечания» после имен Тины Блан-Эмбер и Бернарда Хольста?

Адам только потряс головой.

— Там написано: «Смертельный исход в ту же ночь», не так ли?

Адам поднялся на ноги.

— Неужели вы все не видите, что это новый заговор против меня? Когда Тесслар умер, они подослали Соботника! Они хотят меня уничтожить! Они будут преследовать меня вечно!

— Сэр Адам, — тихо произнес Томас Баннистер, — позвольте вам напомнить, что это вы возбудили дело.

36

Сэр Роберт Хайсмит поправил мантию и бросил взгляд на присяжных — усталый, недовольный, но верный долгу британского барристера и готовый биться за своего клиента до последнего вздоха. Как обычно покачиваясь с носков на пятки, он поблагодарил присяжных за их долготерпение, а потом стал подводить итоги процесса, упирая при этом на существенное расхождение между тем, что написано в «Холокосте», и тем, что на самом деле происходило в лагере «Ядвига».

— Это расхождение составляет пятнадцать тысяч операций чисто экспериментального характера, выполненных без какого бы то ни было наркоза. Конечно, это мог бы сделать только безумец. Мы здесь выяснили, что сэр Адам Кельно не был безумцем — он был обычным человеком, попавшим в безумную ситуацию. Эту трагедию пережил бы каждый из нас, внезапно оказавшись во власти столь чудовищных обстоятельств.

Я не могу отделаться от мысли, способны ли мы здесь, в Англии, воссоздать в своем воображении кошмарную действительность лагеря «Ядвига». Мы слышали о некоторых творившихся там ужасах, но способны ли мы мысленно туда перенестись? Способны ли понять, как это может подействовать на сознание обычного человека... на ваше или мое сознание? Как вели бы себя в лагере «Ядвига» мы с вами?

У меня не выходят из головы опыты доктора Фленсберга, в которых человека вынуждали к повиновению. Сколько вольт может выдержать человек, прежде чем подчиниться воле злодея? Каждый из вас, кто когда-нибудь получал удар током, никогда этого не забудет. Представьте себе, господа присяжные, что вы сейчас не сидите в своей ложе, а привязаны к стулу, а напротив сидит ваш сосед по этой ложе, бок о бок с которым вы провели здесь весь этот месяц. Перед вами пульт с кнопками, я приказываю вам нажать на кнопку, и тогда этого вашего соседа ударит током. Какой силы электрический удар сможете вы выдержать, прежде чем нажмете на эту кнопку? Вы уверены, что проявите большое мужество?

Подумайте об этом, господа присяжные. Подумайте все, кто сидит сейчас в зале. Вы, репортеры, вы, адвокаты, все, кто прочитает об этом завтра или через много лет. Вы сидите на стуле, и электрический разряд пронизывает ваше тело. Еще один разряд, сильнее, и вы вскрикиваете. Еще сильнее, и вы чувствуете боль в каждом запломбированном зубе, в глазах, в половых органах, и еще сильнее, и вы корчитесь в судорогах, и у вас из носа и ушей течет кровь, и все силы вашей души изливаются в вопле о пощаде...

Допустим, на сегодня это все. Вы уже побывали на пороге смерти. Но завтра с вами будет то же самое, и на следующий день, и на следующий — до тех пор, пока и ваше тело, и ваше сознание не откажутся вам служить и вы не превратитесь в растение.

Вот что представлял собой концлагерь «Ядвига». Безумный ад, где было уничтожено всякое подобие нормального человеческого общества. А теперь вы, британские присяжные, должны решить, сколько таких мук способен выдержать обыкновенный человек и где лежит та грань, за которой он будет сломлен.

Перед нами враг, вся жизнь и работа которого была посвящена избавлению других людей от страданий. Если он и не выдержал высокого напряжения, под которое попал в этом безумном аду, то разве он не искупил свою вину перед всем миром? Если бы этот человек считал себя виновным, разве он обратился бы в суд с просьбой смыть позор с его имени? Заслужил ли он вечное проклятие тем, что был сломлен, испытывая муки агонии? Должны ли мы предать

его проклятию, зная, что вся его дальнейшая жизнь была посвящена служению человечеству?

Адам Кельно не заслужил новых унижений. Возможно, что, оказавшись в этой ужасной ситуации, он, воспитанный в определенных социальных условиях, на мгновение решил, что одни люди менее полноценны, чем другие. Но прежде чем осудить его за это, давайте подумаем о себе. Адам Кельно сделал все, что мог, для огромного числа людей. А сколько евреев он спас жизнь! Если он и был вынужден пойти на компромисс с безумным врачом-немцем, угрозы которого постоянно висели над его головой, то он сделал это ради того, чтобы спасти жизнь тысячам! Не дай Бог, чтобы кому-нибудь из нас пришлось принимать такое ужасное решение.

А где были вы, дамы и господа, вечером десятого ноября сорок третьего года? Подумайте и об этом.

Мы знаем, не правда ли, что целые армии повинуются приказам убивать под предлогом защиты прав той или иной нации. И в конце концов, господа присяжные, когда Бог приказал Аврааму принести в жертву сына, тот тоже повиновался.

Адам Кельно должен получить значительное возмещение, и честь его должна быть восстановлена в глазах всего мира.

Томас Баннистер несколько часов подводил итоги процесса тем же мелодичным, негромким голосом, каким задавал вопросы свидетелям:

— В этом зале мы еще раз услышали, что христиане делали с евреями в середине двадцатого века в Европе. Это войдет в историю и станет самой мрачной ее главой. Конечно, главную ответственность за то, что произошло, несут Гитлер и Германия, но этого не произошло бы, если бы с ними не сотрудничали сотни тысяч людей.

Я согласен с моим высокоученым другом, что солдат приучают к повиновению, однако мы все чаще видим примеры того, как люди отказываются убивать по приказу. А что до истории Авраама, то все мы знаем, чем она кончилась: Бог с самого начала хитрил и в конечном счете так и не отнял у Авраама сына. Я не могу представить себе штандартенфюрера

СС доктора Адольфа Фосса в роли Бога, точно так же как не вижу Адама Кельно в роли Авраама. И Фоссу не понадобилось проводить над доктором Кельно экспериментов в духе Отто Фленсберга. Доктор Кельно сам сориентировался в ситуации и не оказал ни малейшего сопротивления. То, что он делал, он делал без колебаний, без принуждения, без всякого запугивания. Вы ведь слышали его показания о том, как он отказался сделать заключенному смертельную инъекцию фенола. Что ему за это сделали? Как он был наказан? Он прекрасно знал, что врачей не расстреливают и не отправляют в газовую камеру. Он знал это!

Можно было бы ожидать, что человек, сделавший то, что сделал доктор Кельно, затаится, будет радоваться, что ему повезло, и попытается примириться со своей совестью, если она у него есть, а не станет почти двадцать пять лет спустя снова ворошить прошлое. Он поступил так, думая, что это сойдет ему с рук. Но увы, здесь всплыл регистрационный журнал операций, и ему пришлось снова и снова сознаваться во лжи.

Может ли кто-нибудь в этом зале, у кого есть дочь, забыть историю Тины Блан-Эмбер? У Тины были мать и отец, они пережили Холокост и узнали, что их дочь была убита, как подопытная морская свинка. И убил ее не врач-нацист, а поляк, наш союзник. Случись это с любым из нас, узнай мы потом, что английский врач погубил нашего ребенка в ходе бессмысленного, извращенного, зверски жестокого медицинского эксперимента, — мы бы знали, как поступить с этим врачом.

Я согласен с тем, что не бывает мест страшнее концлагеря «Ядвиг». И все же, господа присяжные, бесчеловечное обращение человека с человеком старо, как само человечество. И если кто-то оказался в лагере «Ядвиг» или в каком-нибудь другом месте, где его окружают бесчеловечные люди, это само по себе еще не дает ему права отбросить всякую мораль, всякую религию, всякую философию, все то, что делало его достойным имени человека.

Вы слышали показания нескольких других врачей из концлагеря «Ядвиг» — двух женщин, благороднее и отважнее которых еще не доводилось видеть английскому суду. Одна из них — еврейка и коммунистка, другая — набожная христианка. Что произошло, когда Фосс пригрозил доктору Висковой пыткой электричеством? Она отказалась и приго-

товилась покончить с собой. А доктор Сюзанна Пармантье? Она была в том же аду — в концлагере «Ядвига». Припомните, что она ответила доктору Фленсбергу.

И вы слышали показания самого отважного из них всех. Самого обычного человека, преподавателя романских языков в маленькой польской гимназии — Даниэля Дубровски. Человека, который пожертвовал своей мужественностью, чтобы кто-то моложе его получил шанс прожить нормальную жизнь.

Господа присяжные, бывают такие минуты, когда сама жизнь человека теряет смысл, если она направлена на то, чтобы калечить и убивать других. Есть моральная грань, перейдя которую человек теряет право считаться человеком. Это одинаково относится и к Лондону, и к концлагерю «Ядвига».

Эта грань была перейдена, и об искуплении такой вины речи быть не может. Антисемитизм — проклятие человечества, каинова печать, которая лежит на каждом из нас. Ничто из того, что делал Кельно до этого или после этого, не искупает сделанного им тогда. Он потерял право на наше сострадание. И я убежден, что за все им совершенное он может ожидать от британского суда только одного — нашего презрения и возмещения в размере самой мелкой монеты, какая только существует в этой стране.

38

— Господа присяжные! — сказал судья Гилрей. — На протяжении месяца мы заслушивали показания в процессе по делу о клевете, который стал самым длительным подобным процессом во всей английской судебной практике. Таких показаний никогда еще не доводилось выслушать ни одному английскому суду по гражданским делам. То, что происходило в концлагере «Ядвига», будущие поколения назовут самым страшным преступлением за всю историю человечества. Но мы — не трибунал по делу о военных преступлениях. Мы разбираем гражданский иск согласно общему праву Англии...

Подведение итогов процесса — всегда нелегкое дело, но Энтони Гилрей сумел сделать это с необыкновенным блеском,

сведя все к общему праву и показав, что следует считать имеющим отношение к делу и на какие вопросы присяжные должны ответить. В середине следующего дня он передал дело на их рассмотрение.

В последний раз встал со своего места Томас Баннистер.

— Милорд, здесь предстоит принять два решения — не объясните ли вы это господам присяжным, прежде чем они удалятся на совещание?

— Да. Прежде всего вы определите, принимаете ли вы решение в пользу истца или ответчиков. Если решение будет в пользу доктора Кельно и вы согласитесь с тем, что он стал жертвой клеветы, то вы должны определить, какую сумму возмещения вы ему присуждаете.

— Благодарю вас, милорд.

— Господа присяжные, — сказал Гилрей, — я сделал все, что мог. Теперь слово за вами. Не спешите — в вашем распоряжении столько времени, сколько вам понадобится. Мои помощники позаботятся о том, чтобы вы были обеспечены всем, что пожелаете, из пищи и питья. Теперь остается еще одно дело. Правительство Польши через посредство своего посла попросило передать ему этот регистрационный журнал операций как документ огромной исторической важности, заслуживающий помещения в один из их национальных музеев. Правительство Ее Величества дало свое согласие. Польский посол не возражает против того, чтобы журнал находился в вашем распоряжении, пока вы не закончите совещание. Я прошу вас обращаться с ним как можно бережнее. Не сыпьте на него пепел от сигарет и не проливайте кофе или чай. Мы не хотели бы, чтобы будущие поколения поляков думали, будто британские присяжные отнеслись к этому документу легкомысленно. Теперь вы можете удалиться на совещание.

Был полдень. Двенадцать безымянных, ничем не примечательных англичан покинули зал судебных заседаний, и дверь совещательной комнаты за ними закрылась.

Битва между Адамом Кельно и Абрахамом Кейди подошла к концу.

В половине второго Шейла Лэм вбежала в комнату, где сидели остальные, и сообщила, что присяжные возвращаются. Коридор был битком набит репортерами. Правда, они были вынуждены подчиниться железному правилу, запре-

шающему любые фотосъемки и интервью в здании суда. И все же один из них не выдержал.

— Мистер Кейди, — сказал он, — присяжные совещались очень недолго. Как вы думаете, значит ли это, что процесс выиграете вы?

— Этот процесс не выиграет никто, — ответил Эйб. — Мы все его проиграли.

Он и Шоукросс протолкались сквозь толпу и оказались стоящими рядом с Адамом Кельно.

Гилрей сделал знак своему помощнику, который подошел к ложе присяжных.

— Вы вынесли вердикт?

— Да, — ответил старшина присяжных.

— И этот вердикт вынесен единогласно?

— Да.

— Решили ли вы дело в пользу истца, сэра Адама Кельно, или в пользу ответчиков, Абрахама Кейди и Дэвида Шоукросса?

— Мы решили дело в пользу истца, сэра Адама Кельно.

— И вы единогласно определили сумму возмещения?

— Да.

— Какова эта сумма?

— Полпенни.

39

Анджела вбежала в кабинет, где неподвижно сидел Адам.

— Это Терри, — сказала она. — Он вернулся и собирает свои вещи.

Адам выбежал из кабинета, шатаясь и натываясь на стены, поднялся по лестнице и рывком распахнул дверь. Терри закрывал чемодан.

— Я много не взял, — сказал Терри. — Только самое необходимое.

— Ты возвращаешься к Мэри?

— Мы уезжаем вместе с Мэри.

— Куда?

— Пока толком не знаю. Из Лондона и из Англии. Анджела будет знать, где я.

Адам загородил собой дверь:

— Я требую, чтобы ты мне сказал, куда вы едете.

— Туда, к прокаженным! — крикнул Терри. — Если я буду врачом, то таким, как доктор Тесслар!

— Оставайся здесь, ты слышишь?

— Вы солгали мне, доктор.

— Да, солгал! Я сделал это ради тебя и Стефана.

— И я вам весьма благодарен. А теперь дайте мне выйти.

— Нет!

— А что вы со мной сделаете? Отрежете мне яйца?

— Ты... Ты... Ты такой же, как и все они! Ты тоже хочешь меня уничтожить! Они заплатили тебе, чтобы ты уехал. Все тот же заговор!

— Вы гнусный параноик. Вы отрезали яйца евреям, чтобы свести счеты с собственным отцом. Разве не так, сэр Адам?

Адам ударил его в лицо.

— Жид! — кричал он, нанося новые и новые удары. — Жид! Жид! Жид!

40

Эйб открыл дверь квартиры на Колчестер-Мьюз. За дверью стоял Томас Баннистер. Эйб молча впустил его и провел в гостиную.

— Мы с вами договаривались о встрече, — сказал Баннистер. — Я ждал.

— Знаю, прошу меня простить. Виски?

— Пожалуйста, без льда.

Баннистер снял плащ, и Эйб налил ему виски.

— Понимаете, в последние день-два у меня были сплошные прощания. Просто прощания, торжественные прощания, слезные прощания. В том числе я проводил дочь в Израиль.

— Жаль, что ее здесь уже нет. Очень милая девушка, я был бы рад познакомиться с ней поближе. Новости с Ближнего Востока нерадостные.

Эйб пожал плечами:

— К этому можно привыкнуть. Когда я писал «Холокост», Шоукросс приходил в ужасное волнение всякий раз, когда там наступал очередной кризис, и наседали на меня, чтобы я поскорее прислал ему рукопись. А я отвечал, что он

может не беспокоиться: когда бы я ее ни кончил, легкой жизни евреям ждать не придется.

— Да, не так это просто.

— Что — писать или быть евреем?

— Я, собственно, имел в виду писание. Ведь вы как будто влезаете внутрь человека и месяцами снимаете на пленку, что происходит у него в голове.

— Что-то вроде этого. Баннистер, я не спешил с вами увидаться, потому что побаиваюсь вас.

Баннистер улыбнулся.

— Ну, я же не собирался допрашивать вас как свидетеля.

— Знаете, о ком я сейчас постоянно думаю? — спросил Эйб.

— Об Адаме Кельно.

— Откуда вы знаете?

— Потому что я тоже о нем думаю.

— Вы знаете, Хайсмит был прав, — сказал Эйб. — Ведь если бы нам не повезло, то и мы оказались бы там. Как быть обыкновенному человеку, когда у него член затянуло в мясорубку? Как бы, черт возьми, вел себя там я?

— Мне кажется, я знаю.

— А вот я не очень-то уверен. В мире слишком мало таких людей, как Даниэль Дубровски, или Марк Тесслар, или Пармантье, или Вискова, или Ван-Дамм. Мы много говорим о мужестве, а кончаем тем, что оказываемся последними мерзавцами.

— Таких людей больше, чем вам сейчас кажется.

— Одного я пропустил, — сказал Эйб. — Томаса Баннистера. В тот вечер, когда вы поучали меня, за кого на мне лежит ответственность, вы забыли назвать себя. Вот было бы обидно, если бы английский народ лишился такого премьер-министра.

— А, вы вот про что. Ну, каждый должен делать то, что считает правильным.

— Зачем? Зачем Кельно возбудил это дело? Конечно, я знаю, что он всегда хочет быть большой рыбой в маленьком пруду. Он понимает, что хуже других, и поэтому всегда устранился там, где может чувствовать, что он лучше других. В Сараваке, в лагере «Ядвига», в этой поликлинике для рабочих в Лондоне.

— Кельно — трагическая фигура, — сказал Баннистер. — Он, конечно, параноик и поэтому не способен к самоанализу, не может отличить добро от зла.

— А почему он стал таким?

— Может быть, из-за того, что с ним плохо обращались в детстве. Польша преподнесла ему хороший подарок — антисемитизм, теперь у него было на кого обратить свою болезненную ненависть. Знаете, Кейди, хирурги — люди странные, очень часто хирургия для них — способ удовлетворить свои кровожадные инстинкты. Пока Кельно жил в цивилизованной обстановке, эта его потребность находила выход в хирургии. Но когда такой человек оказался там, где разрушена вся социальная структура, и ему развязали руки — получилось чудовище. А потом, вернувшись в цивилизованное общество, он снова стал обыкновенным хирургом и не чувствовал за собой никакой вины за то, что делал.

— После всего, что я слышал в суде, — сказал Эйб, — после того, как я узнал, какие ужасы может человек по чужому приказу творить с другими людьми, после того, как увидел, что Холокост продолжается и будет продолжаться вечно, я теперь думаю, что мы безнадежно губим мир, в котором живем, и самих себя. Мы загадили нашу планету, мы истребляем ее обитателей, друг друга. Мне кажется, наше время уже истекло, — вопрос не в том, случится ли это, а только в том, когда. И если посмотреть, как мы себя ведем, то похоже, что терпение Господа уже на исходе.

— Ну, Господь куда терпеливее, чем вы думаете, — сказал Баннистер. — Видите ли, мы, смертные, ужасно высокого о себе мнения. Мы решили, что во всей Вселенной и во все времена мы единственные, кто все это переживает. Я всегда верил, что такое уже случилось раньше на той же самой Земле.

— Здесь? Как же...

— Что такое для мироздания миллиард-другой лет? Может быть, за последний миллиард лет уже существовали и исчезли десятки земных цивилизаций, о которых мы ничего не знаем? И после того, как уничтожит себя та цивилизация, к которой мы принадлежим, все опять начнет сначала — через сотни миллионов лет, когда планета после нас немного приведет себя в порядок. А в конце

концов — скажем, пять миллиардов лет спустя — одна из этих цивилизаций сможет существовать вечно, потому что тогда люди станут обращаться друг с другом так, как им подобает.

Их прервал телефонный звонок. Лицо Эйба стало крайне серьезным. Он записал какой-то адрес и сказал, что будет через час. Потом озадаченно положил трубку.

— Это был Терренс Кэмпбелл. Он хочет со мной увидеться.

— Ну, этому вам удивляться не следовало бы. Понимаете, если мы хотим продержаться в этом мире чуть подольше, то это зависит от них — от него, и от сына Кельно, и от ваших детей. Не стану вас больше задерживать. Вы еще долго пробудете здесь?

— Через несколько дней улетаю в Израиль. Начну все сначала, буду журналистом.

Они пожали друг другу руки.

— Не могу сказать, что вы были самым сдержанным из моих клиентов, но это было интересно, — сказал Баннистер, чуть ли не в первый раз в жизни тщательно пытаясь найти нужные слова. — Вы понимаете, что я хочу сказать?

— Понимаю, Том.

— Желаю удачи, Эйб.

«По дороге к Терренсу я попросил таксиста остановиться перед Домом правосудия. Что ж, это естественно — попроситься с тем местом, где я единственный раз в жизни поступил, как подобает порядочному человеку, и выстоял в этом процессе.

Мне не дает покоя мысль Баннистера о том, что и до нас были цивилизации, и после нас будут. Когда эта наша цивилизация рухнет, мне будет очень жаль Лондона.

Рядом с Домом правосудия, на той же улице, стоит церковь Сент-Клеменс-Дейнз — святого Клементя Датского. Это официальная церковь английских военных летчиков, я хорошо знал ее во время войны и даже написал про нее несколько очерков. Сент-Клеменс-Дейнз — это как раз то, о чем говорил Томас Баннистер. Ее построили датчане в 871 году или где-то около того, когда король Альфред выселил их за пределы Сити. Потом ее снесли. Она была опять отстроена Вильгельмом Завоевателем, и опять разрушена, и заново отстроена в средние века, и сгорела в пожаре 1666 года, и была отстроена, и сно-

ва разрушена в 1680 году, и восстановлена Кристофером Реном, и стояла до тех пор, пока ее не разбомбили немцы, а теперь она стоит снова...»

«Тель-Авив, 6 июня 1967 года (Ассошиэйтед Пресс). Министерство обороны Израиля сообщило, что во время массированного удара, уничтожившего арабские военно-воздушные силы, израильская авиация понесла лишь незначительные потери. Среди погибших серген (капитан) Бен Кейди, сын известного писателя».

СОДЕРЖАНИЕ

От автора

7

Часть первая

ИСТЕЦ

9

Часть вторая

ОТВЕТЧИКИ

85

Часть третья

РЕЗЮМЕ ДЛЯ АДВОКАТА

161

Часть четвертая

СУД

214

Юрис Л.

Ю73 Суд королевской скамьи, зал № 7: Роман/ Л. Юрис; Пер. с англ. А. Иорданского. — М.: Текст, 2002. — 413 с.— (Классика)

ISBN 5-7516-0326-5

В центре романа Леона Юриса (р. 1924) — судебный процесс о клевете. Американский писатель Абрахам Кейди в своей книге о геноциде евреев во время Второй мировой войны упомянул поляка Адама Кельно, хирурга концлагеря «Ядвиг», сотрудничавшего с нацистами и отличавшегося особой жесткостью. Кельно обвиняет Кейди в клевете. Кто же он, этот доктор Кельно, — безумный садист, получавший удовольствие от экспериментов над живыми людьми, или просто слабый человек, попавший в чудовищный мир нацистского концлагеря? Перед читателем проходят судьбы множества людей, жертв Холокоста, сумевших остаться людьми даже в тех, нечеловеческих условиях.

Роман переведен на многие языки, а в США по книге был снят телевизионный фильм с участием Энтони Хопкинса.


УДК 821.111(73)
ББК 84(Сое)

Леон Юрис
СУД КОРОЛЕВСКОЙ СКАМЬИ,
ЗАЛ №7
РОМАН

Редактор И.В.Опимах
Художественный редактор Т.О.Семенова

Лицензия № 063402 от 26.05.99
Подписано в печать 08.08.02. Формат 84 × 108/32.
Усл. печ. л. 21,84. Уч.-изд. л. 24,16.
Тираж 3500 экз. Изд. № 417.
Заказ № 6890.

Издательство «Текст»
127299 Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 7/1
Тел./факс: (095) 150-04-82
E-mail: textpubl@mtu-net.ru
<http://www.mtu-net.ru/textpubl>

«Дом еврейской книги»
121069 Москва, ул. Большая Никитская, д. 47, стр. 3
Тел./факс: (095) 291-43-01
E-mail: sifriya@mail.ru 

Отпечатано в полном соответствии
с качеством предоставленных диапозитивов
в ОАО «Можайский полиграфический комбинат»
143200 г.Можайск, ул. Мира, 93



**КНИГИ
ИЗДАТЕЛЬСТВА
«ТЕКСТ»**

Оптовая и розничная торговля:
127299 Москва, ул. Космонавта Волкова, 7/1
Тел./факс: (095) 156-42-02

Торговый представитель в СПб.:
ООО «Алан». Тел.: (812) 311-96-31

**В Москве книги «Текста»
можно купить в магазинах:**

Дом книги «Молодая гвардия»
Большая Полянка, 28

Московский дом книги
Новый Арбат, 8

Торговый дом «Библио-Глобус»
Мясницкая, 6

Торговый дом книги «Москва»
Тверская, 8

Книжная лавка «Проект О.Г.И.»
Потаповский пер., 8/12, стр. 2

Книжная лавка РГГУ «У Кентавра»
ул. Чайнова, 15

Блестящее, исполненное драматизма описание судебного процесса держит читателя в напряжении до последней страницы.

Несомненная удача автора знаменитого «Исхода».

«Ньюсдей»

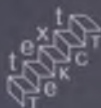
Издательство «Текст» возвращается к творчеству знаменитого американского писателя Леона Юриса.

Как и прославленный «Исход», роман

«Суд королевской скамьи, зал № 7»

переведен на многие языки мира. По нему снят телевизионный фильм с участием Энтони Хопкинса.

На русском языке издается впервые.



ISBN 5-7516-0326-5



9 785751 603267